

**М. А. Гласер (Кукарцева)**

**ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПО ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ,  
ПОЛИТИКИ, БЕЗОПАСНОСТИ**

**В трех томах**

**Том первый**

**ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА**

*2-е издание*

Москва

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»

2021

**УДК 930.1**  
**ББК 60.03**  
**Г52**

**Автор:**

*М. А. Гласер (Кукарцева)* — доктор философских наук, профессор департамента международных отношений НИУ «Высшая школа экономики», профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России.

**Гласер (Кукарцева) М. А.**

**Г52** Исследования по философии истории, политики, безопасности: Монография: В 3 томах / М. А. Гласер (Кукарцева). — 2-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2021—

ISBN 978-5-394-04220-1

Том 1: Философия истории и историческая наука. — 2-е изд. — 2021. — 256 с.

ISBN 978-5-394-04221-8 (Т. 1)

В книге собраны избранные идеи из работ разных лет, значительно расширенные и дополненные, посвященные философии истории и методологии исторической науки. Используя возможности применения междисциплинарных методов к анализу истории, автор выдвигает ряд концептуальных положений и теоретических новаций о природе философско-исторического знания, проблем его применения в исследованиях истории.

Для научных работников, а также студентов магистратуры соответствующих направлений подготовки.

ISBN 978-5-394-04221-8 (Т. 1)  
ISBN 978-5-394-04220-1

© Кукарцева М. А., 2018  
© ООО «ИТК «Дашков и К°», 2018

# СОДЕРЖАНИЕ

---

<b>Введение. ЗАЧЕМ МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ</b> .....	5
<b>Глава 1. ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ</b> .....	9
1.1. Междисциплинарность и историческая дисциплина: особенности отношений .....	9
1.2. Опыт метафилософии истории .....	21
1.3. Философия истории и историология .....	35
1.4. Понимание как проблема исторической эпистемологии .....	54
1.5. Модерн и постмодерн в философии истории .....	71
<b>Глава 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ     ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИЯ</b> .....	88
2.1. Аналитическая философия истории: вчера и сегодня .....	88
2.2. Начало лингвистического поворота в историописании .....	109
2.3. Лингвистический поворот в философии истории .....	129
2.4. Хейден Уайт и исторические исследования XX века .....	138
2.5. Перформативный поворот в социально-гуманитарном знании .....	187

<b>Глава 3. РАКУРСЫ ОБЗОРА НАУКИ ОБ ИСТОРИИ</b> .....	205
3.1. Доминик Ла Капра и исторические исследования XX–XXI вв. ....	205
3.2. Стивен Бенн и культурная история.....	220
3.3. Аллан Мегилл и теория истории .....	232
<b>БИБЛИОГРАФИЯ</b> .....	246

## Введение

### ЗАЧЕМ МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ<sup>1</sup>

Ключевой вопрос: а для чего мы вообще пишем историю, для чего она существует? Сюжетов, как и ответов на этот вопрос, конечно, масса. Но один из них для меня совершенно очевиден: в любом случае мы делаем историю вовсе не для того, чтобы создавать и решать интеллектуальные головоломки о том, что такое прошлое и какие подходы к его решению могут быть предложены. По моему глубокому убеждению, история — не территория для упражнений в эпистемологии. В противном случае то особенное, что атрибутивно этой древней дисциплине, просто исчезнет в эпистемологических дебатах и размышлениях. Под этим “особенным” я понимаю *экзистенциальные элементы истории*, без которых история превращается в однообразное тиканье часов. Если мы их не учтем и будем бесконечно рассуждать о том, какие математические модели можно применять в изучении истории и можно ли их к ней вообще применять, какого рода логику можно применять к истории и как именно это делать, какова логика рассуждения историка и так далее, то, возможно, это будет важно и интересно, но вряд ли приблизит нас к той историографической истине, которую мы все хотим достичь, но как-то не удается.

Конечно, существует некая приемлемая эпистемология истории: специфический свод правил и методов (хотя и непросто артикулируемых), которые должны быть разделяемы всем научным сообществом историков. Такая историческая эпистемология, или, как ее часто называют сами историки, историческая теория, имеет две стороны, отсепарированные друг от друга с момента их возникновения и в принципе неконвергентные. Одна сторона касается вопросов свидетельства, метода и истины в истории и разрабатывается преимущественно философами аналитической школы. Вторая сторона касается исторической формы и исторической

---

<sup>1</sup> Знание о прошлом в современной культуре (материалы круглого стола). Участвовали В. А. Лекторский, М. А. Кукарцева и др. // Вопросы философии. 2011. № 8. С. 3–45.

репрезентации и исследована историками, литературоведами, культурологами и др. Эти две стороны неконвергентны, поэтому вопрос о том, почему сложно договориться о понятиях, прямо с этим связан.

Представители первого и второго направления говорят каждый на своем языке, практически непереводаемом на другой. Математики беседуют с математиками, логики с логиками, но никогда они не договорятся с Хейденом Уайтом. Именно поэтому история людей от себя отталкивает, ведь существует много неясного, спорного и неоднозначного, очень много разной информации. Сами историки, к сожалению, долго не выработывали свой собственный язык, заимствовали его из других дисциплин, поэтому часто непонятно, о чем они пишут и что говорят. Взять, например, А. Т. Фоменко<sup>1</sup> (если считать его историком, конечно) или К. Гемпеля, если допустить, что он вообще что-то понимал в истории. И где кончается литература, а где начинается история, тоже неясно. Нарратив сегодня понимается как ядро личной, социально-культурной и национальной идентичности. Отдельные люди и целые государства “пишут” разные нарративы (обвинительные, оправдательные, защитительные) и начинают жить в соответствии с написанным. Это факты, и историкам следует их осмыслить, в том числе и поразмышлять над теорией исторического нарратива.

О первой стороне исторической эпистемологии написано немало, в том числе и об анализе возможностей применения к истории средств математической формализации. Вторая сторона исторической эпистемологии как самостоятельной области исторических исследований оформилась очень поздно: только в конце 1980-х гг. историки стали наконец замечать существование нарративно-исторической *школы* исторической теории, *лингвистического поворота* в ней, и возникших в связи с этим новых трендов в самой исторической дисциплине, например “новой культурной истории”. Ключевую роль в формировании этого процесса сыграли работы Х. Уайта (в частности, его “Метаистория”), П. Рикёра (“Время и рассказ”)<sup>2</sup>, Р. Козеллека (“Прошедшее будущее:

---

<sup>1</sup> См. работы А. Т. Фоменко, Г. Н. Носовского по новой хронологии. URL: <http://chronologia.org> (дата обращения 12.02.2017).

<sup>2</sup> Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1–2. СПб., 1999.

к семантике исторического времени”)<sup>1</sup>, Л. Минка (“Нарративная форма как когнитивный инструмент”)<sup>2</sup>, Ф. Анкерсмита (“Нарративная логика”)<sup>3</sup>. Очень важную роль сыграла коллективная монография “Формы историографии”<sup>4</sup> под редакцией Р. Козеллека, Х. Лутца и Й. Рюзена, сфокусированная на риторических и нарративных аспектах историописания.

И все это хорошо, и все это нужно для истории, и без всего этого история существовать как академическая дисциплина не может. *Но нельзя недооценивать и преуменьшать субъективный элемент в историческом исследовании.* В истории есть то, что в целом не вписывается в историческое исследование. Те аспекты прошлого, что *в принципе* недоступны историческому исследованию, но о которых историк все равно должен рассказать своим читателям, да и научному сообществу тоже. Иначе грош цена истории как академической дисциплине. Об этом говорили Гиббон, Мишле, Тьерри, Хейзинга, Коллингвуд и многие другие. Ради этого субъективного элемента люди и читают книги по истории, а совсем не ради голой информации или экскурса в область логики и математики. Ничего в эпистемологии не может объяснить силу любви Броделя к Средиземноморью. Или страстного интереса Я. Буркхардта к культуре Италии эпохи Возрождения. И это не некие *случайные субъективные* обстоятельства, которые следует в исторических исследованиях преодолевать. Напротив, именно они и конституируют эти исследования. Я здесь сошлюсь на статью Ф. Анкерсмита “Похвала субъективности”<sup>5</sup>. Замечательная статья. Лучшее, на мой взгляд, из всего, что было написано в наше время по этому поводу. В последнее десятилетие Анкерсмит пред-

---

<sup>1</sup> Koselleck R. *Futures Past: On the Semantics of Historical Time*. Translated by Keith Tribe. Cambridge: MIT Press, 1986.

<sup>2</sup> Mink L. O. *Narrative Form as a Cognitive Instrument // The Writing of History: Literary Form and Historical Understanding*. Ed. by Robert H. Canary and Henry Kozicki. Madison: University of Wisconsin Press, 1978. P. 129-49.

<sup>3</sup> Ankersmit F. R. *Narrative Logic: A Semantic Analysis of the Historian's Language*. The Hague: Nijhoff, 1983.

<sup>4</sup> Koselleck R., Lutz H., Rüsen J., eds. *Formen der Geschichtsschreibung*. Vol. 4 of *Beiträge zur Historik*. Munich: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1982.

<sup>5</sup> Ankersmit F. *In Praise of Subjectivity // Historical Representation*. Stanford Univ. Press, 2004.

ложил новый вариант исторической теории, основанный на феномене исторического опыта. Последний — не реконструкция прошлого опыта исторических агентов. Это нечто экзистенциальное в истории, опыт некоего невыразимого разрыва между *нами — теперь* и *нами — тогда*, ощущение разрыва между прошлым и будущим, чего-то “ноуменального” или возвышенного в прошлом, того, чего уже нет, но что еще в пределах нашего видения. До чего можно дотронуться рукой, “дотронуться до прошлого”, понимая, что оно уже чужое. Вот это и есть цель истории.



# Глава 1. ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ

---

## 1.1. Междисциплинарность и историческая дисциплина: особенности отношений<sup>1</sup>

Вопрос о методе — это вопрос о том, существует ли некая специфическая форма знания, обладание которой подсказывает, как следует действовать в определенных обстоятельствах для преобразования искомого фрагмента реальности так, чтобы достичь цели — определенной информации об этом фрагменте. Применительно к исторической науке вопрос о методе есть вопрос о том, каким образом *можно наиболее оптимально организовать и провести историческое исследование*. Следовательно, дискуссии о методе в исторической науке связаны с дискуссиями о степени ее теоретизма; если брать шире — то вообще о возможности применения к ней (в ней) теории какого-либо вида или уровня.

Доминик Ла Капра в книге “История и ее пределы. Человек, животное, жестокость”<sup>2</sup> сформулировал две идеи о взаимоотношениях теоретизма и истории. Во-первых, *теория нуждается в истории*. Теоретизм — мышление, реализующееся на спекулятивном, концептуальном, самореференциальном уровне, “...он толкует историю как источник иллюстраций или знаков, хранилище несоизмеримых уникальностей или единичностей, или как трансисторическую абстракцию. <...> Теоретизм есть невнимание

---

<sup>1</sup> Кукарцева М. А. Междисциплинарность и историческая дисциплина: особенности отношений // Проблемы исторического познания. М.: Институт всеобщей истории, 2013. С. 23–35.

<sup>2</sup> La Capra Dominic. History and Its Limits. Human, Animal, Violence. Cornell University press, Ithasa and London, 2009.

к исторической специфике и к контексту”<sup>1</sup>. С точки зрения Ла Капры, историки обладают чем-то вроде иммунитета к теоретизму и не испытывают никакого желания посещать пространства тех дисциплин, где теоретизм повсеместен. Такие дисциплины историкам просто неинтересны. Но, во-вторых, утверждает Ла Капра, *история, безусловно, нуждается в теории, в подлинной теоретической рефлексии*. Он полагает, что истории свойственно “перевернутое понимание теоретизма”, а именно “конвенциональная история”, которая “воплощает свои интерпретации в нарративах или дескрипциях, не осуществляя тщательного исследования интерпретаций как таковых”<sup>2</sup>. Получается, что, с одной стороны, Ла Капра критикует теоретиков, пишущих об истории, за то, что они упускают из виду специфичность истории и ее контекст (например, Дж. Агамбен и С. Жижек). Но, с другой стороны, он критикует историков за то, что они применяют теоретические положения смежных дисциплин без их должной критической оценки.

Возможно, в первый раз методологические вопросы истории, связанные с теорией, появились в работе Г. Бокля “История цивилизации в Англии”<sup>3</sup>. По его мнению, историки в своих исследованиях должны изучать статистические закономерности, олицетворяющие позитивистский метод, и только в этом случае история станет тем, чем она и должна быть — подлинной наукой. Эта позиция Бокля инициировала широкую дискуссию в исторической дисциплине. В совокупном виде ключевые моменты этой дискуссии были представлены в так называемой немецкой традиции, изложенной в энциклопедии “Методология и энциклопедия исторических исследований”, или просто “Historik”, одним из участников которой был Дройзен. В своей книге “Возведение истории в ранг науки”<sup>4</sup> он показал, что метод истории нетождественен методам естественных наук. Природа и история, хотя и

---

<sup>1</sup> *La Capra Dominic. History and Its Limits. Human, Animal, Violence. Cornell University press, Ithasa and London, 2009. P. 30.*

<sup>2</sup> *Ibid. P. 32.*

<sup>3</sup> *Бокль Г. Т. История цивилизации в Англии. СПб., 1995.*

<sup>4</sup> *Droysen J. G. Die Erhebung der Geschichte zum Rang einer Wissenschaft // Historik. Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte / Hrsg. von P. Leyh. Stuttgart, 1977. Bd. 1. S. 451–69.*

связаны, но все-таки различны. История требует понимания и интерпретации, она центрирована на индивидуальное, гуманитарное, ментальное, психологическое (в гораздо меньшей степени социальное), а поэтому ей и требуется какой-то особый, свойственный только ей способ действия, в котором бы нашел отражение *внутренний язык истории*<sup>1</sup>.

Дискуссия, инициированная Боклем, акцентировала прежде невиданные для истории проблемы ее теории, ее отличия от других дисциплин, как социальных, гуманитарных, так и естественных, и даже (гораздо позже, разумеется) от математики. Историки один за другим предлагали разные способы решения поставленной проблемы: от ее переформулирования до аргументации надуманности этой проблемы вообще. В данном контексте В. Дильтей, например, ввел свою знаменитую онтологическую дихотомию *наук о природе* и *наук о культуре* и объявил эти две группы наук неконвергентными. В. Виндельбанд, основываясь уже на методологических критериях, разделил науки на те, которые пользуются номотетическим методом естественных наук, и те, которые применяют идиографический метод наук гуманитарных. При этом он утверждал, что истории адекватен и тот и другой метод, тем самым подчеркнув амбивалентность древней дисциплины. Он, например, советовал логикам обратить внимание на исследование того, как совокупный *максимум интерполяции* может быть использован для конструирования исторических гипотез, а также проанализировать, каким образом соотносятся между собой факты и те исходные посыпки, ориентируясь на которые историки эти факты интерпретируют.

До Бокля историки в общем-то знали, чем они занимаются: пишут историю для того, чтобы поведать людям о прошлых временах. Вплоть до XIX в. история рассматривалась как специфический вид литературы. Историки или интеллектуалы, пишущие об истории, обращали внимание на проблему стиля в истории, но немного говорили и о теоретических вопросах исторической науки. Общее утверждение заключалось в следующем: история

---

<sup>1</sup> См. об этом: *Blanke H. W., Fleischer D., Rösen J. Theory of History. In: Historical Lectures: The German Tradition of Historic, 1750–1900. History and Theory 23 (October 1984), 331–356.*

должна сообщать истину и просвещать человечество. Под истинной понимались не столько факты, сколько моральные поучения. Многие историки XIX в. — Карлейль, Мишле, Буркхардт — рассматривали историю как риторический, литературный или эстетический проект, а многие литераторы — В. Скотт, О. Бальзак, Э. Золя — настаивали на понимании литературы как исторического, социологического и научного предприятия. Позитивизм заставил их усомниться в том, что это их единственная задача. А. Мегилл, например, считает, что этот переход от простого исторического описания к историческому исследованию (поискам теории и метода) есть две фазы эволюции теории истории, а также проявление антиномичной природы истории как академической дисциплины.

Рассуждая о возможности и эффективности применения к истории междисциплинарных методов, следует начать с простых вещей. Во-первых, уточнить природу дисциплинарности. С нашей точки зрения, быть научной дисциплиной означает быть *нормальной наукой*, обладающей специфическим набором характеристик, таких как своя онтология, предмет, эпистемология (инструментарий, категориальный аппарат), язык. Это тот минимальный набор, который дает некоей дисциплине формально-юридическое право занимать определенное место в пространстве академических (научных) дисциплин<sup>1</sup>. Во-вторых, упорядочить взгляд на то, что в эпистемологии принято называть интегративными процессами в науке, и на то, как они влияют на статус и конструирование дисциплинарности. В свое время М. С. Каган выявил пять уровней такой интеграции:

1) уровень *синтеза*, где в результате скрещивания смежных дисциплин рождаются новые (например, “цивилизациология”, “рискология”);

2) собственно *междисциплинарный уровень*, где несколько дисциплин обмениваются информацией, транслитерируют языки одной науки на другие в целях вступления друг с другом в осмысленный диалог;

3) *трансдисциплинарный уровень*, где вырабатываются общие для отдельных групп наук принципы исследования, перешагивающие через установленные границы этих дисциплин;

---

<sup>1</sup> Споры о том, является ли история (как и философия, впрочем) наукой, вряд ли когда-нибудь утихнут.

4) *уровень философский*, связывающий все области знания (математику, инженерно-технические, естественно-научные и социально-гуманитарные науки) друг с другом и с художественными формами освоения реальности;

5) *уровень общенаучный*, на котором формируются единые исследовательские программы разной степени общности (например, культур-центристские и натур-центристские программы)<sup>1</sup>.

В ходе дальнейших исследований идея Кагана о многоуровневом характере взаимодействия дисциплин была уточнена: появились понятия полидисциплинарности, мультидисциплинарности, субдисциплинарности и пр.<sup>2</sup>

Предмет наших рассуждений — междисциплинарность. Она реализуется на неопределенном множестве содержательных методов, в отличие от их *alter ego* — методов доказательств, систематизации, классификации полученного знания. Содержательные методы — это такие способы оперирования с предметом исследований, с помощью которых изучаются собственно факты, за которыми стоят реальные связи вещей. Поэтому спецификация этих методов зависит от дисциплинарной принадлежности, и их принято называть *частнонаучными методами познания*.

В отечественной науке 2000-х гг. одну из наиболее убедительных концепций междисциплинарности, вокруг которой сгруппировалось внушительное число ее сторонников, предложил Э. М. Мирский<sup>3</sup>. Его ключевая идея заключается в том, что стержень любых междисциплинарных поисков — определенная дисциплина, закономерные сложности развития которой заставляют ученых искать стабилизирующие ее структуры не внутри нее, а вовне.

---

<sup>1</sup> См.: Каган М. С. Взаимоотношение наук, искусств и философии как историко-культурная проблема // Гуманитарий. Ежегодник № 1. 1995. С. 22. М. Каган, разумеется, был одним из многих исследователей, занимавшихся в начале 1990-х гг. проблемой междисциплинарности в отечественной науке. Но его ход мысли, упорядоченный и стройный, мне наиболее симпатичен. О культур-центристских и натур-центристских программах см. работы В. Г. Федотовой.

<sup>2</sup> Публикации под кодовым названием “Rethinking Interdisciplinary” в изобилии представлены в интернете.

<sup>3</sup> Мирский Э. М. Междисциплинарные исследования // Новая философская энциклопедия. Т. 2. М., 2001. С. 518.

Необходимость диалога, рациональной коммуникации представителей разных дисциплин превращает междисциплинарность в инструмент организации дисциплиной самой себя, а итоги такой междисциплинарности обслуживают саму ключевую дисциплину диалога, делают ее богаче и конкурентоспособнее<sup>1</sup>. На мой взгляд, такое прочтение междисциплинарности вполне адекватно, оно отвечает дисциплинарной структуре классической науки и не противоречит “авторскому” прочтению сущности постнео-классической науки.

Экстраполируем эти рассуждения на историю. Для того, чтобы быть самостоятельной дисциплиной, ей необходимо выявить свои онтологические и эпистемологические основания. Представим их с известной мерой условности в следующей таблице:

<b>Историческое мышление</b>	<b>Историческая онтология</b>	<b>Историческая эпистемология</b>	<b>Способ адресации к прошлому</b>
Особая реальность как условие самой себя, ей не предшествует никакое узнавание или восприятие “истории”	То, с чем имеет дело историческое мышление — материальный референт или воображаемый феномен	Способы демонстрации (репрезентации) исторической онтологии	Память, официальные документы, свидетельства очевидцев и пр.

Каждый элемент этого ряда в XX в. с разных точек зрения и с разных ракурсов исследован *теоретиками истории*: Хейденом Уайтом, Хансом Кёллнером, Франклином Анкерсмитом, Домиником Ла Капрой, Робертом Беркховером, Мартином Джеем, Алланом Мегиллом; *литературными гуманистами*: Лайонелом Госсманом, Стивенем Бенном, Хилари Патнэмом, Линдой Опп; создателями и последователями нового историзма, микроистории, новой культурной истории, культурных исследований, постколониальной истории, социального конструктивизма и многих других<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Обсуждение идеи Э. М. Мирского см. в сборнике “Междисциплинарность в науках и философии” (М., 2010).

<sup>2</sup> Мы назвали только некоторых англосаксонских историков-теоретиков и литературных гуманистов, минуя французских (“Анналы” всех поколений), русских (А. Гуревича, Е. Гутнову, К. Хвостову, Л. Репину и др.), немецких (Г. Иггерса, Й. Рюзена и др.), итальянских (У. Эко, К. Гинзбурга) и другие школы. См.: *Иггерс Г., Ван Э.* Глобальная история историографии. М., 2012.

Полученные ими результаты дают все основания утверждать, что история на рубеже XX–XXI вв. выработала свой (пусть и в большой степени конвенциональный) автономный стандарт научности, формирующий *историческую идентичность*, позволяющий проводить плодотворные исследования. А сам сложный путь формирования такого стандарта для истории был вписан в структуры междисциплинарности<sup>1</sup>. Многочисленные *повороты*, в которые историческая дисциплина вписывалась легко и непринужденно, всегда в конечном итоге приводили к выигрышу истории: разнообразные инодисциплинарные *вызовы* способствовали тому, что историки заимствовали и адаптировали детали языка, некоторые категории, особенности методологической рефлексии других дисциплин так, что в результате происходила не замена собственного чужим (хотя и такое иногда случалось), а модификация и оптимизация своей дисциплинарной матрицы.

Возьмем, например, эволюцию лингвистического поворота в пространстве исторической науки: *малый* лингвистический поворот, который фокусирует внимание историка на *языке* объекта исторического исследования, примером чему служит так называемая *история снизу* (*history from below*); *риторический* лингвистический поворот, фокусирующий внимание на использовании риторики в историописании, и *нарративный* лингвистический поворот (переосмысление сущности и функций исторического нарратива).

Образцами *малого* лингвистического поворота в истории могут служить труды, которые обычно ассоциируются с историко-антропологическими изысканиями: “Возвращение Мартена Герра” Н. Земон Дэвис или “Монтайю, окситанская деревня” Э. Ле Руа Ладюри, где исследователей *интересует язык*, на котором говорят их герои. Он — форма выражения их сущности<sup>2</sup>. В качестве основных источников истории используют документы, приход-

---

<sup>1</sup> О некоторых проблемах междисциплинарных диалогов истории см.: Кукарцева М. А. Эпистемологические проблемы лингвистического поворота в историографии // Эпистемология и философия науки. 2006. № 1.

<sup>2</sup> А вот история К. Гинзбурга о Меноккио (“Сыр и черви”) абсолютно нетипична для *истории снизу*, так как его задачей было воссоздание не ментальности и повседневной жизни крестьянской общины, а духовного мира и системы ценностей конкретного человека.

ские метрические книги, завещания, протоколы сделок, судебные дела и пр. Привлечение таких свидетельств считается необходимым для реконструкции языкового опыта “простого человека”. Поэтому неудивительно, что особый вклад в формирование *истории снизу* внесла школа “Анналов”. Историки этого направления обозначили тот исследовательский механизм, в котором возможно создание *истории снизу*<sup>1</sup>.

Критики упрекают *историю снизу* и в том, что она *размывает, дефрагментирует* настоящую историческую науку. Она действительно погружает читателя в море мелочей, иногда неоправданно настойчиво акцентирует внимание на специфике произношения слов в исследуемой эпохе, так что возникает опасность сужения истории до калейдоскопа картинок из быта маленьких людей. Такое впечатление складывается потому, что здесь историческая наука вступила в междисциплинарный диалог с *социолингвистикой*. С ее помощью историки обратили внимание на характерные особенности речи различных социальных групп людей прошлого и положили начало реализации лингвистической парадигмы в исторических исследованиях — лингвистического поворота.

Идеи его следующего этапа (*риторического поворота*) формировались в исторической дисциплине очень долго. Они имеют собственную историю<sup>2</sup>. Риторический поворот *акцентировал понятие сюжета (plot) в исторических исследованиях*. Его можно понимать как исследование стилистики исторических текстов, где стилистические фигуры усиливают экспрессивность истори-

---

<sup>1</sup> О сложностях самого проекта *истории снизу* см.: Sharpe J. History from Below // New Perspectives on Historical Writing / Ed. P. Burke. Cambridge. Polity Press, 1991. P. 24–41.

<sup>2</sup> От Аристотеля, Цицерона и Квинтилиана via Дж. Вико до Х. Блэра, Х. Уайта, Х. Перельмана. На формирование концепции риторического поворота в XX в. оказали влияние идеи Кеннета Бёрка, С. Паппера и Н. Фрая; М. Бахтина о тексте как всеобщей форме диалога (полифония контекстов, мениппея, карнавал); теория стиля Р. Якобсона; школа русского формалистического литературоведения: Б. В. Шкловский, Ю. Н. Тынянов, Б. М. Эйхенбаум, создавшие свою теоретическую поэтику, основанную на подходе к произведению как к конструктивному целому; идеи Фердинанда де Соссюра о двусторонности языка, Луи Ельмслева о двух планах (уровнях) языка. Я не раз писала об этом в разных статьях.



ческого повествования. Ключевую роль в риторическом повороте сыграли идеи и работы Х. Уайта, Л. Минка и Р. Барта.

Согласно основным положениям Х. Уайта и Л. Минка множественность и диверсификация объектов делает историю ближе к литературе. Историческим текстам требуются такая же аранжировка, стилистика и риторика, как и текстам литературным. Тем и другим одинаково свойственно и многообразие моделей репрезентации. Общим местом стало понимание истории как совокупности текстов, отражающих прошлое, и литературы как совокупности фикциональных, имажинативных, творческих текстов, отражающих жизненный мир человека сквозь призму культурно организованных смыслов. Как в литературных текстах заключена истина, так и в исторических — вымысел. Следовательно, история есть литература.

Другой подход сформулировал Р. Барт. Он предложил рассматривать не содержание, а форму текста и авторский голос в нем. Барт утверждал, что хотя фикциональный дискурс характеризуется авторским присутствием, в дискурсе истории превалирует нейтральный голос и историки существуют как бы вне текста. Критики Барта, особенно Филипп Каррард, показали, что история есть гетерогенное предприятие и поэтому такой вещи, как *один исторический дискурс*, не существует<sup>1</sup>.

В целом риторический этап лингвистического поворота, *во-первых*, инспирировал новый круг дебатов в философии истории и самой истории вокруг дистинкции “история — наука или искусство”. *Во-вторых*, вновь поднял знамя литературизации историописания. *В-третьих*, воззвал к возвращению обратно, в *золотой век* добоклевского историописания, свободного от необходимости мучительных раздумий о методе. На этом витке лингвистического поворота история, вступив в диалог с литературой, вышла из него обогащенная пониманием того, что: 1) литература справедливо предлагает истории обращать внимание на эстетические моменты исторического исследования, на важность тщательно-го и взвешенного подхода к различным моделям репрезентации<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> Carrard F. Poetics of the New History: French Historical Discourse from Broudel to Chartier. Baltimore: John Hopkins University press, 1992.

<sup>2</sup> См.: Бенн С. Одежды Клио / Предисл. М. А. Кукарцевой (*Кукарцева М. А. Репрезентация в истории*). М., 2011.

2) литература сообщает истории знание определенных экзистенциальных аспектов человеческого бытия, которые часто упускаются из вида историками. Вооруженная этим знанием, история приступила к разработке эстетического и психологического измерений своей дисциплины. Эти измерения обнаружились уже на завершающем этапе лингвистического поворота в истории — *нарративном*. Он акцентировал понятие “способ построения сюжета” (*emplotment*).

Нарративный поворот начался с идеи Гемпеля о модели охватывающего закона; оформился в дискуссиях о концепции рационального выбора, предложенной У. Дрей, о феномене *прослеживания истории* У. Гэлли, в идеях А. Данто о противопоставлении Историка и Идеального Хрониста, Л. Минка о конфигуративном понимании, в обобщающих аналитических работах Б. Кроче и П. Рикёра; принял программную форму в работе Х. Уайта “Метаистория”; завершился в трудах Д. Ла Капры, Х. Кёллнера, Ф. Анкерсмита.

Важно, однако, подчеркнуть, что завершился именно поворот, и *результатом* превращения его в прямую линию стало прочтение нарратива как ядра идентичности не только исторической дисциплины. “Общий хор социально-гуманитарных дисциплин — литературоведения, религиоведения, психологии, антропологии, социологии, философии, политологии — эхом возвращающийся от психотерапевтов, медицины, права, маркетинга, дизайна... сообщает, что люди обычно излагают свою жизнь в нарративе...”, — писал Гален Стросон<sup>1</sup>.

Формулируя нарративы, оформляя факты и события в нарративе, воплощая жизнь в наиболее выгодном для нас повествовании, мы расширяем свои возможности воздействия на людей. Нарратив — термин, акцентированный постмодернизмом, наполненный субъективностью и относительностью, стал мейнстримом социально-гуманитарного знания; уверенно заявила о себе новая (хотя и относительно) дисциплина — нарратология. История здесь оказалась практически в уникальном положении: она не только укрепила свой дисциплинарный костяк, показав другим наукам, что такое нарратив, какова его темпоральная структура и как можно

---

<sup>1</sup> *Srtrawson G. A Fallacy of Our Age // Times Literary Supplement, 2004. October 15.*

строить его сюжеты. Главное в том, что в междисциплинарном диалоге она едва ли не впервые сыграла солирующую роль.

Конечно, психосоциальные аспекты нарратива, его связь с сознанием, бессознательным, его установками давно стали предметом исследований в психологии и психоанализе<sup>1</sup>. Однако ключевым инструментом “создания себя” он стал все-таки в контексте дискуссий лингвистического поворота в исторической науке. На эту особенность нарратива обратила внимание Н. Партнер в замечательной статье “Живучесть нарратива”<sup>2</sup>. “На уровне индивидуального сознания задача нарратива — конституирование объединенного чувства себя, вневременного, включая работу памяти и забывания, герменевтику опыта. Нарратив коллективной силы и нарратив индивидуальной целостности имеют общие корни, поскольку и тот и другой осмысливаются в понятиях упорядочения объекта исследования, решения задач приоритетного характера, селекции мотивов смысла, регулирования излагаемых событий и, наконец, ответственности за происходящее. Нарратив — инструмент связности и придания смысла”<sup>3</sup>, — пишет она. Здесь же Н. Партнер рассматривает международный проект историков, проведенный в рамках *Scholar’s Initiative (SI)*, инициированный в 2000 г. под руководством проф. Ч. Инграо<sup>4</sup>. Семь команд историков (260 чел.) писали нарративы о событиях в Косово с разных точек зрения<sup>5</sup>. Идея заключалась в создании объяснительного нар-

---

<sup>1</sup> См.: *Breuer J. & Freud S. Studies on Hysteria (1895)*, а также антологию *McAdams D. P., Josselson R., Lieblich A.*, eds. *Identity and Story: Creating Self in Narrative*. Washington, DC, American Psychological association, 2006. К нарративу обращается Э. Гидденс в конструировании и защите современной идентичности в фрагментарном посттрадиционном мире. См. его работу “Модерн и самоидентичность”. *Giddence A. Modernity and self-idenlity*. Stanford (Cal.) Stanford Univ. press, 1991.

<sup>2</sup> *Partner N. Narrative Persistence // Re-Figuring Hayden White. Cultural Memory in the Present*. Stanford University Press, 2009. P. 81–104.

<sup>3</sup> *Ibid.* P. 99.

<sup>4</sup> *Confronting the Yugoslav Controversies: Can Scholars Make a Difference?* URL: [http://fsi.stanford.edu/events/confronting\\_the\\_yugoslav\\_controversies\\_can\\_scholars\\_make\\_a\\_difference](http://fsi.stanford.edu/events/confronting_the_yugoslav_controversies_can_scholars_make_a_difference).

<sup>5</sup> О Косово эпохи 1974–1990 гг., об этнических чистках 1991–1995, о хорватско-сербских конфликтах, мере ответственности хорватского правительства за геноцид сербов и пр.

ратива под общим названием “Объясняя югославскую катастрофу: в поисках общего нарратива” — прозрачного, бесстрастного, логически артикулированного, связного и всеобъемлющего.

Проблема, с которой столкнулись все команды, заключалась в том, что никто не смог написать “безучастный” нарратив, занять позицию нейтрального наблюдателя. Все исследователи рассматривали нарративы как средство формирования национального самоутверждения, так что итоговый отчет о ходе исследования был изъят в 2007 г. из обсуждения ввиду угроз авторам со стороны представителей враждующих сторон. Это подчеркнуло очевидное: нарратив есть гораздо более грозное оружие, чем просто дискурс реальности, формальный инструмент трансляции истины. В проведенном эксперименте историк каждой оппозиционной команды объявлял в своем нарративе произошедшее насилие исторически “неизбежным”, ссылаясь на психологические и социологические основания этого насилия, так сказать, большой длительности. “Нарративная форма со всей присущей ей символической и трансформирующей реальность силой образовала четкую границу между крупномасштабными национальными целыми (однако эмпирически бездоказательными или, как мы часто говорим, “воображаемыми”) и личностной идентичностью”<sup>1</sup>.

Нетрудно заметить, что в результате лингвистического поворота история, оказавшись в пространстве междисциплинарных дискуссий, впитала в себя принципы семантического анализа, крупномасштабного структурного анализа, социолингвистики, тропологию, нарративизм. Они стали ключевыми моментами лингвистического поворота в истории, помогли ей отразить натиск позитивистской истории и укрепить свою дисциплинарность.

Особенность (и предмет) исторической дисциплины заключается в том, что в ней исследуют прошлое, то есть время, саму жизнь. А она открыта любой науке, поэтому количество линий пересечения, обмена информацией между историей и всем множеством других дисциплин бесконечно. Все служит материалом для изучения жизни, и история ждет от других дисциплин как импульса творческой силы, так и непосредственной очевидности.

---

<sup>1</sup> *Partner N. Narrative Persistence.* P. 96.

## 1.2. Опыт метафилософии истории<sup>1</sup>

В исследовательском поле современного социально-гуманитарного знания феномен философии истории все еще остается малоизученным: нет единства мнений по вопросу предмета и объекта философии истории, не проработан ее категориальный аппарат, в конце концов нет опыта осмысления самой философии истории в качестве отдельной области философского знания. Между тем для того, чтобы плодотворнее рассуждать о философии истории и о ее задачах, необходимо суметь взглянуть на философию истории, поднявшись как бы над нею, то есть сделать попытку ее метарефлексии. Детали в таком случае отойдут в сторону, но высветится сущность, “скелет” (говоря языком аналитической философии), на который можно наращивать “плоть и кровь” понятийного аппарата, логико-методологических и эпистемологических оснований. На наш взгляд, в опыт такой метафилософии истории прежде всего должна войти рефлексия истории философии истории, попытка теоретической реконструкции истории философии истории.

В философско-исторической литературе, как правило, речь идет о хронологических этапах философии истории. Такой подход, безусловно, важен, но он должен быть дополнен и другим взглядом на объект исследования, позволяющим высветить *сущность* этого объекта *сквозь* историю его рассмотрения. Это сложная задача хотя бы потому, что сегодня ни в отечественной, ни в зарубежной литературе нет сколько-нибудь общепринятой версии типологии философии истории. А ведь именно определенная типология должна выступать критерием селекции логических идей в философии истории.

Известный нидерландский историк и философ-постструктуралист Ф. Анкерсмит выделил четыре основных типа философии истории:

1) историографию, описывающую историю историописания, то есть знание об истории, получаемое специальной познавательной деятельностью;

2) спекулятивную философию истории, исследующую реальные ритмы исторического процесса;

---

<sup>1</sup> Кукарцева М. А., Колomoец Е. Н. Опыт метафилософии истории // Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия. 2000. № 6. С. 48–59.

3) критическую философию истории как философскую рефлексию по поводу того, как возможно и как формируется заключение об историческом событии;

4) новую историографию как постструктуралистскую нарративную философию истории<sup>1</sup>.

Интересен подход Л. Голдстейна к обозначенному вопросу. В работе “Историческое знание”<sup>2</sup> он предложил выделять теории философии истории, ее инфраструктуру, как наиболее важную часть, в которой исследуется техника и методология истории как научной дисциплины, и суперструктуру, то есть собственно историческую продукцию, произведенную не всегда только историками и имеющую целью дать всем интересующимся некоторое представление о том, “на что похожа часть исторического прошлого”. К идеям Голдстейна в определенной мере примыкает гипотеза А. Игнатова, очень удачно и интересно дифференцировавшего объем предмета философии истории на “что”, “как”, “сколько”, “где” и “когда” в истории<sup>3</sup>.

А. И. Ракитов предложил разделить историографию, историософию и историческую эпистемологию так, чтобы первая принадлежала исторической науке, последняя — философии истории, а историософия — им обеим. Он разграничил выделенные области знания по объекту, предмету и типу знания, объекту и методологии исследования<sup>4</sup>. Такой подход, безусловно, плодотворен, поскольку четко разграничивает сферы деятельности наук об истории, но вместе с тем он затушевывает своеобразие философско-исторического анализа истории, не исчерпывающегося исключительно логико-методологическим анализом исторического, а включающего в себя и художественно-эмоциональное познание истории. Кроме того, термин “историософия” вообще четко не определен и часто понимается (особенно в русской философской традиции) как абсолютный синоним понятия философии истории.

---

<sup>1</sup> *Ankersmit F. The Reality Effect in the Writing of History: the Dynamics of Historiographical Topology. Amsterdam, 1989. P. 1.*

<sup>2</sup> *Goldstyein L. Historical Knowing. Austin, 1976.*

<sup>3</sup> *Ignatov A. Antropologische Geschichtphilosophie: Fur eine Philosophie der Geschichte in der Zeit der Postmoderne. Sankt Austin, 1993.*

<sup>4</sup> *Ракитов А. И. Историческое познание: системно-гносеологический подход. М., 1982.*

Помимо этого в отечественной философской литературе выделяют *материалистический, субстанциальный, субъективистский типы философии истории* (И. Кон, Ю. Кимелев, Ю. Губман и др.). Основания такого деления не вполне ясны. Кон разграничивает субъективистский и объективистский типы философии истории по гносеологическому принципу, однако полученное в результате деление слишком широко и не вполне адекватно задаче точной типологизации философии истории. Также недостаточно разделения на линейные и нелинейные философско-исторические концепции ввиду чрезвычайной вариативности объекта философии истории, явно не уместяющегося в пределы только пространственного деления и исключительно онтологического рассмотрения.

На наш взгляд, одна из наиболее интересных и удачных попыток типологизации философии истории предпринята в работе Х. Раппопорта «Философия истории в ее главнейших течениях»<sup>1</sup>. Раппопорт пошел по следующему пути: 1) выделил два значения философии истории — теоретическое (научное) и практическое (прикладное); 2) вычленил три направления философии истории: провиденциальное (Августин), метафизическое (Гегель), научное (Вико — позитивисты — Маркс); 3) научное направление разделил на физико-климатическое, физиолого-психологическое и культурно-историческое. В рамках науки того времени это была типологизация, в определенной мере упорядочивающая философско-исторические исследования, и, возможно, именно поэтому она, трансформировавшись в необходимой степени, сохранилась почти до первой трети XX в.

По очевидным причинам сегодня невозможно безоговорочно остановиться ни на одной из обозначенных типологий философии истории. Поэтому мы предлагаем придерживаться традиционно-философского взгляда, в соответствии с которым философия истории может рассматриваться как онтология и как эпистемология истории.

Онтологическая философия истории<sup>2</sup> — это дисциплина, предмет которой — создание общей теории всемирно-исторического

---

<sup>1</sup> Раппопорт Х. Философия истории. СПб., 1898.

<sup>2</sup> В англо-американской традиции — субстанциальная философия истории.

процесса. Такая философия истории существует относительно самостоятельно от исторической науки. Если же мы говорим о теоретико-познавательной философии истории, об эпистемологии философии истории, то предметом анализа здесь могут быть и онтологическая философия истории, и историческая наука. Такой подход позволяет вычленить некоторый непротиворечивый критерий теоретического рассмотрения философии истории, руководствуясь которым можно предположить, что развитие философии истории представлено цепочкой “классическая — неоклассическая — постнеоклассическая” философия истории. Мы настаиваем на императивности такой периодизации и предлагаем ее только в первом приближении и в качестве рабочего инструмента теоретической реконструкции истории философии истории.

*Классический элемент философии истории* обширен: от Августина до Маркса и далее — Шпенглер, Шпет, Арон, Фукуяма, Хантингтон, Данто и др. Основные интересы классической философии истории группируются вокруг следующих проблем: смысл истории, ее деятельные силы и лица, направленность исторического процесса, способы познания исторического процесса. Строго говоря, фундаментальные интенции классической философии истории сформулировала Античность в русле свойственного ей ощущения человечества как связного целого.

Не прав Э. Бернгейм<sup>1</sup>, утверждая, что только христианство создает предпосылки для философии истории, так как только ему свойственно ощущение *единства человеческого рода*. Полагаем, что как раз христианство отчасти утратило это чувство, противопоставив гилозоизму античного мировоззрения постулат тварности мира. Трепетное отношение Античности ко всему окружающему как потенциально и актуально живому и одушевленному сообщало этому окружающему связность и имманентную историчность. Христианство разрушило эту непрерывность, позволив соответственно критерию обращенности к Богу решать, что оставлять, а что изымать из единого человеческого рода, то есть решать, что достойно истории и что достойно быть историей, а что должно быть этого лишено.

Несомненно, философско-исторические теории Средневековья по сравнению с Античностью имеют четкую концептуальную

---

<sup>1</sup> Бернгейм Э. Философия истории, ее история и задачи. М., 1910. С. 5.



структуру, что, собственно, и приближает их к теории философии истории, но в их рассуждениях историей предстает только то, что христианством охвачено, а все, что не охвачено, — в историю человечества не входит. Философия истории, таким образом, лишается своей важной характеристики — охватить и объяснить не только локальные истории франков, саксов, русичей и др., а всемирную историю в целом.

Однако ни Античность, ни Средневековье не создали философию истории в подлинном смысле. Проблема заключалась в специфическом понимании единства мира: в Античности акцентировалась его субстанциальная сторона, и в этом смысле создававшиеся социально-философские системы более напоминали философию общества, чем философию истории. Процессуальная сторона единства оставалась как бы в тени. В Средневековье внимание было сосредоточено как раз на процессуальном моменте (развитие человечества от его сотворения до апокалипсических событий Нового Завета), интегративный элемент, таким образом, был чрезвычайно сужен. Поэтому *действительной* философии истории, с присущим ей элементом всеобщности, создано не было.

Тем не менее инспирированный христианством взгляд на философию истории был продолжен Боссюэ, де Ружмоном, Сеньбосом, Бердяевым, Соловьевым и др. Их концепции объединяет понимание истории как осуществления божественной идеи, и они представляют собой не аналитическое (теоретическое) знание истории, включающее в себя необходимый ряд абстрактно-всеобщих содержаний, а знание духовно-практическое, чьи обобщенные принципы, нормы и идеалы могут быть эксплицированы только на конкретных ситуациях и нуждаются в индивидуальной духовной проработке.

Дальнейшее развитие классической парадигмы философии истории шло по нескольким направлениям.

*Первое направление* было представлено Вико, Монтескьё, Тюрго, Вольтером и Гердером. По мнению целого ряда исследователей, именно здесь и начинается собственно философия истории. Помимо формального появления самого термина впервые формулируется и становится общепризнанным существование особого круга проблем — философии истории, а сама она при-

знается отдельным объектом философского исследования. В орбиту философско-исторических размышлений вовлекаются понятия географического детерминизма, общественного договора, происхождения и сущности культуры, ее влияния на исторический процесс, поиски единой детерминанты всемирной истории. Это направление продолжили и развили Лотце, Лафарг, Маркс, Данилевский, Тойнби, Фукуяма, Хантингтон и др.

*Второе направление* классической парадигмы сформулировал Кант, введя в оборот философско-исторических штудий проблематику свободы, роли нравственного сознания в истории, самостоятельности в истории единичной воли.

*Третье направление* образовали Кондорсе, Бокль, Конт, Ранке, Лампрехт, Шпенглер, Риккерт и Виндельбанд. Особую роль здесь сыграли работы Дройзена и Дильтея.

В 1858 г. идеями, изложенными в книге “Grundriss der Historik”<sup>1</sup>, Г. Дройзен ввел в научный обиход весьма важную методологическую дихотомию: *объяснение* и *понимание*. Первоначально эта дихотомия была у Дройзена просто дистинкцией собственно философского метода, призванного *узнать* что-то; физического метода, выполняющего функции *объяснения*, и исторического метода, необходимого для *понимания*. Постепенно под влиянием идей и работ Дильтея обозначенная трихотомия “расплылась” и осталась дихотомия объяснения и понимания. Объяснение, как его понимал Дройзен, преимущественно реализуется в номических<sup>2</sup> суждениях естественных наук и является их целью; понимание реализуется в метафизических суждениях гуманитарных наук и является их целью.

Дальнейшее, после Дройзена, развитие научной мысли привело к дискуссии о роли и месте обеих парадигм в гуманитарном знании. Сторонники объяснительной парадигмы — позитивисты и последователи аналитической философии, сторонники понимающей (интерпретационной) парадигмы — герменевтики, философы жизни, постструктуралисты (Дильтей, Зиммель, Вебер, Кро-

---

<sup>1</sup> Droysen G. Grundriss der Historik. Berlin, 1858.

<sup>2</sup> Номические суждения — суждения, выражающие необходимость; противоположны случайности, выражающей законы природы в чистом виде.

че, Коллингвуд, Арон, Барт и др.)<sup>1</sup>. В рассматриваемом направлении классической парадигмы основной интерес сосредоточен не просто на исследовании деятельных сил истории, а на методологии их познания. Последняя может строиться на сравнительно-историческом методе (Конт), культурно-историческом методе (Лампрехт), морфологическом методе (Шпенглер), нарративном методе (Ранке), понимающей или объясняющей методологии (Гуссерль, Шутц, Гемпель, Поппер). В этом ряду отдельно стоит аналитическая философия истории.

Аналитическая философия истории, как считает один из ее главных теоретиков Артур Данто, “не просто связана с философией. Это есть философия, приложимая к особым концептуальным проблемам, которые возникают как из всей практики истории, так и из практики философии истории”<sup>2</sup>. Последняя, по мнению Данто, имеет дело только с анализом прошлого и настоящего истории. Однако наше познание прошлого ограничено нашим игнорированием возможностей познания будущего. Идентификация этого ограничения и есть, по Данто, задача аналитической философии истории.

Аналитическая философия истории<sup>3</sup> осуществляет анализ специфики дискурса истории как научной дисциплины через: 1) концептуальный анализ истории в целях обеспечения надежных оснований исторического знания; 2) анализ того, чем должна заниматься историческая теория и как она должна строиться;

---

<sup>1</sup> Существует несколько типов концептуализации различия естественных и общественных наук: предложенный Баденской школой неокантианства (различие в объектах, в типах знания, в методах), герменевтикой (объяснение — понимание), аналитической философией (аналитические — синтетические, оценочные — дескриптивные суждения), критическим рационализмом (гипотетико-дедуктивная теория — система предположений, выражающих законы разной степени общности, связанные определенными логическими отношениями для естественных наук, система эмпирических ситуаций — экстраполяция на основе ситуационной логики для гуманитарных наук).

<sup>2</sup> *Danto A. The Analytical Philosophy of History. Cambridge (Mass.), 1965. P. 4.*

<sup>3</sup> Мы рассматриваем аналитическую философию истории, восходящую к позднему Витгенштейну, и аналитическую философию, развиваемую в рамках позитивизма и логического эмпиризма.

3) анализ методологии истории, пересекающийся с новыми проблемными областями феноменологии и герменевтики; 4) исторический анализ конкретно-исторических обычаев словоупотребления. Реализуя эти задачи, англо-американская аналитическая философия истории, например, второй половины XX в., в целом сконцентрировала внимание на поисках удовлетворительной концепции исторического объяснения, на логическом исследовании структуры нарратива вообще и нарративных предположений в частности, и на анализе проблем исторического познания. Первый круг проблем в основном свелся к обсуждению предложенной Гемпелем и Поппером “подводящей теории” объяснения, второй — к логическому исследованию структуры языка, используемого в исторической науке, а третий — к анализу теории действия, предложенной Дэвидсоном в рамках аналитической герменевтики.

В целом классическая парадигма философии истории замыкается в пределах стремления выработать общее историческое миросозерцание, понимаемое как философское выяснение принципов самой истории и принципов познания истории, детерминруемое фундаментальными задачами истории как научной дисциплины. Онтологическая и эпистемологическая проблематики в классической философии истории являются равноправными и безусловно доминирующими.

*Неоклассическая парадигма* в философии истории первоначально была инспирирована размышлениями Гегеля о возможности исторического осуществления логически постигаемых идей. Эти размышления были развиты романтиками — В. фон Гумбольдтом, Шлегелем, Новалисом, отчасти Фихте. Были предложены вариативные концепции разнообразных исторических миров как неких сфер значений. Основные рефлексии романтического понимания истории (“дух народа”, “мировая душа”, “тело нации”) стимулировали появление онтологических философско-исторических идей Дильтея; имеется в виду специфическое понимание жизни Дильтеем, которое оказало огромное влияние не только на всю немецкую философскую антропологию, но и на всю немецкую философию истории. Речь идет о дильтеевской трактовке индивидуальной психической жизни как прообраза жизни общества и истории,

то есть все события, происходящие в обществе и истории, детерминируются индивидуальной духовной жизнью человека, а сама история объясняется из этой жизни. По существу, была создана антропологическая философия истории, которую сегодня всерьез практически никто не исследовал ни в отечественной, ни в зарубежной литературе. В наибольшей степени она была разработана в немецкой философии, так как именно там философская антропология имеет особенно длительную традицию (Кант, Фейербах, Маркс и др.), а ее систематическое изучение начинается в 1920–30-е гг.<sup>1</sup> В ней естественным образом возникает проблема пересечения философской антропологии с философией истории. Точка такого пересечения главным образом видится в проблеме поиска специфических отличий человека от прочих живых существ — его *незаконченность, естественная искусственность*. Философия истории выступает как философия институтов, философия человеческой свободы (она конституционно дана избыточно, следовательно, назначение истории — преодоление избыточности человеческой свободы. Перед нами совсем другой поворот философии истории, где концептом выступает человеческая природа — либо в своей естественной ипостаси (Гелен, Плеснер), либо в культурной, где культура равна объективному духу (Ротхакер, Ландманн), либо в спиритуалистической (Хенгстенберг, Панненберг). Наиболее яркий представитель антропологической философии истории в период 1918–1945 гг. — Э. Ротхакер<sup>2</sup>, косвенно сюда примыкает ранний Хайдеггер с его исторической герменевтикой, идущей от человека и его существования, последним горизонтом которого является историчность.

В неоклассической парадигме философии истории доминирует онтологическая проблематика, эпистемологическая, очевидно, является вторичной.

*Постнеоклассическая философия истории* начинается с работы Дройзена «Историка: лекции об энциклопедии и методологии

---

<sup>1</sup> Помимо широкоизвестных работ М. Шелера и других немалый интерес представляют труды: *Sombart W. Vom Menschen. Versuch einer geistwissenschaftlichen Anthropologie*. Berlin, 1938; *Lipps H. Die menschliche Natur*. Frankfurt am Main, 1941; Litt Th. *Mensch und Welt*. München, 1948.

<sup>2</sup> *Rothaker E. Geschichtsphilosophie*. Munhen, 1971.

истории”<sup>1</sup>, в которой исследуется методология написания и чтения исторического текста. Дройзен рассмотрел историографию в трех основных отношениях: 1) методологическом (*methodik* — научный раздел); 2) системном (*systematik* — философский раздел); 3) поэтическом (*topik* — поэтический раздел). Он полагал, что истории необходимо признание ее тождественности искусству и отличия от науки. Дройзен составил схему возможных форм исторической репрезентации, интерпретации, понимания, нарративной стратегии и нарративной причинности:

— формы интерпретации (*биография, прагматизм, телеология, идеология*);

— формы репрезентации (*вопрос, дидактика, дискуссия, речитатив*);

— формы понимания (*биография, прагматизм, монография, катастрофа*);

— формы нарративной стратегии (*роман, сатира, трагедия, комедия*);

— формы причинности в нарративной стратегии (*индивидуальная, естественная, социальная, этическая*).

Историки дают фрагментарный срез искомого прошлого, что детерминируется степенью вхождения историка в историческое поле, а степень вхождения в свою очередь ограничивается четырьмя формами исторической интерпретации. Каждая из этих форм освещает разные территории существования истории, и репрезентация этих территорий неизбежно ведет к контрастным результатам в построении цепи событий. Выбор формы интерпретации зависит от содержания интерпретируемого материала; формы, в которой он явился историку; средств исторической артикуляции; результата и цели такой артикуляции. Кроме того, здесь немалую роль играют субъективные познавательные пристрастия ученого.

Каждая из форм дройзеновской *интерпретации* корреспондирует с тем, что сегодня можно назвать психологической интерпретацией (действий человека), причинной интерпретацией (событий), телеологической (функционирования общества и исто-

---

<sup>1</sup> *Droysen G. Historik: Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte. Tübingen, 1868; Дройзен Г. Историка: лекции об энциклопедии и методологии истории. М., 2004.*

рии), этической (событий как идеологического процесса). На репрезентативном уровне историк, по замыслу Дройзена, дает возможность читателю пережить одновременно реальность истинной последовательности событий, представленной нарративом, и последовательность операций, которыми историк пришел к этой реальности. Различные формы репрезентации помещаются историком между читателем и объектом исследования и постепенно приводят читателя к тому выводу, которого добивался историк.

Из форм репрезентации, предложенных Дройзеном, наиболее интересен *речитатив*. В нем цепь событий имитируется в их естественном развитии, при этом речитатив не равен фотографии событий или той исследовательской операции, в которой события говорят сами за себя, а строится при фиксированном поэтическом строе и ритмике, задаваемой языком истории. Дройзен подчеркивает, что именно нарративист заставляет события говорить, без него они немислимы. Фаза понимания как раз дает возможность посмотреть на исторические события *изнутри нарратива* и одновременно создать разные типы нарративной стратегии. Последним соответствуют свои формы причинности.

Дройзеновская схема, в целом продуманная и теоретически доказательная, не определяет тем не менее сути главного элемента нарративной философии истории — текста. Остается неясным, что же является семантически доминирующим в нарративизме — уровень интерпретации, репрезентации или понимания. У Дройзена они последовательно сменяют друг друга, оставаясь как бы рядоположенными. Главная же задача нарративной философии истории — представить историческое прошлое как текст, и в этом случае оно обладает тем значением, которое мы ищем. Как текст прошлое прежде всего нуждается в интерпретации и состоит из лексических, синтаксических и семантических элементов. Поэтому с точки зрения нарративной философии истории все, что делает историк, есть *перевод* текста прошлого в нарративный текст историка.

И здесь возникает проблема процедуры перевода. Дройзен подошел к ней очень близко, но так и не смог продумать ее до конца. Вероятно, под процедурой перевода он имел в виду реализацию форм причинности в нарративной стратегии, что не адекватно действительному положению вещей. Важность идей Дройзе-

на состоит в том, что он, по сути дела, один из немногих, если не единственный, приблизился к пониманию нарратива как модели лингвистической философии истории. “Наше историческое понимание полностью обусловлено нашими языковыми средствами”<sup>1</sup>.

Таким образом, постнеоклассическая философия истории ставит в центр исторических исследований текст, понимаемый как текст исторического нарратива. Для постнеоклассической философии истории текст есть не просто слой, *сквозь* который мы смотрим на прошлую историческую реальность или авторские интенции. Текст — это то, *на что* в первую очередь должен смотреть историк, иными словами, текст — это центр исторической работы.

В противоположность классической и неоклассической философии истории постнеоклассическая постулирует не-очевидность и не-прозрачность исторического текста, подчеркивает важность и сложность его прочтения, что ведет к концентрации внимания автора и читателя на конфликтах, колебаниях, амбивалентностях, двусмысленностях текста, одним словом, на том, что Поль де Ман назвал *неразрешенностями* исторического текста. Именно в них и проявляется “не-прозрачность” текста.

Для постнеоклассической философии истории важным источником вдохновения являются идеи французских исследователей группы “Tel Quel”. В целом постнеоклассическая парадигма философии истории обширно представлена в современных исследованиях работами Х. Уайта, Ф. Анкерсмита, Д. Ла Капры, Х. Кельнера, С. Бенна, А. Игнатова и ряда других. Все они, как правило, сторонники постмодернистского стиля философского дискурса, в соответствии с основной идеей которого философия не занята ни созерцанием, ни рефлексией, ни коммуникацией. Философия занята поисками точки соотнесения цели (концепта рефлексии) и творческой способности мыслить.

Вдумчивый анализ все же показывает, что постнеоклассическая философия истории в основном выполняет исследовательские процедуры в русле методологии структуралистского анализа текста — с общесемиотических и общелингвистических позиций

---

<sup>1</sup> *Droysen G. Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte. Tübingen, 1857/1937. S. 25.* Тексты Дройзена не раз переиздавались. *Droysen G. Texte zur Geschichtstheorie. Gottingen, 1972.*



(Якобсон, Барт, Греймас, языковая концепция де Соссюра, школа русского формалистического литературоведения 1920-х гг.). Основная идея — примат языковых систем порядка в организации текстовой реальности. В принципе, герменевтика тоже исходит из замкнутого текста, но делает акцент не на сложной системе языковых значений или синтаксических структур, а на своеобразии отраженной и интерпретируемой реальности.

Постнеоклассическая парадигма философии истории исходит из того, что именно фонология, синтаксис, круг проблем риторики являются определяющими в выстраивании текста исторического нарратива. Предмет особого интереса — возможность использования тропов поэтического языка, посредством которых новое смысловое содержание пробивает себе дорогу в область дискурсивной практики. Здесь постнеоклассическая парадигма философии истории воспроизводит известную мысль Кроче о том, что история находится “в нас самих”, а филология и философия соединенными усилиями производят историю. В целом мы полагаем, что постнеоклассическая философия истории ближе к философии историографии, чем к собственно философии истории, так как предмет историографии — определение методологических основ истории.

К постнеоклассической философии истории примыкает так называемая герменевтическая философия истории, исследующая проблему объективности исторических событий и ее соотношение с историческим текстом. Этой проблеме посвящены работы известного немецкого историка и философа Й. Рюзена<sup>1</sup>. Основные проблемы, которые поднимает Рюзен, таковы: 1) возможно ли ставить вопрос о цели и смысле истории, либо необходимо на первый план поставить проблему построения истории, то есть в конечном счете возможность объективного знания истории, меру соотношения истолкования и объяснения в истории; 2) проблема границы исторической реконструкции как проблема истинности исторического текста; 3) философия истории под углом зрения включенности в контекст современности и тем самым — проблема прочтения исторического текста. Ряд этих идей развит в

---

<sup>1</sup> *Rüsen J. Historische Objektivität. Aufsätze zur Geschichtstheorie. Vier Beiträge, 1975.*

книге Г. Бердинга “Просвещение с помощью истории”<sup>1</sup>. При ближайшем рассмотрении основные идеи герменевтической постнеоклассической философии истории не идут далее основных тезисов Дильтея — Гадамера<sup>2</sup>.

Постнеоклассическая философия истории замыкается в пределах методологических процедур познания истории, что порождает своего рода изоляционизм в философско-историческом знании.

Из выделенных нами парадигм философии истории в настоящее время доминирующими являются классическая и постнеоклассическая. Классическая — потому что потребность в понимании и объяснении самой истории, ее смысла и направленности остается неистребимой, люди хотят знать и мыслить прошлое и будущее истории, хотят знать способы познания истории, чтобы участвовать в ней. Постнеоклассическая философия истории популярна потому, что существует настоятельная необходимость исследовать и понять процессы смыслообразования как в самом историческом процессе, так и в историческом и метаисторическом тексте.

Рассмотренная с предложенной точки зрения философия истории предстает, говоря феноменологическим языком, “собранным единством мысли”. Она преодолевает исторически неизбежные разломы философско-исторического дискурса и реконструирует некую единую философско-историческую интенцию, некоторый единый философско-исторический опыт, всегда существовавший и существующий в мировой философии. Одновременно опыт такой теоретической реконструкции показывает, как меняется характер философии истории, как возникают в ней и как исчезают разнообразные идеи и направления. Такой опыт метафилософии истории также показывает, что в отличие от истории философия истории строит идеально-типические конструкты и модели, и нельзя искать в философско-исторических теориях отражения, подтверждения или опровержения реальных исторических событий.

---

<sup>1</sup> *Berding H.* Aufklaren derch Geschichte. Gottingen, 1990.

<sup>2</sup> Наиболее ранняя рефлексия над герменевтической философией истории в работах: *Kaufmann F.* Geschichtspilosophie der Gegenwart // Philosophische Forschungsberichte Heft G. Berlin, 1931; *Litt Th.* Wege und Irrwege geschichtlichen denkens. Munchen, 1948.

### 1.3. Философия истории и историология<sup>1</sup>

Долгие годы между историками и философами отсутствует единство мнений по поводу того, у кого больше прав рассуждать об истории со знанием дела. Отношения между историографией и философией истории некоторые исследователи называют даже “шизофреническими”<sup>2</sup>. Историки сомневаются в возможности философии адекватно освоить всю сумму проблем истории. Например, Т. Хамероу, представитель раннего поколения американских историков, непоколебимых “антитеоретиков”, воспитанных в парадигме традиционной политической истории, полагает, что “для большинства историков практика значит больше, чем теория; деятельность больше, чем рефлексия. Те, кто это чувствуют, пишут об истории, кто нет — о философии истории”<sup>3</sup>.

К данному мнению присоединяется и историк поколения 1990-х гг. (поколения *новой истории*) Р. Мартин. “Философские идеи приходят и уходят. Историки могут не знать последних эпистемологических и метафизических веяний, но они знают, как делать историю, и это все, что они должны знать,”<sup>4</sup> — пишет он. Данный тезис нередко не вызывает возражения и у отечественных историков. “Философы сами сильно зависят от историков”, — считает, например, Н. И. Смоленский<sup>5</sup>. На наш взгляд, это связано с тем, что многие философы действительно не в полной мере владеют категориальным аппаратом исторического знания, не всегда правильно понимают суть последнего или просто обращают мало внимания на то, чем действительно занимаются историки. Под этот случай подходят, в частности, исследования К. Гем-

---

<sup>1</sup> Кукарцева М. А., Мегилл А. Философия истории и историология: гранит совпадения // История и современность. 2006. № 2.

<sup>2</sup> Domanska E. Encounters. Philosophy of History after Postmodernism. Univ. Press of Virginia, 1998. P. 262.

<sup>3</sup> Hamerow T. Reflections on History and Historians. Univ. of Wisc. Press, 1987. P. 206.

<sup>4</sup> Martin R. On “Telling the Truth about History” by Applby, Hunt and Jakob // History and Theory. 1995. Vol. 34. № 3. P. 3.

<sup>5</sup> Смоленский Н. И. Возможна ли общеисторическая теория // Новая и новейшая история. 1996. № 1. С. 4.

пеля. Его меньше всего интересовало, что на самом деле делают историки; он был уверен, что владеет “правильным” методом, который логический эмпиризм заимствовал из естественных наук.

В целом по поводу претензий философов с наибольшей полнотой исследовать проблемы исторического знания хорошо сказал М. Фуко: “Существует своего рода миф истории для философов. Знаете ли, философы по большей части весьма невежественны во всех дисциплинах, кроме своей. Существует математика для философов, биология для философов, ну и точно также — история для философов. Для философов история — это своего рода огромная и обширная непрерывность, где перемешаны свобода индивидов и экономические или социальные детерминации”<sup>1</sup>. Но не получается ли тогда, что история становится для философов областью, где все их размышления не возвышаются над дилетантизмом? Тем более что многие из исследователей, внесших существенный вклад в философию истории, были, скорее, теоретиками-историками (интеллектуальными историками, *историками идей*), чем философами. Например, Коллингвуд известен сейчас как философ, хотя при жизни его знали как археолога и историка Римской Британии. Теория историографии Коллингвуда была рефлексией его собственного опыта археолога, что из его “Автобиографии” видно даже лучше, чем из “Идеи истории”. Попробуем расставить акценты.

Философия истории есть концептуальный способ исследования, а история — преимущественно эмпирический способ, основывающийся на опыте исследования источников. В истории исследовательская ситуация выстраивается в направлении от формирования фактологической основы исследования, через постановку проблемы к выбору основных постулатов методологии анализа, а в философии — от формулировки проблемы и изложения основных подходов к ее решению, к определению субстрата исследования. Это подтверждает хотя бы тот факт, что вся послевоенная социальная и *новая культурная* история заимствовала свои идеи из, например, марксизма, позитивистской социальной теории, теории парадигм Куна, антропологии (теория культуры Гирца как “сети значений”, к примеру), социологии (идея габитуса и *культурного капитала* Бурдье). При этом историки редко пыта-

---

<sup>1</sup> Фуко М. Воля к истине. М., 1996. С. 350.

лись изучить минусы востребованных ими теорий, истинную меру продуктивности их применения в исторических исследованиях.

Можно употреблять два термина: “*философия истории*” как наиболее широкая категория, метаисторический дискурс, *часть социальной философии*, и “*историология*” — теория истории, имеющая непосредственное отношение к практической работе историка, — *область социальной эпистемологии*.

Сам термин “эпистемология”, где акцент сделан на первой части — “эпистеме”, означает учение о твердом знании, в отличие от гносеологии, где акцентируется “логос” — слово, учение. Оба термина имеют древнегреческое происхождение, но первый приобрел широкое распространение в англоязычном научном дискурсе<sup>1</sup>. Долгое время было принято трактовать гносеологию как общую теорию познания, а эпистемологию — как теорию научного познания. В отечественной философии последних лет принято понимать под эпистемологией “область традиционно философских исследований, в которой предметом анализа выступают проблемы природы, предпосылок и эволюции познания (в том числе научного), вопросы об отношении знания к действительности и условиях его истинности. Таким образом, эпистемология — это практически то же самое, что и теория познания, то есть философская концепция, философское учение о познании”<sup>2</sup>.

В самом общем виде в зависимости от задач исследования эпистемологию подразделяют на *нормативную (традиционную)* — выявление стандартов и норм познавательного процесса, нацеленных на его совершенствование, и *дескриптивную* — описание и исследование реального познавательного процесса<sup>3</sup>. В первой половине XX в. нормативная эпистемология реализовывала различные программы эмпиризма и рационализма, а дескриптивная апеллировала к психологизму, натурализму, эволюционизму. В резуль-

---

<sup>1</sup> Об эпистемологии см.: Микешина Л. А. Философия познания. М., 2002.

<sup>2</sup> Меркулов И. П. Эпистемология (когнитивно-эволюционный подход). Т. I. СПб., 2006. С. 7.

<sup>3</sup> См. об этом: Кезин А. В. Натуралистический поворот в современной эпистемологии // Философия в XX веке. Сборник обзоров и рефератов. Ч. 1. М., 2001. С. 43.

тате развернувшихся дискуссий постепенно сформировался ряд относительно самостоятельных направлений эпистемологии XX в.:

- *эволюционная*, цель которой — исследование биологических предпосылок познания в филогенезе и объяснение познавательного процесса на основе теории эволюции, развиваемой в биологии (имеет два значения: 1) исследование эволюции органов познания и познавательных способностей (К. Лоренц, Г. Фоллмер, Р. Ридль и др.); 2) модель роста знания и развития научного знания (К. Поппер, С. Тулмин, Т. Кун и др.)<sup>1</sup>;

- *генетическая*, анализирующая специфику когнитивных структур человеческого интеллекта в его индивидуальном развитии (Ж. Пиаже, Р. Гарсиа и др.);

- *натуралистическая*, исследующая и объясняющая человеческое познание в онтогенезе, исходя из методологических идей психологии, естествознания и онтологии (У. В. О. Куайн и др.);

- *аналитическая*, основанная на англосаксонской аналитической философии, отличающейся: 1) усиленным акцентом на логическом исследовании языка (Б. Рассел, Л. Витгенштейн, М. Шлик, Венский кружок и др.), философии обыденного языка (поздний Л. Витгенштейн, Дж. Остин, П. Стросон и др.), философии науки (Д. Дэвидсон, Б. Страуд, и др.). Здесь знание исследовалось таким, каким оно зафиксировано в языке; 2) анализом биологических и психологических механизмов формирования, обработки и получения знания; анализом пропозиционального и процедурного знания и пр. (Г. Фейгл, Х. Патнэм, Дж. Серль и др.)<sup>2</sup>;

- *компьютерная*, основанная на исследовании и адаптации к решению проблем познания различных моделей обработки информации (П. Таггард и др.);

- *социальная*, исследующая знание с точки зрения ценностей, традиций, форм коммуникации и пр. (Д. Блур, С. Фуллер, Э. Голдман).

При этом необходимо подчеркнуть, что в современной философии нет единства мнений по поводу выявления основных направлений эпистемологии. Герман Филиппс, например, взяв за основа-

---

<sup>1</sup> См.: Меркулов И. П. Указ. соч.

<sup>2</sup> К аналитической эпистемологии можно отнести и идеи натуралистической эпистемологии Куайна, если принять во внимание его принадлежность к аналитической философии.

ние деления отношение эпистемологии к метафизике, выделил в эпистемологии четыре основные области значений:

1) *эпистемология первого принципа*, рассматривающая как общие, так и частные принципы научного познания, то есть современная метафизика. Она является продолжением традиции аристотелевской концепции науки и основана на постулатах современной философии науки. По мнению Филиппса, критический анализ метафизических проблем, предпринятый в свое время Джемсом, Пирсом, Селларсом, Поппером и другими, а также развитие эмпирической науки показали неразрешимость проблем, рассматриваемых этим типом эпистемологии, на основании чего он должен быть дезавуирован;

2) *эпистемология внешнего мира*, основанная на идеях Brentano, Рассела, Рейхенбаха, Фейерабенда и других о том, что поскольку мы не можем доказать независимо-объективное существование материального мира, вызывающего наши ощущения, то нам стоит сформулировать его реальность как проблематическую. Филипс считает, что этот тип эпистемологии следует рассматривать как автономную часть эпистемологии первого выделенного им типа;

3) *нормативная эпистемология* как экспликация аристотелевской логики (силлогистики);

4) *натуралистическая эпистемология*, соединяющая эпистемологию внешнего мира и эпистемологию философии науки и занимающуюся проблемами возможности и эффективности экстраполяции принципов и результатов естественно-научного знания на область гуманитарных исследований.

Такой разброс мнений свидетельствует не только о трудностях примирения конфликтующих точек зрения, но и о сложности и многоплановости современной эпистемологии.

Указанная сложность свойственна и исторической эпистемологии. В отечественной науке ее рассматривают в трех разных контекстах.

*Во-первых*, как область философии и методологии науки, где историческая сторона знания исследуется в границах “использования принципа историзма в анализе проблем науки”<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Соколова Л. Ю. Историческая эпистемология во Франции. СПб., 1995. С. 134.

*Во-вторых*, историческая эпистемология мыслится *разделом социальной эпистемологии* как пронизанности знания формами деятельности и общения<sup>1</sup>. В этом контексте И. Т. Касавин, например, понимает историческую эпистемологию как “*составную часть неклассической теории познания*” (курсив мой. — М. К.) являющуюся “*историческим исследованием познания и одновременно-теоретико-познавательным анализом истории*”<sup>2</sup>. Здесь предметом исторической эпистемологии становятся и история познания и “*историческое априори*”, в котором кроме когнитивного момента “схвачен” и экзистенциально-эмоциональный элемент исторических феноменов (исторические представления о Мире, Труде и Справедливости и феноменологические описания Веры, Надежды, Любви, к примеру, как направлений духовного постижения мира), что дает возможность рассмотреть и коллективное (деятельность) и индивидуальное (мотивацию поведения) одновременно<sup>3</sup>.

Кроме этого, понимание исторической эпистемологии как раздела социальной эпистемологии связано с исследованием гносеологических проблем познания настоящего, прошлого и будущего. В таком случае центральные вопросы исторической эпистемологии можно сформулировать так: что значит “мыслить исторически?”; что значит “исторический метод мышления?”; “как осуществляется реальный процесс исторического познания”, а ее предметом становится познание законов и тенденций прошлого, настоящего и будущего истории, выявление и формулирование всех возможных эвристических принципов и методов исторического исследования<sup>4</sup>. Невозможно определить отправные точки исторического анализа иначе, как через отношение их к основоначалам знания

---

<sup>1</sup> См.: Касавин И. Т. Социальная эпистемология: понятие и проблемы // Эпистемология и философия науки. 2006. Т. VII. № 1. С. 5–16.

<sup>2</sup> Касавин И. Т. Традиции и интерпретации. Фрагменты исторической эпистемологии. СПб., 2000. С. 17, 20.

<sup>3</sup> Там же. С. 14–17; Он же. Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории познания. СПб., 1999. С. 9–21.

<sup>4</sup> См.: Теория познания. Т. 4: Познание социальной реальности. М., 1995 (разделы 3, 4); Копосов Н. Е. Как думают историки. М., 2001; Он же. Хватит убивать кошек! М., 2005.



вообще. Любой теоретик и методолог истории должен исходить из уяснения того факта, что на рубеже XX–XXI вв. в такой древней дисциплине, как история, ключевыми становятся “проблемы в первую очередь методологические”<sup>1</sup>. Такое толкование исторической эпистемологии можно назвать *историологией*.

*В-третьих*, историческая эпистемология входит в область *философии истории* как своей большей категории — *раздела социальной философии*. Специфика философия истории заключается в том, что она вообще может заниматься тем, чем считает нужным: от проблем науки и критериев научности и рациональности в историческом знании до внерационального, мифопоэтического, эзотерического постижения истории. Форма бытия знания философии истории — философские абстракции, которые бывают разных уровней обобщения. Чем выше уровень, на который выходит философ, тем более отвлеченной становится историческая реальность.

Абстракции философии истории имеют самые разные формы выражения, нередко с точки зрения исторической науки совершенно неадекватные сущности исторического процесса и методологии его познания. В данном случае философско-историческое знание характеризуется слабой проверяемостью, философия истории смотрит на историю с точки зрения вынесенной за пределы истории, оправдывает философию в философии истории и отрицает пределы философской интерпретации истории. Однако философско-историческое исследование не может состоять из одних абстракций. Логическая схема истории должна наполняться историческим материалом, а философ истории должен иметь некое *историческое чувство* для того, чтобы его понимание природы анализируемого было отрефлексируемым, а не внешним описанием некоторых событий. Здесь эмпирическая сторона философии истории понимается как критическое исследование исторических источников и фактов; философия истории смотрит на историю с точки зрения самой истории, оправдывает историю в философии истории, постулирует закономерные ограничения налич-

---

<sup>1</sup> Гайдено П. П. Категория времени в буржуазной европейской философии истории XX века // Философские проблемы исторической науки. М., 1969. С. 226.

ных объяснительных и интерпретационных схем. Таким образом, философия истории амбивалентна, она — продуктивный синтез вненаучного знания и рационализма. С одной стороны — это умо-зрительное построение истории, так как чтобы подняться над доступным эмпирическим материалом, необходимо найти точку баланса, дабы не нарушать перспективу. С другой стороны, теоретические предпосылки философии истории опираются на обобщение эмпирических данных других наук.

В дихотомии вопросов об истории и собственно исторических вопросов первое (более широкое) — это сфера деятельности философов, второе — компетенция историков. Философия истории дает возможность системно понять, объяснить и изложить историю с точки зрения, вынесенной за пределы истории. Историология дает возможность системно понять, объяснить и изложить историю с точки зрения самой истории. Наложение этих перспектив друг на друга, рассмотрение теоретико-исторических и философско-исторических проблем в их взаимной связи и пересечении объемов позволяет получить научные результаты, способные привести к интересным научным открытиям.

Философия истории XXI в. охватывает такие проблемы, как:

- политическое присвоение прошлого и политологические паттерны исторического дискурса;
- презентация прошлого: музеи, памятники, коммеморация;
- массмедиа и репрезентация ближайшего прошлого;
- глобализированная история: новые национальные субъекты и идентичности;
- коллективная память и ретроспективная интерпретация социального прошлого;
- память как “открытая рана”: апелляция к прошлому и способы ее выражения в искусстве и литературе;
- границы философской интерпретации исторического процесса;
- новые тенденции в современной историографии и пр.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> См. материалы II Международного конгресса по философии истории: II International Congress for Philosophy of History. Rewriting Social Memory. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Catedra de Filosofía de la Historia, Buenos Aires, 11–12 October. 2006.

В силу специфики самого философского знания философия истории может рассматриваться как онтология и как эпистемология истории. Онтологическая философия истории<sup>1</sup> является дисциплиной, предмет которой — создание общей теории всемирно-исторического процесса, включая проблемы исследования памяти, коммеморации, идентичности и др. Такая философия истории существует относительно самостоятельно от исторической науки. Если же мы говорим об эпистемологии философии истории, то предметом анализа здесь могут быть и онтологическая философия истории, и историческая наука. Развитие философии истории мы предлагаем представить цепочкой “классическая — неоклассическая — постнеоклассическая” философия истории, описанной в предыдущем разделе.

Историология есть особое феноменологическое пространство мысли, вмещающее в себя все имеющиеся на данный момент рабочие версии концептуализации истории. Целью образования такого пространства является не широта охвата проблемы, а поиск “жизненной полноты” — системы центральных вопросов рефлексии истории, образующих нерв того движения мысли, которое можно назвать теоретической историей.

Невозможно определить основначала истории иначе, как через отношение их к основначалам знания вообще. Любой теоретик истории неизбежно должен выяснить, в чем заключается специфичность исторического бытия и существует ли эта специфичность, каковы основные категории исторического познания, основные исторические понятия, те же ли они, что и в области познания природы, или другие и т. д.

По аналогии с выделенными парадигмами философии истории, основные парадигмы историологии мы предлагаем представить четырьмя ключевыми ориентациями: *аналитической, герменевтической, идеалистской и нарративно-лингвистической*. Первые три в основном относятся к дискуссиям конца XIX — начала XX в. о статусе гуманитарного знания, последняя возникла только в 1970 г.

В отличие от философии истории, берущей начало в Античности, историология началась с борьбы против позитивистского

---

<sup>1</sup> В западной философской традиции — субстантивная или спекулятивная философия истории.

понимания единства науки, в ходе которой ключевую роль сыграли идеи Виндельбанда о дистинкции номотетическое / идиографическое, Дильтея о дистинкции Erlaren (объяснение) / Versehen (понимание), Вебера о сочетании объяснительного и интерпретативного аспектов в исторической работе. Кроме того, в XIX в. дискуссии в области историологии протекали в основном в контексте:

- риторического подхода к историописанию, берущего начало от Цицерона;
- гегелевского требования рассматривать историю как развития мирового духа;
- резкой критики историологии Ницше<sup>1</sup>, позиционирующего себя как антифилософа истории;
- критических работ Э. Бернхейма, Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобоса.

Риторика была озабочена стилем исторического повествования; критические историки — методом исторического исследования. И те и другие артикулировали сознание историка: риторика полагала историка прежде всего литератором, критика — методологом. Философы же истории ко всем этим проблемам выражали небольшой интерес, они (например, Ф. Брэдли), “жили” в области более общих вопросов эпистемологии<sup>2</sup>.

Первое более или менее систематическое изложение историологии дал в своем “Очерке историки” Г. Дройзен, предположив, что история принадлежит не к идеальному или материальному миру, а к миру этическому<sup>3</sup>. И только во второй половине XX в. сформировалась в целом достаточно эклектичная группа философов, социологов, историков и литературных критиков, объединившихся на основе интереса к теоретическим вопросам исторического исследования — историологии. Основанный в 1960-х гг. журнал *History and Theory* стал местом проведения самых разнообразных дискуссий. Все они оказывали и оказывают серьез-

---

<sup>1</sup> Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1990.

<sup>2</sup> Bradley F. H. The Presuppositions of the Critical History // Collected Essays by F. H. Bradley. Vol. 1. Oxford University press, 1935.

<sup>3</sup> Дройзен И. Г. Очерк историки // Историка: лекции об энциклопедии и методологии истории. СПб., 2004.

нейшее воздействие и на философию истории, и на практическую работу историков.

*Аналитическая историология* произошла из позитивистской ориентации в исторических исследованиях. Ключевой здесь является работа Гемпеля “Функция общих законов в истории”. Он предложил универсальную модель объяснения истории, продемонстрировав ее на примере автомобильного радиатора: детерминирующие условия (низкое падение ночной температуры) и общие физические законы (замерзание воды)<sup>1</sup>. История, по Гемпелю, есть не наука, а только *применение* к ней науки. Истинный интерес Гемпеля лежал в области философии науки и философии объяснения, а не в истории. Тем не менее идеи Гемпеля положили начало дискуссии, длившейся вплоть до начала 1960-х гг. Она развернулась на страницах *History and Theory*, а также резюмировалась в трех антологиях: “Теории истории” Патрика Гардинера, “Философия и история: симпозиум” Сидни Хука и “Философский анализ и история” У. Дрея<sup>2</sup>. Ключевую роль здесь сыграли идеи и работы Мортона Уайта, А. Данто, У. Гэлли, и У. Дрея<sup>3</sup>.

В наши дни проблема применения логики к историческим исследованиям всестороннее обсуждена в монографиях К. Бехана Маккуллаха “Логика истории: помещая постмодернизм в перспективу” и А. Такера “Наше познание прошлого: философия историографии”<sup>4</sup>, причем последняя вызвала оживленный интерес читателей, историков и философов. Цель книги Такера — поддержка “научной историографии” против “терапевтической ненаучной историографии”; “только... знание прошлого, основанное на научной историографии и ее философском понимании, может

---

<sup>1</sup> *Hempel Carl G.* The Function of General Laws in History // *Journal of Philosophy* 39 (1942): 35–48. Reprinted in *Theories of History*, edited by P. Gardiner, 344–55. New York: Free Press, 1959; *Гемпель К. Г.* Функция общих законов в истории // *Логика объяснения*. М., 1998. С. 17–18.

<sup>2</sup> *Gardiner P.* *Theories of History* (1959); *Hook S.* *Philosophy and History: A Symposium* (1963); *Dray W. H.* *Philosophical Analysis and History* (1966).

<sup>3</sup> См.: *Рикёр П.* *Время и рассказ*. СПб., 1999. Т. 1. С. 131–203.

<sup>4</sup> *Behan McCullagh C.* *The Logic of History: Putting Postmodernism in Perspective*. L., Routledge, 2004; *Tucker Avieser.* *Our Knowledge of the Past: A Philosophy of Historiography*. N.Y., Cambridge University Press, 2004.

освободить нас” от тирании “до-современности” (*premodernity*)<sup>1</sup>. В целом в его книге можно выделить две основные идеи: исследование концепции “общей причины” в историографии и анализ возможности применения к истории средств математической формализации.

Идеи Такера можно проиллюстрировать на примере известной дискуссии о предполагаемых интимных отношениях третьего президента США Т. Джефферсона со своей рабыней Салли Хэмингс<sup>2</sup>. Все исследования историками аргументов “за” и “против” не дали определенного решения, так как в дело вмешивались воля, желания и предпочтения людей; только тестирование ДНК одного из потомков Джефферсона и потомков Хэмингс неоспоримо доказало, что отцом одного из детей Хэмингс был именно Джефферсон. Чисто физическая природа свидетельства стала основой бесспорного вывода. Но Такер не учел и другого очевидного факта: историческая эпистемология имеет свои границы: она заканчивается там, где начинается иной вид научного знания — естествознание. Поэтому словосочетание “научная историография” по крайней мере неудачно.

*Герменевтическая* историология возникла, напротив, из антипозитивистской ориентации. В отличие от аналитической философии объяснения герменевтическая историология не была враждебно настроена к историописанию в его наличных формах. Здесь вновь вмешательство философской рефлексии в решение исторических проблем особенно очевидно. Примерами могут служить идеи Дильтея, который был и интеллектуальным историком, и философом, раннего Хайдеггера, Гадамера с понятием *Wirkungsgeschichte*, тенденцией предпочитать субъект объекту и его историческому контексту.

Принято различать немецкую герменевтику и аналитическую герменевтику. По мнению аналитиков, *немецкая герменевтика* в основном интерпретирует тексты (прошлое) и рассматривает их как нечто данное, застывшее, что понуждает исследова-

---

<sup>1</sup> *Tucker Avieser*. Our Knowledge of the Past: A Philosophy of Historiography. P. 262.

<sup>2</sup> *Gordon-Reed* A. Thomas Jefferson and Sally Hemings: An American Controversy. Charlottesville. Univ. of Virginia Press, 1998.

теля сделать шаг назад, чтобы открыть важность текста. Немецкая герменевтика выбирает преимущественную точку зрения вне текста прошлого, она синтетична и в целом безразлична к так называемому *mens auctoris*. *Англосаксонская аналитическая герменевтика*, напротив, истолковывает не текст, а интенциональное действие человека и движется не прочь от прошлого, а внутрь этого прошлого, настаивает на открытии в нем все новых и новых исторических фактов. Эти факты аналитическая герменевтика ищет в интенциях, опережающих и формирующих действие, и в самом действии. Данный тип герменевтики не безразличен к *mens auctoris*, а реконструирует его и в своей сущности не синтетичен, а аналитичен.

Отличие от немецкоязычной аналитической герменевтики ориентирована не только на понимание другого “Я”, но и на понимание общественного поведения. Отсюда и интерес аналитической герменевтики к теории действия, что составляет одну из ее главных особенностей. По мнению англосаксонских авторов 1960–70-х гг., в ряде гуманитарных дисциплин (истории, экономике и др.) центральным объектом исследования являются действие и его детерминанты. Допускается, что существует внутренняя связь между описанными как пропозиции ментальными состояниями, якобы детерминирующими действие, и объектами, отождествляемыми с результатами интенционального действия. Сама эта идея основана на методе *понимания* или *интерпретирующего объяснения*, заимствованного из неокантианства, идей Дильтея, Вебера, Дюркгейма, Парсонса и др.

В становлении и развитии герменевтической исторической эпистемологии большую роль сыграла французская философско-историческая школа: Раймон Арон, Поль Вейн<sup>1</sup>, А.-И. Мару. По мнению Мару, прошлое есть не более “чем мыслительная конструкция, которая легитимна... но абстрактна и... не является самой реальностью”, а является реальностью “человеческое существо, индивидуальность которого единственно настоящий организм”<sup>2</sup>. Своего рода введение в герменевтическую историче-

---

<sup>1</sup> Арон Р. Введение в философию истории. М., 2000. С. 215–499; Вейн Поль. Как пишут истории. Опыт эпистемологии. М., 2003.

<sup>2</sup> *Marrou H.-Ir.* De la connaissance historique. Paris: Seuil, 1954. P. 177.

скую эпистемологию написал П. Рикёр<sup>1</sup>. Полагаю, что к герменевтической разновидности исторической эпистемологии можно отнести и методологические идеи М. де Серто, о котором немало говорит в своей работе А. Мегилл.

Серто обозначил свое понимание круга эпистемологических вопросов историописания в статье “История и структура”<sup>2</sup>. В ней он поставил проблему *невозможности воскрешения прошлого*. В ходе своих исследований историк замечает постоянно возрастающую отдаленность объекта своего изучения, его “отсутствие”: “Оно ускользает. Или, скорее, я начинаю замечать, что оно ускользает от меня. Именно в этот момент ухода прошлого и рождается историк. Именно это отсутствие прошлого и конституирует исторический дискурс”<sup>3</sup>.

Серто вводит в историографическую практику понятие “другое” или “иное”, в котором обнаруживает дистанцию между собой как историком и объектом своего исследования. Именно эта временная дистанция, по мнению Серто, как раз и позволяет не воспроизводить прошлое в том виде, в каком оно существовало, это просто невозможно, а в диалоге с прошлым реконструировать его в форме, максимально приемлемой для настоящего. “Старый мир прошлого не двигается сам. Прошлое не стоит на месте. Это мы сдвигаем его с места”<sup>4</sup>. Дистанция с прошлым не мешает реконструкции этого прошлого. “История предоставляет настоящему свое собственное пространство путем “маркировки” прошлого — выделения места тому, что уже мертво. Успешная роль истории состоит в том, что она позволяет практике определять себя по отношению к другому, к прошлому”<sup>5</sup>.

Серто предложил концепцию историографической операции как сочетание трех взаимосвязанных паттернов:

1) историографическая операция является *социальным продуктом*. “Любая доктрина, отбрасывающая свое отношение к об-

---

<sup>1</sup> См.: Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1–2. СПб., 1999; *Он же*. История и истина. СПб., 2002; *Он же*. Память, история, забвение. М., 2004.

<sup>2</sup> De Certeau M. Histoire et structure // Recherches et débats. Paris, 1970.

<sup>3</sup> Ibid. P. 168.

<sup>4</sup> Ibid. P. 173.

<sup>5</sup> *Idem*. Entretien avec J. Revel // Politique-aujourd’hui. Paris, 1975. P. 66.



ществу, абстрактна... Научный дискурс, не говорящий об отношении к обществу... перестает быть научным. Отношение к социальному статусу — центральный вопрос для историка”<sup>1</sup>;

2) *история как практика*. История всегда опосредована историографической техникой, соотношением между документом и его реконструкцией, между предполагаемой реальностью и способом ее интерпретации;

3) *письмо истории или “история как письмо”*.

Серто располагает эпистемологическое пространство, определяемое историческим письмом, между наукой и вымыслом. Он отрицает альтернативу, согласно которой история либо отказывается от повествования и сохраняет статус научности, либо, отказываясь от научности, сохраняет статус повествования как вымысла. Он видит историю как *сплав науки и мифа*. По его мнению, задача историка заключается в том, чтобы свести к минимуму ошибки текста, выявить ложное, разрушить фальсификацию, но отдавать себе отчет в том, что не существует окончательной и бесповоротной истины в воспроизведении прошлого.

Центральное внимание в своих исследованиях по методологии исторического познания Серто уделяет вопросу прочтения текстов прошлого. Сам он выявляет три взаимосвязанных страта изучения источников: изучение источников, учитывая существующую непреодолимую дистанцию между ними и исследователем (*путь очищения*); выявление логической структуры источников (*путь озарения*); герменевтическое толкование *другого* как объекта исследования (*опыт соединения*).

*Идеалистская историология*, так же, как и герменевтическая, возникла как реакция на позитивизм. Наиболее важный вклад в дело ее создания внесли Б. Кроче, М. Оукшот и Р. Дж. Коллингвуд<sup>2</sup>. Поздним образцом идеалистской историологии стала книга Леона Голдстейна “Историческое познание”<sup>3</sup>. Идеалистская историология пересекается частью объемов с герменевтической. Обе

---

<sup>1</sup> De Certeau M. L'écriture de l'Histoire. Gallimard. 1975. P. 70.

<sup>2</sup> Оукшот М. Деятельность историка // Рационализм в познании. М., 2002. С. 128–153; Кроче Б. Теория и история историографии. М., 1998; Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980.

<sup>3</sup> Goldstein L. J. Historical Knowing. Austin, 1976.

они настаивают на неадекватности методов естественных наук для понимания мира человека; фокусируют внимание на интенциональном характере мышления и действия, оставляют без внимания те аспекты исторической действительности, которые детерминированы бессознательными психическими или социальными структурами.

Если аналитическая историология исследовала дескриптивные и объяснительные моменты в исторической работе, то идеалистская и герменевтическая рассматривают связь отдельных фактов между собой так, чтобы могла сложиться связная картина или концепция исторической реальности. Они рассматривают характер историописания как проект, отличный от других способов соприкосновения с миром. Но идеалистская историология отличается от герменевтической по двум важным пунктам. Во-первых, она фокусирует внимание на *действиях*, совершенных в прошлом. Мышление она исследует только в том случае, если оно тесно связано с действием. Например, Кроче рассматривал историю как “мышление и действие”, а Коллингвуд ввел понятие “передумывание” прошлого. Идеалистской историологии присуща модель политической истории. А герменевтическая историология сфокусирована на исследовании текстов прошлого, ее модель — интеллектуальная история. Во-вторых, герменевтическая историология имеет тенденцию рассматривать историческое исследование как *реконструкцию* прошлого (хотя и с определенной перспективой в настоящем). Идеалистская историология стремится рассматривать историческое исследование как *конструкцию* прошлого (без использования интеллектуальных ресурсов, доступных в настоящем). Так, например, Кроче полагал, что история, будучи конструктом настоящего, есть современная история, а коллингвудово “передумывание” есть передумывание нас в настоящем. По словам Оукшота, работа историка заключается не в открытии или интерпретации, а в созидании и конструировании. Для герменевтической историологии такой взгляд на вещи был бы слишком субъективным: для нее прежде всего необходимо найти и *описать* прошлое, вступить с ним в диалог.

*Нарративно-лингвистическая* историология была основана литературным критиком Р. Бартом, философом Луисом Минком и

историком и культурным критиком Хейденом Уайтом<sup>1</sup>. Важны работы Ф. Анкерсмита, С. Бенна, Х. Кёллнера, Л. Госсмана, Ф. Каррарда. Здесь мы вновь видим, что эти же авторы основали постнеоклассическую философию истории, что подтверждает нашу идею о том, что историология и философия истории представляют собой взаимосвязанные концепции исследования истории.

Ключевая характеристика нарративно-лингвистической историологии заключается в ее подчеркнутом стремлении рассматривать мир истории как лингвистическую конструкцию. В том смысле, что исторический мир, сконструированный из языка, надо анализировать с точки зрения критического анализа работ по литературе. Литературные источники используются в процессе конструирования прошлого. В рамках нарративно-лингвистической историологии существует множество подходов: подчеркивающий конструктивную роль аранжировки исторической работы (ее диспозицию в нарративе); роль тропов или стилистики в исторической работе; четкость формулировки авторских интенций или убедительность последних для аудитории.

Безусловно, нарративно-лингвистическая историология выросла из исследования природы нарратива аналитической историологией; холистского акцента герменевтической историологии, особенно ясно проявившегося в работах Рикёра; акцентирования идеалистской историологией истории как лингвистического конструкта. Но она имеет и другие источники: поэтику и литературную критику послевоенного периода, апеллирующие к древней риторике; прочтение текстов постструктуралистской философией и исследования в области философии науки конца XX в., а именно в разрушении фундаментального допущения предше-

---

<sup>1</sup> *Барт Р.* Введение в структурный анализ повествовательных текстов // От структурализма к постструктурализму. Французская семиотика. М., 2000; *Он же.* Дискурс истории // Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003; *Он же.* Эффект реальности // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994; *Mink L.* Historical Understanding / В. Fay, E. Golob, R. Vann ed. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1987; *White H.* Metahistory: The Historical Imagination in the Nineteenth-Century Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973; *Idem.* The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1987.

ствующей мысли о том, что между естествознанием и социально-гуманитарным знанием пролегает непреодолимая граница.

Особенный интерес в связи с этим представляет *новый историзм* в литературной критике, разрабатываемый Стивенем Гринблаттом и другими, который имел тенденцию стирать границы между литературным и историческим анализом<sup>1</sup>. Новые историки пытаются вовлечь в историю контекстуализм литературных текстов путем сопоставления (наложения) одного ряда литературных или нелитературных текстов с другим. В принципе это не противоречит работе историка. Но есть два ключевых отличия:

1) новые историки обращают больше внимания на работы, которые могут рассматриваться как часть литературного канона, и гораздо меньше внимания уделяют содержанию архивов и библиотек, чем это обычно делают историки. Охваченные аксиологической, ценностно-ориентированной перспективой, которая свойственна литературоведению, новые историки обращаются к источникам, которые представляют интерес как тексты, тогда как историкам источники интересны как вместилище информации о прошлом;

2) новые историки часто более *абдуктивны* в использовании свидетельства, чем историки. А именно: они склонны провозглашать истинным то, что для историка нуждается в гораздо большем количестве доказательств. Например, новые историки часто формулируют широкомасштабные заявления, основанные только на некоторых незначительных деталях или анекдотах. Конечно, это — вопрос степени, так как в исторической работе категории “возможно” и “вероятно” всегда имеют большое значение.

В целом нет оснований полагать, что история и литература создают некоторое метаполе исторических исследований. Даже их унификация вряд ли возможна. Но существующая проблема исторической интерпретации на самом деле объединяет историка и литератора, в сущности, здесь они делают одно и то же: соединяют утверждения о прошлом с идеями настоящего. Но глав-

---

<sup>1</sup> Краткий обзор см.: The New Historicism Reader. Ed. Н. Aram Veesser. New York, 1994; см. также: Козлов С. На Rendez-Vouz с Новым историзмом // НЛО. 2003. № 35.

ный критерий работы историков — свидетельство — остается литераторами невостребованным.

Литература предлагает истории две вещи: во-первых, она обращает внимание историков на риторику, стиль, на эстетические моменты исторического исследования, на важность тщательного и взвешенного подхода к их выбору, предлагает инструктивный репертуар различных моделей репрезентации. Эти модели не просто декоративны, они прямо связаны с историческим исследованием, особенно с проблемами исторической интерпретации. Во-вторых, литература сообщает истории знание определенных аспектов человеческого бытия, относящихся к субъективности и идентичности, которые часто упускаются из вида историками.

Проведенный нами обзор сущности и разновидностей философии истории и историологии дает основания полагать, по крайней мере, близкое подобие основных идей философско-исторических и историологических размышлений. Но при этом парадоксальным образом философия истории остается мало востребованной современными западными историками. “Я не могу описать границы современной философии истории. Множество дискуссий о ней основано на допущениях постструктурализма (хайдеггеровских по своему происхождению), что весьма далеко уводит от практической работы историка или размышлений о реальных исторических текстах.

Однако дискурс об истории меняется и флуктуирует. Историки оперируют “подразумеваемым знанием”, которое они редко делают явным для себя и подают его своим студентам в форме передаваемой по наследству проблемы. “Сегодня философия истории все больше и больше выглядит как историческая практика в контексте литературной теории. Связи с нормальной практикой историописания здесь становятся все более тонкими. Я полагаю, что философия истории не имеет своего специфического дискурса”<sup>1</sup>, — считает один из ведущих американских историков Х. Кёллнер.

Его английский коллега П. Бёрк того же мнения. Он сформулировал 10 тезисов, описывающих специфику западного истори-

---

<sup>1</sup> Domanska E. Kellner // Encounters. Philosophy of History after Postmodernism. Univ. Press of Virginia. 1998. P. 40.

ческого мышления<sup>1</sup>. В перечень его существенных детерминант вошли наука, литература, юриспруденция, западный тип капитализма и его колониальная политика.

В целом это достаточно верно воссоздает теоретическую модель понимания истории, свойственную Западу. Но она была бы более адекватной реальности, если бы в ее составляющие элементы был введен еще один — рассмотрение философских оснований западной манеры изложения истории, которая у Бёрка выпущена из искомого реестра.

А между тем философия истории в западном историческом дискурсе занимает важное и совершенно самостоятельное место, она часто инспирирует как содержательные конкретизации исторических штудий, так и постановку и обсуждение теоретических проблем истории.

## 1.4. Понимание как проблема исторической эпистемологии<sup>2</sup>

Один из важных компонентов исторической эпистемологии — понимание прошлого и способы его достижения историком. Несмотря на то, что попытки сформулировать концепцию исторического понимания предпринимались не один раз, сегодня она в исторической науке практически отсутствует, что связано со сложностью самого этого феномена, отсутствием четких характеристик того, что мы называем пониманием. Существует определенное множество моделей исторического понимания:

- теория исторического понимания как последовательной реализации в истории мирового духа (*Weltgeist*) Гегеля;

---

<sup>1</sup> *Burke P.* Western Historical Thinking in a Global Perspective — 10 Theses // *Western Historical Thinking. An Intercultural Debate.* J. Rüsen ed. Berghahn Books, N.Y. — Oxford, 2002. P. 7; см. о них: *Кукарцева М. А., Коломоец Е. Н.* Особенности исторического мышления на Западе: аналитический обзор // *Способы постижения прошлого. Методология и теория исторической науки.* М., 2011. С. 323–348.

<sup>2</sup> *Кукарцева М. А.* Понимание как проблема исторической эпистемологии // *Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы.* М., 2011.

- теория безграничного исторического понимания Ранке, в котором мыслить исторически — значит мыслить богоподобно;
- концепция *исторического сознания* Дильтея как возможность познания прошлого через процедуру “вчувствования”;
- теория понимания в “действенной” истории (*Wirkungsgeschichte*) Гадамера;
- концепция *исторически понимающего бытия* Рикёра.

Однако не только окончательного ответа, но и ясного представления о том, что же это значит — *понять* событие прошлого или какую-либо историческую эпоху, пока нет.

Думается, что проблема понимания в истории соединяет в себе два момента: сущностный (что это такое) и функциональный (как это происходит). В самом общем смысле понимание можно определить как расшифровку содержания смысла какого-либо действия, вещи, явления. Необходимо различать понимание как *состояние сознания* (некий ментальный акт) и понимание как *научный метод* (совокупность неких действий, ведущих к знанию или установка на исследование определенного аспекта объекта, дискурсивный подсчет)<sup>1</sup>. Если речь идет о понимании как о состоянии сознания, то можно говорить о понимании как о психологическом схватывании (герменевтический аспект), как об обмене информацией между индуктором и реципиентом (иллокутивный аспект), как о целесообразном оперировании знаками (операциональный аспект). Если речь идет о понимании как о научном методе, то, *во-первых*, необходимо различать понимающий, объясняющий и феноменологический подходы. В *понимающем подходе* ключевым принципом является *выявление* постоянно воспроизводимых образцов (эталонов) смысла, в объясняющем — *анализ* (структур объекта, например), в *феноменологическом подходе* главная процедура — *фиксация* черт или поведения объекта без выяснения причин и механизмов этого поведения<sup>2</sup>. *Во-вторых*, при реализации понимающего подхода необходимо очертить те методы, которые будут использованы, и, *в-третьих*, определить, каков объект понимания: в историческом понимании — исторический

---

<sup>1</sup> См.: Розов М. А. Понимающий и объясняющий подходы в гуманитарных исследованиях // Познание. Понимание. Конструирование. М., 2008.

<sup>2</sup> Конечно, эти подходы могут пересекаться.

текст (нарратив), некое историческое событие, историческая эпоха (*Zeitgeist*), действие исторического агента<sup>1</sup>.

В исторических исследованиях мы сталкиваемся с пониманием как с состоянием сознания и как научным методом. В первом случае возможность исторического понимания зависит от нескольких вещей. В самом общем смысле — от “архетипов нашего исторического понимания... не столь уж большого и достаточно устойчивого набора базисных моделей (метафор), с помощью которых люди структурируют историческое прошлое... Это своего рода метафизика исторического разума... в ней испробованы и представлены основные формы нашего исторического воображения...”<sup>2</sup>. Историческое понимание как состояние сознания (и это, возможно, самое сложное) зависит и от того, насколько историк вообще может познать, *что значит быть кем-то*, то есть приобрести опыт другого. Понятие опыта сегодня привлекает исследователей. Отдельное его исследование представлено в известной монографии Мартина Джея “Песни опыта”<sup>3</sup>.

*Опыт* есть узловая точка пересечения публичного языка и частной субъективности, расположенная между выразимыми унификациями и невыразимой индивидуальностью. В этом смысле любой индивидуальный опыт, даже самый *аутентичный* и *подлинный*, подвержен воздействию структур культуры и в этом смысле доступен. Он приобретается в процессе контакта с окружающим, поэтому не может быть просто репликацией субъективной реальности некоей личности, в нем должно что-то изменяться, что-то происходить для того, чтобы наполнять его новыми значениями, и источником этих изменений всегда является внешняя реальность. В процессе *post facto* рекон-

---

<sup>1</sup> Мы отвлекаемся сейчас от обсуждения вопросов взаимосвязи, сходств и отличий социологического, исторического, философского понимания в силу, во-первых, обширности возможной темы анализа, во-вторых, в силу цели статьи — рассмотрения феномена исторического понимания в контексте проблем исторической эпистемологии.

<sup>2</sup> *Филатов В. П.* История, историософия и методология истории // Наука глазами гуманитариев. М., 2005. С. 498.

<sup>3</sup> *Jay Martin.* Songs of Experience. Modern American and European Variation on a Universal Theme. University of California Press, 2004.



струкции, или *вторичного исследования*, говоря языком Фрейда, опыт становится значащим нарративом и предметом групповой идентичности.

Прошлое нельзя рассмотреть с точки зрения его собственных законов. Историк не знает этих законов (речь идет не столько о писанных законах, сколько об экзистенциальных, моральных). Историк не владеет “внутренним” языком ушедшей эпохи, некоторыми фактами и частностями, что в совокупности нередко приводит к непониманию. Он знает только *результат* человеческого действия. Расшифровать содержание этого результата — значить понять смысл исторического события или определенного исторического времени. А как расшифровать?

В 1979 г. американский философ Томас Нагель написал (правда, по другому поводу) небольшую работу под названием “Что значит быть летучей мышью?”<sup>1</sup>. В ней он показал, что только тот, кто обладает умением переносить в свое сознание такие вещи, *как быть этим* (человек — летучей мышью, мужчина — женщиной, историк — солдатом, к примеру, эпохи Тридцатилетней войны, женщиной эпохи 1930-х гг. и т. п.), достигает понимания того, что “значит быть этим”, то есть расшифровывает смысл, выявляя некий повторяющийся образец.

Это означает не наличие у историка неких паранормальных способностей, а обладание им чувствительным “внутренним ухом” — философским, психологическим, этическим, просто умением сопереживать, внутренней интеллигентностью, в конце концов. “Величайшей ценностью является увидеть то, на что же это было похоже — жить во времена определенных событий — что такое была Великая депрессия с точки зрения людей, которые попали в условия безработицы и не имели никакого представления о том, когда и чем это все закончится”.

Томас Нагель выразил эту концепцию сознания в лозунге, сказав, что быть сознанием — значит быть всем, чем бы это ни было (его примером была мышь). “Быть историческим сознанием — значит быть кем-то, кто живет во времена определенных

---

<sup>1</sup> *Nagel Thomas*. What is it Like to be a Bat? // *Mortal Questions*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1979. P. 165–180.

событий. В противном случае эти события имеют тенденцию становиться абстракцией”, — подчеркнул А. Данто<sup>1</sup>.

Отчасти об этом рассуждает и Ф. Анкерсмит, предлагая свою теорию исторического опыта. Рассматривая диалектику объекта и субъекта в исторических исследованиях, Анкерсмит полагает, что существует опыт, который вдруг заставляет человека осознать, что он навсегда потерял то, что никогда не замечал, пока обладал им, по принципу “что имеем, то не ценим, потерявши — плачем”. “Искомый опыт, таким образом, есть *опыт разрыва*: то, что до сегодняшнего дня было незамеченной частью нас... оторвано от нас и заняло противоположные позиции... оно стало частью объективной реальности и потенциальным объектом (например, исторического) исследования”<sup>2</sup>. Этот опыт одновременно и мы (субъект) и не мы (объект). Как “мы” он нам понятен, но не дан, как “не мы” он нам дан, но не понятен. В образовавшейся воронке субъект и объект смешиваются друг с другом и создают основу для понимания определенного исторического времени. В качестве примера такого опыта разрыва Анкерсмит указывает на Великую французскую революцию: “беспрецедентные события Французской революции и их последствия заставили людей разделить пока еще диффузное настоящее на *Старый Порядок (Ancien Régime)* и на новое настоящее нового постреволюционного мира”<sup>3</sup>.

Получается, что граждане той эпохи — и мы, и не мы одновременно: отделены от настоящего достаточно, чтобы стать Историком, но недостаточно, чтобы перестать быть Хронистом. Люди, обладающие таким опытом разрыва, живут в *kairos* — качественном ощущении времени, неопределенном промежутке, где открываются основания понимания истории в герменевтическом и иллюкативном аспектах<sup>4</sup>. О научных методах понимания здесь нужно

---

<sup>1</sup> Domańska E. A. Danto // Encounters: Philosophy of History after Postmodernism. Charlottesville: University Press of Virginia, 1998. P. 185.

<sup>2</sup> Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры. 2-изд., испр. М., 2009. С. 5.

<sup>3</sup> Там же. См. также: Анкерсмит Ф. Возвышенный исторический опыт. М., 2007.

<sup>4</sup> Й. Рюзен, например, считает, что идею конденсированного времени (*kairos*) “важно ввести в теорию истории как весьма важную и плодотворную”.

говорить весьма осторожно, во многом речь идет об уровнях профессиональной и общей образованности, о “механизмах интеллекта”, своего рода конгениальности — таланте понимать других и себя, и о способности историка выразить полученное знание. “Всякое интеллектуальное устройство, — писал Ю. Лотман, — должно иметь би- или полиполярную структуру... функции этих подструктур на разных уровнях — от отдельного текста и индивидуально-го сознания до таких образований, как национальные культуры и глобальная культура человечества, — аналогичны. Остается убеждение, что соотношение этих подструктур и их интерпретация осуществляется в форме драматического диалога, компромиссов и взаимного напряжения...”<sup>1</sup>.

Кроме того, историческое понимание (как ментальный акт) зависит и от трактовки самого исторического процесса: линейного, прогрессивного, цикличного, замкнутого, вариативного, плюралистического. Если, скажем, история в каждой эпохе содержит в снятом виде все предыдущие, то историк в своей эпохе может узнать и понять другую. Если же каждая эпоха есть нечто отдельное с уникальным набором канонических форм и идей, то ее понять нельзя, но можно апеллировать к объясняющему и феноменологическому подходам. И хотя чужую историческую эпоху всегда *трудно объяснить*, какие бы свидетельства ни были доступны историку и как бы она ни была похожа на его собственную, все-таки цель любого объяснения — достижение понимания.

---

творную категорию исторического значения, особенно в отношении темпоральной структуры реальности человеческой жизни. Категорией *kairos* можно концептуализировать важные темы в истории. Например, в истории прав человека и гражданских прав можно использовать категорию *kairos* для характеристики конца XVIII в., времени первых деклараций прав человека и гражданских прав как существенных элементов конституции. Можно также использовать понятие *kairos* в негативном смысле, для описания таких событий, как холокост. Такие категории, как “исторический момент” (или *kairos*) могут принести с собой много новых перспектив, новых инсайтов в темпоральную структуру истории”. См.: *Domańska E. J. Rüsen // Encounters: Philosophy of History after Postmodernism. Charlottesville: University Press of Virginia, 1998. P. 158.*

<sup>1</sup> Лотман Ю. М. Асимметрия и диалог // Текст и культура. Вып. 16. Тарту, 1983. С. 25.

Как научный метод историческое понимание определенного времени есть способы перевода на “свой” язык значений истории через конкретный набор последовательных операций. Собственно исторических методов познания такого рода не так уж много.

Несколько слов в связи с этим о методах исторического исследования. В исторической дисциплине метод понимают в двух смыслах: традиционном (узком) и новом (широком). В *традиционном смысле* метод связан с понятием критицизма как техники оценки исторического свидетельства — “критический метод”, “исторический”, “историко-критический”, “филолого-критический”, “научный”. В наибольшей мере он был разработан Нибуром и Ранке и требовал от историка произвести тщательное исследование источников и составить на этой основе систематический нарратив. В начале XX в. крупнейшим разработчиком этого метода был Арнальдо Момильяно. Следование этому методу, как предполагалось, производило безусловную истинность в историографии в аристотелевском смысле. Изменение фокуса исследований в середине XX в. сформировало убеждение в том, что в истории нет *одного метода*, что история есть *просто аргументация*, что она не зависит от *любой систематической методологии*, но может *подбирать и выбирать* свои методы из других дисциплин или из конвенций формальной логики. Возникло новое, широкое понимание исторического метода, гораздо более факультативное. Его суть заключалась в том, что он может реферировать не только к технике исследования источника, но *в принципе к любому аспекту деятельности историка*. Вот это последнее и стало критически важным для понимающего подхода в исторической науке. Но, к сожалению, кроме вариаций на тему методологических идей Коллингвуда в истории до сих пор было мало что предложено.

Если расположить ключевые методологические идеи<sup>1</sup> исторической науки с конца XIX по конец XX столетия в некоем порядке, то первой и самой значительной фигурой в этой области,

---

<sup>1</sup> Под методологией исторического исследования (в рамках исторической эпистемологии) будем понимать чрезвычайно обширную область: технический аппарат интерпретации свидетельств; теорию интерпретации свидетельств; базовые принципы дефиниции в истории; методы формирования концепций; абстрагирования концепций из эмпирической реальности и т. д.

конечно, является Коллингвуд. Он был уникальной комбинацией практикующего историка и археолога, специализирующегося на Римской Британии, и философа, исследующего идеи Кроче и Вико. Наиболее важными и известными положениями Коллингвуда стали: 1) тезис о том, что “вся история есть история мышления” (проблема воспроизведения опыта прошлого, где Коллингвуд предлагал не описывать историческую ситуацию, а как бы отвечать на нее с точки зрения самого исторического агента), и 2) логика вопросов и ответов в исторических исследованиях. Очень важным является раздел книги “Идея истории” под названием “Эпилогомены” (часть “Кто убил Джона Доу”), посвященный вопросу исторического свидетельства. Сегодня уподобление работы историка детективному расследованию связывается с работами Карло Гинзбурга об уликовой парадигме. Но в 1930-х гг. именно Коллингвуд, вдохновляемый романами Агаты Кристи, практически первым предложил аналогию между методами юриспруденции и методами истории. Майкл Оукшот, написавший рецензию на “Идею истории” Коллингвуда, считал, что автор этой книги достоин того, чтобы его назвали Кантом в историческом мышлении, а “последние сто страниц книги достаточны для того, чтобы поместить Коллингвуда на вершину любого списка работ по истории”<sup>1</sup>. Эту точку зрения разделяли и Исайя Берлин, который когда-то посоветовал Коллингвуду прочитать работы Б. Кроче о Вико, и Ф. Анкерсмит, и Х. Уайт, и многие другие исследователи. А вот Тойнби считал, что тенденция превращать историю в историю мышления нивелирует значение импульсов и эмоций в истории<sup>2</sup>.

Дискуссия вокруг идей Коллингвуда сформировала второй этап методологических дебатов, в центре которых оказалась философия истории, в частности, аналитическая философия истории, представленная именами У. Уолша, П. Гардинера, У. Гэлли, У. Дрея и А. Данто. Они сконцентрировали свое внимание на плюсах и минусах объясняющего подхода в исторических исследованиях, открыв метадисциплинарную дискуссию о том, что может быть известно об истории (событиях прошлого) и какого рода зна-

---

<sup>1</sup> *Oakeshott M.* Review of R. G. Collingwood's “The Idea of History”. *English Historical Review*, 62 (1947), 84-6.

<sup>2</sup> *Toynbee A.* *Study of History*. V. 9. London, 1954. P. 718-737.

ния могут быть предложены историографией и историописанием о прошлом. Методологические идеи Коллингвуда были восприняты и некоторыми историками, например, К. Ведгвудом и М. Беллоффом, но в целом историки отнеслись к ним довольно прохладно, да и сегодня они редко читают работы Коллингвуда.

Тем не менее в конце 1960-х гг. внимание историков к идеям Коллингвуда снова возросло, что было связано с падением интереса к марксизму с его стремлением рассмотреть “суперструктуры” истории. К этому времени в Англии и США окончательно утвердились такие новые формы истории, как история идей и интеллектуальная история, и Коллингвуд стал героем ее главных теоретиков, таких как Джон Покок и Квентин Скиннер. В своих исследованиях политической истории они точно следовали коллингвудовской логике вопросов и “ответов на ситуацию” и обращали внимание на выявление смысла исторических событий и действий их участников. Кроме того, ряд историков стали обращаться к идеям таких аналитических философов, как Дж. Остин, Дж. Серль, неопрагматизму Р. Рорти, и это стало третьим этапом методологических дебатов.

Четвертый был инспирирован философией науки, в частности культурным релятивизмом Томаса Куна и социологией научного знания с их подчеркиванием того, что научное знание локально, произведено в “поле” или лаборатории. В истории это спровоцировало дебаты вокруг микросоциологического или микроисторического подхода к истории *versus* традиционному макроисторическому.

Пятый виток методологических дискуссий был связан с инновациями экономической истории. Появилась эконометрика, основанная на количественных методах. Эконометристы поставили под сомнение традиционные методы исторического исследования допущением идеи “контрфактического моделирования”, а также утверждением возможности подсчета экономических последствий любого действия в истории (строительство железных дорог или их отсутствие, отмена рабства или его возвращение и пр.)<sup>1</sup>. Часть социальных историков тоже восприняла эти идеи, в

---

<sup>1</sup> См. об этом классические работы Роберта Фогеля “Железные дороги и экономический рост Америки: очерки по эконометрической истории” и “Время на кресте. Экономика американского рабовладения”.

частности, возможность подсчитать результаты разного рода социальных трансформаций. Исследования по военной и политической истории показали, что даже традиционно ориентированные историки прибегают к терминам контрфактического моделирования<sup>1</sup>. Все это вновь отодвинуло на задний план разработку понимания как научного метода исторических исследований.

Шестой этап методологических споров был связан с постмодернистским отрицанием фактов, которые многие историки на протяжении поколений считали фундаментом исторической дисциплины. Возникновение в 1970-х гг. новой исторической литературы сделало историков более чувствительными к различию между фактом и вымыслом. Лингвистический поворот ввел и обосновал идею *конструирования* фактов историком, закрепил релятивизм в историческом знании<sup>2</sup>.

Безусловно, скептицизм относительно возможности исторического познания не является чем-то новым. Движение *исторического пирронизма* было весьма мощным в XVII в., даже исторический конструктивизм имеет свою историю. На Западе этот подход практикуется антропологами и социологами, такими как Дж. Гуди, Э. Геллнер, Дж. Холл, М. Манн<sup>3</sup>. И ряд историков весьма ему симпатизируют, разрабатывая компаративную историю. В рамках таких исследований понимающий подход вновь приобретает значимость. Его методы черпались из риторики, философской антропологии, психологии, литературоведения. Но в сущности они остаются коллингвудовскими, ведущими к достижению понимания исторического прошлого через *воссоздание* его в мышлении историка. В общем, это и важно: при таком подходе к пониманию история сохраняет статус общезначимой и объективной

---

<sup>1</sup> *Ferguson N.* Virtual History. London, 1997.

<sup>2</sup> О лингвистическом повороте см.: *Clark E.* History, Theory, Text: Historians and the Linguistic Turn. Cambridge, MA and London, Harvard University Press, 2004. P. 318; *Кукарцева М. А.* Лингвистический поворот в историописании: сущность, эволюция и основные идеи // Вопросы философии. 2006. № 4.

<sup>3</sup> *Goody J.* Techniligy, Tradition and State in Africa. London, 1971; *Геллнер Э.* Нации и национализм. М., 1991; *Hall J.* Powers and Liberties: the Causes and Consequences of the Arise of the West. Oxford, 1985; *Mann M.* The Sources of Social Power. V. 1. Cambridge, 1986.

науки о реальном, а не вымышленном мире, отделяет себя от фикции через систему (неявных) принятых ограничений. Последовательно реализуя его, историк действительно может добиться понимания искомого исторического времени, что и демонстрируют сегодня, например, некоторые работы по интеллектуальной и культурной истории. Жаль только, что теоретических работ, посвященных разработке понимания как исторического метода, крайне мало, к ним можно отнести лишь некоторые исследования Р. Козеллека и Ф. Анкерсмита.

Отдельный интерес представляет проблема понимания исторического текста. Если мы берем понимание как акт сознания, то вид текста (автобиография (биография), мемуары, хроники, научная работа историка (исторический нарратив)) имеет небольшое значение. В этих текстах мы просто выявляем некие постоянно воспроизводимые образцы или эталоны, в границах которых мы этот текст понимаем, и содержание которых определяет наше понимание<sup>1</sup>. Структурными элементами текстов являются не герои и события, а некое содержание образцов употребляемых слов. Но так как их содержание зависит от контекста, который постоянно меняется, то и понимание может получиться разным. Кроме того, рассогласование образцов и реальности, представленной в текстах, приводит к непониманию.

Здесь уместно вспомнить идеи Луи Минка об историческом понимании. В своих последних работах Минк вообще писал не об историческом знании, а об *историческом понимании*. Понимание для него — ментальный акт рассмотрения “вместе” тех вещей, которые в опыте не вместе связаны: пункты в доказательстве, действия в нарративе, ноты в мелодии, слова в предложении. Понимание, согласно Минку, функционирует на всех уровнях мышления: на низшем оно схватывает вместе данные опыта, восприятия и осознания объектов; на среднем — осуществляет классификацию множеств объектов; на высшем — организует знания о мире в единичный объект понимания. Отсюда Минк выявил и сформулировал *три модели понимания: теоретическую*, где объекты рассматриваются как случаи обобщения, закона; *категориальную*, где множество объектов берется как случай некоей катего-

---

<sup>1</sup> См.: Розов М. А. Указ соч.



рии; *конфигуративную*, где множество объектов понимаются как элементы единичного комплекса конкретных отношений.

Эти модели несводимы друг к другу, что иллюстрирует эпистемологический плюрализм научного знания. Конфигуративное понимание есть понимание историческое: из последовательных событий слагается сингулярная последовательность, обладающая ее собственной идентичностью. Концепция конфигуративного понимания Минка состоит из двух ключевых идей: 1) *неразъемного (компонентного) вывода*, рассматриваемого им как альтернатива модели охватывающего закона Гемпеля, Данто и др.; 2) *синоптического суждения*. Задача историка — получить синоптическое видение истории, где хронологически отсепарированные друг от друга события соединены в целое. Понимание исторического нарратива подобно пониманию морали, вскормившей поэзию XIX в.: вне ее контекста стихи будут просто более или менее приятной формой стихосложения и не более, но и сама мораль вне стихов будет только схоластическим рассуждением о добре и зле. Задача историка, согласно Минку, в сущности есть синтез, интеграция, организация, а не селекция. Историк должен рассказывать то, что он понял, а не то, что хочет показать. Синоптический подход к историческим текстам означает попытку одним взглядом охватить всю представленную в тексте тему. “Постигать временную последовательность означает думать о ней в обоих направлениях сразу, и, таким образом, время перестает быть рекой, которая несет нас вверх по течению, но рекой, одним взглядом охваченной вверх и вниз по течению, с высоты птичьего полета”<sup>1</sup>.

Д. Ла Капра назвал это своего рода здравым смыслом в профессиональной историографии, поскольку синопсис означает осторожность в установлении различия между эмпирическими и спекулятивными утверждениями, может даже запрещать интерпретирующие методы<sup>2</sup>. Синопсис и сопутствующие ему процедуры остаются основным и важным уровнем всего исторического понимания, касающегося значения, референции и реконструкции объекта изучения,

---

<sup>1</sup> *Mink L. O. Historical Understanding / Eds. Brian Fay, Eugene O. Golob and Richard T. Vann. Ithaca, 1987. P. 56–57.*

<sup>2</sup> *La Capra D. History, Language and Reading: Waiting for Crillon // History and Theory: Contemporary Readings / Ed. B. Fay, P. Pomper, R. Vann. Oxford, 1998. P. 96.*

он позволяет получить надежную информацию, выявить значение деклараций текста или документа и доказать своего рода охватывающий тезис об искомом периоде или событии. Здесь тексты, из которых могут быть извлечены факты, рассматриваются прежде всего как признак, иллюстрация или свидетельство эпохи. А тексты таких авторов, как Д. Джойс, В. Вулф, С. Бекетт или даже Деррида, могут быть объявлены нечитабельными, непонятными, неразборчивыми или даже обскурантистскими, не-историческими текстами, а их авторы могут считаться нигилистами.

Синописис рассматривается как основной метод чтения и понимания текстов, например, в интеллектуальной и культурной истории. Его минусы заключаются в том, что он уместен только для краткого и ясного сообщения *результатов* понимания либо для подведения итогов беглого прочтения больших фрагментов текстов или документов, ведь охватить текст одним взглядом можно только не вдаваясь ни в какие его детали. Синописис уменьшает количество нюансов и концентрирует их в целях общей реконструкции объекта, часто исключая возможность диалогического, критического взаимодействия с прошлым и его артефактами.

Конфигурационное понимание Минка не раз становилось объектом исследования в философии истории и в исторической науке. Ф. Анкерсмит, например, заметил, что оно идентично историческим *идеям*, которые историк должен обнаруживать в коллекторе исторических данных, согласно мыслям Гумбольдта, изложенным им в его известном эссе о задачах историка<sup>1</sup>. И конфигурационное понимание, и историческая идея индивидуализируют точку зрения, с которой прошлое может быть рассмотрено как последовательное *единство*<sup>2</sup>.

К пониманию исторического текста можно подойти и с позиций теории текста<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Humboldt W. von. On the Historian's Task // History and Theory. Vol. 6. No. 1 (1967). Pp. 57-71 (Гумбольдт обсуждает здесь понятие *исторической идеи*).

<sup>2</sup> Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры. Гл. 7.

<sup>3</sup> Чрезвычайно интересной работой в этом отношении является малоизвестная монография И. Дмитриевской "Текст как система: понимание, сложность, информативность" (Иваново, 1985). Многие идеи, изложенные в ней, до сегодняшнего дня не потеряли своей теоретической важности и практической приложимости.

В историческом тексте, как и в любом другом, всегда содержится ключевая мысль, в которой репрезентирована какая-либо вещь с приписанными ей свойствами. Если исторический текст есть документальное **архивное свидетельство**, например, расписание движения транспорта или хроника, то понимание здесь, как правило, связано с выяснением отношений между компонентами плана содержания (смысловое содержание, сообщаемое знание) текста, которое устанавливается в направлении *от смысла к тексту*. Сообщаемое текстом новое знание и смысл текста детерминируется архивной информацией и заданными целями. Здесь текст есть просто утверждение, извлеченное из факта событий и голосов исторических агентов. Язык такого текста есть своего рода *телескоп*, сквозь который историк прямо смотрит на историю, здесь действуют особые правила работы с источником. Понимание может осуществляться как возникновение принципиально нового знания, которым до этого момента не обладала историческая наука; как переход от известного знания к новому. Методом достижения такого понимания часто выступает абдукция: из частных фактов через выявление некоторой закономерности формулируется некая гипотеза. При этом исчезает ли или только уточняется уже сложившаяся концепция, зависит от нескольких обстоятельств:

- информативности текста<sup>1</sup>;
- насколько избирательно усвоена и преобразована информация;
- от соответствующей методики объяснения.

Если исторический текст есть **литературный источник**, литературно-исторический нарратив, мемуары и т. п., то понимание связано с планом выражения (языковой формой) текста и устанавливается в направлении *от текста к смыслу*. Относительная самостоятельность плана выражения характерна только для художественных текстов. Автор сам конструирует текст; язык текста напоминает *калейдоскоп*, на который смотрит читатель. Текст разбивает историю на фрагменты, в каждый раз по-разному репрезентируя события. Разного рода аллитерации, ас-

---

<sup>1</sup> Информативность текста понимается здесь в узком смысле — как новое знание, имеющееся в тексте.

сонансы и диссонансы, имитирующие, например, звуковой ряд, призваны повысить информативность плана выражения исторического текста. А в перформативном историческом тексте смысловую нагрузку несут также паузы и повторы, формируя у читателя (слушателя) определенный эмоциональный настрой. В этом смысле лингвистический поворот в историописании показал, что существуют различные языки для рассуждения об исторической реальности. Эти языки могут выступать в качестве идеальных конструкций, но в реальной историографической практике они, как правило, дополняют друг друга<sup>1</sup>. Значение слов в этих различных языках не всегда точно соответствует друг другу, но это не является аргументом против возможности выражения истины ни на одном из этих языков. *Истинные* представления о прошлом часто имеют происхождение не в установленном эмпирическом факте, а в языке, используемом или предложенном историком. Лингвистический поворот показывает историку, что в языке (концепциях, словарях, метафорах) можно выявить различные значения, и нужно использовать эти значения для того, чтобы избежать трюизмов и приблизиться к тем истинам, которые углубляют наше понимание прошлого.

Но информативность плана выражения текста не есть независимое свойство текста: она имеет смысл только по отношению к плану содержания. Поэтому относительно третьего вида исторического текста — ***нарратива историка как научной работы*** проблема понимания выступает как проблема отношения между планом выражения и планом содержания текста. Здесь между ними существует взаимно-однозначное отношение. Текст предстает как умозрительная, аналитическая работа историка, зависящая от его способности строить нарратив из сотен уже рассказанных *historia*, выявляя основное значение, смысл эпохи в потоке и беспорядке событий. Здесь понимание берется еще и в герменевтическом аспекте, вскрывая человеческую природу в ходе нарративного изложения событий, поскольку нарратив есть ядро человеческой идентичности.

---

<sup>1</sup> Слабая попытка рассмотреть проблему понимания исторического текста в рамках лингвистического поворота предпринята в работе: *Конева О. Ю.* Понимание исторического текста. URL: <http://www.litsoch.ru/referats/read/146387/>

В достижении понимания исторического текста как текста научного имеет значение большое множество параметров: тезаурус историка (читателя) и его личностное знание, контекст (окружение текста) и его вид. Литературно-исторический нарратив всегда ориентирован на широкий исторический и социокультурный контекст, а исторический нарратив как научный текст может быть включен в открытый контекст, допускающий введение новых элементов, и в закрытый; в изолирующий контекст, где некая целостная картина берется в скобки в целях детального изучения какого-то события или исторического агента, и в интегрирующий; в релевантный и иррелевантный контекст и т. д.

Понимание исторического текста как текста научного зависит от вида решаемой научной проблемы (содержательная, каузальная, функциональная); от реализуемой модели понимания (аналитическая — новое знание как коррекция выводится из того, что уже наличествует в тезаурусе историка (читателя); синтетическая — новое знание полностью поглощает старое); от меры новизны текста; от простоты текста. Принцип простоты — чрезвычайно важное методологическое требование — служит критерием отбора научных теорий и гипотез и выступает “в качестве важнейшего показателя субъективной информативности текста”<sup>1</sup>. Сегодня в исторической науке существует тенденция писать тексты на сложном языке, например, всем известен сциентистский “жаргон” журнала *Representations* — академического издания, публикующего интересные работы, выполненные в жанре нового историзма (нового истористского литературоведения), теории литературоведения, культурных исследований и представляющего собой влиятельный и важный форум обсуждения всех проблем, имеющих отношение к указанным областям исследования. Однако если текст содержит много нового знания, но сложен для усвоения, он может оказаться бессмысленным и безыформативным.

Безусловно, проблема понимания применительно к историческому тексту как научному осложняется еще и феноменом возможного пристрастия, предубеждения историка (читателя), особенностями его личного и коллективного опытов. Об этом много

---

<sup>1</sup> *Дмитревская И. В.* Текст как система: понимание, сложность, информативность. Иваново, 1985. С. 76.

написано в исследованиях исторической дисциплины, поэтому нет смысла повторять эти соображения еще раз. Но одно необходимо подчеркнуть (то, что она касается взаимоотношения понимания и интерпретации): является ли понимание основой интерпретации, дает ли ей исходную основу и предполагает однозначную истину или, наоборот, интерпретация, детерминируемая множеством соображений субъективного и объективного характера, является основой понимания, генерируя множество различных пониманий, каждое из которых будет истинным. В последние годы в исторической науке эта дилемма превратилась в своего рода антиномию. На самом деле все зависит от того, как понимать понимание: как однозначное, основанное на рефлексивных процедурах, или как перспективистское, основанное на опыте и допускающее исправление<sup>1</sup>. Ряд современных исследователей под влиянием уже упоминавшихся идей Ф. Анкерсмита тщательно рассматривают опыт как основу понимания.

Является ли история своего рода *контрактом понимания* между историком и читателем? Как соотносятся понимание и интерпретация и есть ли пределы исторической интерпретации? Насколько читатель может быть уверен в том, что историк верно понимает то, что пишет и может объяснить написанное? И насколько в этом может быть уверен сам историк? Какова здесь роль языка историка? Эти вопросы обнаруживают огромный спектр нерешенных проблем исторического знания, где один из главных — что такое и как возможно историческое понимание. Думается, что историю как прошлое можно только понять, объяснить прошлое невозможно. Поэтому достижение исторического понимания просто необходимо. Оно прямо связано с утверждением или отрицанием истинности мыслей о прошлом, с поисками истины в истории. Однако глобальное исследование сущности и типов исторического понимания предполагает синтетическую работу по систематизации всех известных аспектов понимания вообще. Таких работ в мировой исторической и философской литературе пока нет. Тем более важно начать такие исследования и попытаться приблизиться к некоей целостной, пусть пока рабочей гипотезе одного из слож-

---

<sup>1</sup> См. об этом: *Шусерман Р.* Ниже уровня интерпретации // Вопросы философии. 2008. № 7.

нейших и одновременно чрезвычайно важных разделов исторической эпистемологии.

## 1.5. Модерн и постмодерн в философии истории<sup>1</sup>

После 1998 г. обсуждение постмодернизма в западной социально-гуманитарной литературе перестало быть горячей темой. Все, что случилось после этого, автоматически зачисляется в эпоху “после постмодернизма”. Бросим беглый взгляд на прошедшие времена. При этом мы не будем вдаваться в тонкости анализа взаимоотношений модернизма и постмодернизма, рассуждать о том, является ли постмодернизм логическим продолжением модерна или его радикальной оппозицией. Скажем только, что в отечественной литературе постмодернизм, за немногими исключениями<sup>2</sup>, в целом понимается как отрицание модерна, а в западной философской мысли этот вопрос не решается так однозначно. Достаточно вспомнить известное предисловие У. Эко к роману “Имя розы” — “Заметки на полях Имени Розы”, статью Ю. Хабермаса “Философский дискурс о модерне”, чтобы задуматься над аргументами в пользу понимания постмодернизма как новой фазы модерна, возможно, даже далеко не последней.

С нашей точки зрения, к постмодернизму разумнее было бы подходить как к реализации ряда скрытых тенденций позднего модерна. Тогда становятся понятными те вещи, о которых рассуждает на страницах этой книги, например, А. Данто, говоря, что шлейф модерна, транслируемый от предыдущих поколений, во все и не шлейф, а все та же наша с вами жизнь, только адаптированная к действительности посткапиталистического, постмодернистского общества. Примерно о том же говорит и П. Бёрк: “Как специалист в области интеллектуальной истории я интересовался концептом современности, и я знаю, что он ведет свое существование от конца классического периода и далее. Но в каждом столетии люди имели в виду под ним нечто разное. Одна из стратегий упо-

---

<sup>1</sup> Сокр. вариант: предисловие к книге: *Доманска Э. Философия истории после постмодернизма*. М., 2011.

<sup>2</sup> См., например: *Рыков А. В. Постмодернизм как радикальный консерватизм*. СПб., 2007.

требления слова *современность* заключается в утверждении, что то поколение, в котором мы живем, по-настоящему важно, и что мы осуществили большой отрыв от прошлого. Отсюда моя точка зрения как культурного историка шестнадцатого и семнадцатого веков состоит в том, что постмодернизм есть просто версия дебатов о современности, использующая подобную же стратегию, но в гиперболизированной форме. Когда сегодня люди говорят, что они постмодернисты, я гадаю, а кто же будут постпостмодернисты”<sup>1</sup>.

Модернизм следовал декартову тезису “мыслю, следовательно, существую” и оперировал объяснительной когнитивной моделью; все события мира выстраивались им в одну каузальную цепочку и каждое предыдущее объясняло следующее. Одним из первых в 1874 г. от этого принципа отказался Ф. Ницше и вместо объяснительной когнитивной модели предложил интерпретационную, где разрозненный, “прыгающий” ассортимент фактов интерпретировался так, как того хотел исследователь. Спустя 100 лет отказ Ницше стал ортодоксальным и лег в основу постмодернистской идеологии.

В 1953 г. Л. Витгенштейн в “Философских исследованиях” обосновал *концепцию лингвистической терапии* как методологию философских исследований, в 1964 г. в статье “Конец философии и задачи мышления” М. Хайдеггер провозгласил конец метафизики и программу замены традиционной философии мышлением. В 1968 г. У. Куайн предложил натурализовать эпистемологию, то есть заменить ее эмпирией и лингвистикой. В 1980 г. Р. Рорти попытался отделить эпистемологию от метафизики для того, чтобы иметь возможность отсепарировать ее от “таких форм интеллектуальной жизни, в которых словарь философских размышлений, унаследованный от XVII в., кажется в той же мере беспочвенным, каким словарь XIII в. казался Просвещению”<sup>2</sup>. Так, начиная с Ницше, *via* Витгенштейна, Хайдеггера, Фуко, Рорти, Деррида и др., социально-гуманитарный дискурс XX в. выработал новый тезис, сформулированный Ж. Делёзом как “воображаю, следовательно, существую”. Осмысление этого тезиса привело к появлению двух рабочих моделей постмодернизма — Ф. Лиотара и Ф. Анкерсмита.

---

<sup>1</sup> Цит. по: *Доманска Э.* Философия истории после постмодернизма.

<sup>2</sup> *Рорти Р.* Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997. С. 5.



Лиотар предложил идею постмодернизма как критику метанарратива. Метанарратив есть рассказ Просвещения о результатах прогресса научного знания; рассказ о том, как такой прогресс может способствовать моральному и духовному формированию нации. По мнению Лиотара, метанарративы в конце концов трансформировались в бесконечное число *petits recits*, в своего рода субнарративы как самостоятельные, локальные игры языка, которые используются в различных научных субсообществах, населяющих современный интеллектуальный мир<sup>1</sup>.

В середине XX в. метанарративы жестко критиковались К. Поппером, М. Мондельбаумом, Ф. Хайеком и др. Суть позиции этих философов заключается в том, что метанарративы истории потеряли критерии научной приемлемости. Ведь на самом деле «историки выполняют роль медиума, говорящего разными голосами с простыми людьми. И эти люди были приговорены гигантским синтезом (лиотаровским метанарративами) к забвению»<sup>2</sup>, — о чем пишет в своем «самоинтервью» Э. Доманска.

Ф. Анкерсмит предложил другую метафору постмодернизма<sup>3</sup>. Он сравнил историю с деревом: ранний модернизм (эссенциализм) делал акцент на стволе дерева, то есть на исследовании механизмом истории, холизме в ее видении. Историзм и поздний модернизм сфокусировали внимание на ветвях дерева, пытаясь предложить новые исторические концепции (например, историю идей), но продолжали питать надежду сказать что-либо новое и о стволе дерева. Постмодернизм сосредоточил внимание на листьях дерева (история ментальности, микроистории, то есть на отдельных фактах и событиях), заняв позицию антиэссенциализма в исторических исследованиях. По мнению Анкерсмита, в западной историографии в 1990-х гг. наступила осень, инспирированная самим контекстом исторической эпохи: листья исторического дерева опали и пришло время собирать и изучать их, независимо от происхождения. При этом имеет значение не то *место*, с которо-

---

<sup>1</sup> См.: Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М., 1998.

<sup>2</sup> Доманска Э. Философия истории после постмодернизма.

<sup>3</sup> См.: Анкерсмит Ф. Историография и постмодернизм // История и тропология: взлет и падение метафоры. Гл. 6.

го они собраны, а то *целое*, которое мы из них сформируем, и тот способ, которым это целое адаптируется к нашей цивилизации.

К концу XX в. постмодернизм исчерпал многие привлекательные аспекты своих ключевых тезисов. Возьмем, например, лингвистический поворот как одну из ключевых идей постмодернизма. Несомненно, фокусировка внимания на семантических, синтаксических, тропологических, полиреференциальных аспектах литературного языка в целях выявления значения подлинного, а не декларируемого намерения историка была крупным достижением постмодернизма в процессе самоанализа истории. По сути дела, акцентирование текстуальности исторического свидетельства и текстуальности самой истории с тех пор стало характерным признаком исторической дисциплины. Это во многом необратимо и все еще актуально, так как тенденция читать свидетельства в эмпирическом ключе, забывая о риторике и о том, что “тексты могут быть совсем не тем, чем они кажутся”, в наши дни все так же сильна среди историков. Тем не менее сегодня в реальной практике историка редко можно встретить отсылки или прямое обращение к таким аспектам лингвистического поворота, как семиотика, или таким его техникам, как деконструкция. Метафора мира как текста перестала быть достаточной и адекватной новым реалиям мира.

Как отмечала Н. Партнер на XIX конференции историков (Австралия, 2005 г.), семиотика сегодня продолжает сохранять значение только для исследования эпистемологических вопросов референциальных отношений язык — мир, а деконструкция, этот “неудачный ребенок сосюрговской лингвистики, тяжелая артиллерия культурных войн”, с одной стороны, отпугивает историка своей тяжеловесностью. Демонстрация семантической неустойчивости ключевых терминов и разработка значений для новых аргументационных стратегий требует от историка наличия чувствительного философского уха, развитой способности к осторожным логическим рассуждениям и высокой литературной образованности. С другой стороны, слово “деконструкция”, употребляемое к месту и не к месту в самых неожиданных ситуациях (от обсуждения продовольственной корзины до реорганизации спортивной команды), просто перестало восприниматься серьезно. “Мы думали, что деконструкция была внушающей страх

вещью, устанавливающей ловушку традиционному благочестию и наивным иллюзиям. Как мы были неправы!” По мнению Партнер, только нарратив как ядро лингвистического поворота остался в выигрыше: он не только не уступил своих позиций, но и значительно укрепил их, так что “сегодня нет ничего, что не может быть не нарративизированно”<sup>1</sup>. В постскриптуме книги Э. Доманской об этом говорит и Линн Хант, обращая внимание на то, что в ходе чтения всех интервью заметно, что “личный опыт авторов, их положение в дисциплине как будто бы охвачено нарративной паутиной. Осталось написать еще одну книгу о значении этих нарративизированных ответов, чья форма кажется почти неминуемой. Никто в этой книге не избежал ее”<sup>2</sup>. Даже сама Доманска, замечает Л. Хант, создает в композиции книги “как бы внутреннее нарративное течение”, и тем самым “петля нарратива доказывает свою неизбежность”<sup>3</sup>.

К началу XXI в. нарратив становится универсальным, самоочевидным и виртуозным инструментом утверждения и обоснования личных и общественных интересов, он глубоко вписан в человеческие лингвистические и познавательные структуры. Бесконечные, параллельные, противоречащие друг другу, самооправдательные нарративы, в изобилии предлагаемые нашему вниманию со страниц газет и журналов, экранов телевизоров, кинематографом, учебниками истории и политическими трибунами, нарративы, в любой момент открытые коррекции во всех направлениях, становятся мощной политической силой. При этом нарратив имеет и терапевтическую ценность, которая только начинает исследоваться. Нарративы накладываются и переплетаются, все более и более становясь сущностной связывающей функцией человеческой идентичности, ядром веры, мнения, суждения, принятия решения. Авторы представленных интервью показывают, что в новой исторической ситуации *post-post-то* возрастающая востребованность нарратива (в его разных формах и моделях) в исторических и философско-исторических исследованиях становится базовой, ключевой тенденцией этих дисциплин.

---

<sup>1</sup> Цит. по: Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. С. 13.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же.

Интересно, что многие историки отрешиваются от именования их “философами истории”, мотивируя это недостаточной фундированностью их философского образования. Это свидетельствует о том, что, во-первых, непонимание между историками и философами истории все еще сохраняется: историки (даже такого ранга, как Й. Рюзен, Г. Иггерс, Е. Топольски) не всегда признают правомочность вмешательства философии в дела истории; во-вторых, о неоднозначности трактовки самой области философии истории.

*Что же следует понимать под философией истории?* В целом к ней можно отнести четыре больших раздела:

- работы по философии историографии, то есть о методах и теоретических допущениях в исторических исследованиях;
- работы, исследующие саму теорию истории и ориентированные на практикующих историков;
- работы по исторической теории, которые обращены в большей степени к философам, чем к историкам (например, аналитическая философия истории);
- работы классической философии истории, в которых речь идет о самом историческом процессе, его преимущественных детерминантах, направлении, смысле и пр.<sup>1</sup>

Все эти разделы философии истории обсуждаются в интервью, вошедших в книгу, подготовленную Э. Доманской.

Собрание интервью известных историков и философов истории озаглавлено Доманской “Философия истории после постмодернизма”. Однако собеседники г-жи Доманской не дают никаких характеристик времени постпостмодерна, называемого сегодня ситуацией *post-post-mo*, истории и философии истории этого времени. Речь идет только о тенденциях, которые, по мнению авторов, наметились на излете постмодерна и будут образовывать ключевые направления развития и существования этих дисциплин. Рассуждая об указанных тенденциях, авторы интервью сосредоточили свое внимание на особенностях модернизма и постмодернизма как философских концепциях определенного исторического времени (модерна и постмодерна) и на обусловленных этими особен-

---

<sup>1</sup> См. об этих направлениях: Губин В. Д., Стрелков В. И. Власть истории: очерки по истории философии истории. М., 2007; Сунягин Г. Ф. Социальная философия как философия истории. СПб., 2008.

ностями специфических характеристиках, методах и путях развития исторической науки и философии истории. На наших глазах, насколько позволяет имеющаяся историческая дистанция, разворачивается ретроспективная акция осмысления итогов реализации принципов модернизма и постмодернизма в историческом и философско-историческом знании.

Авторы согласны с тем, что до 1970-х гг. в философии истории доминировала аналитическая традиция. С приходом постмодернизма сформировалась так называемая новая философия истории, связанная с идеей лингвистического поворота. Кёллнер писал: “...это история, которая может быть описана как глубоко риторический дискурс, репрезентирующий прошлое через создание мощных, истинностных образов, которые лучше всего могут быть поняты как сотворенные объекты, модели, метафоры или гипотезы реальности... Внимание к историческому тексту одновременно как к эстетическому объекту и убедительному социальному дискурсу расширяет и углубляет наше понимание того, как и почему мы репрезентируем прошлое”<sup>1</sup>. Общее мнение интервьюируемых в книге Доманской историков и философов о новой философии истории выразил П. Бёрк: “Лично я думаю, что этот протест зашел слишком далеко и что люди говорят: давайте скажем, что мы изобрели Шотландию или вообще что-нибудь еще, не подумав о проблеме: а могут ли люди изобретать любую нацию, любую социальную группу, которую они хотят? Нет ли здесь внешних ограничений? Я думаю, что это тот вопрос, над которым мы должны серьезно задуматься в следующие десять лет”<sup>2</sup>. Прецедент провозглашения и признание независимости Косово — хороший пример правоты такого предвидения.

В самом конце XX в., как говорит Ф. Анкерсмит, “одержимость языком и дискурсом поднадоела. Мы говорили о языке более ста лет. Пришло время изменить объект исследования. Лично мне весьма интересна категория исторического опыта”<sup>3</sup>. Доман-

---

<sup>1</sup> Kellner H. Describing Redescriptions // A New Philosophy of History. Ed. by Frank Ankersmit and Hans Kellner. Univ. of Chicago Press, 1995. P. I.

<sup>2</sup> Цит. по: Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. С. 15.

<sup>3</sup> Там же.

ска интересуется мнением своих собеседников о категории опыта. Можно предположить, что обращение к исследованию такого странного и непривычного предмета исторического анализа, как исторический опыт, становится второй важной тенденцией в исследованиях мировой философии истории XXI в.

Сегодня если не лучшим, то единственным исследованием категории опыта, претендующим на некоторую полноту, остается написанная в 2004 г. книга Мартина Джея “Песни опыта. Современные американские и европейские вариации на универсальную тему”, получившая очень лестные отклики научной общественности<sup>1</sup>. Исследование Джея — одна из первых попыток нарисовать более или менее связную картину эволюции категории опыта в истории западного мышления. Вероятно, новизной работы обусловлены и ее недостатки: не рассмотрена феноменология Гуссерля, психоанализ, аналитическая школа, а выводы работы иногда слишком поспешны. Впрочем, это совсем не лишает книгу Джея читательского интереса. Укажем кратко на ключевые выводы Джея, потому что именно на них в той или иной мере опираются сегодня практически все исследователи категории исторического опыта.

Песни опыта существуют в обширном диапазоне: от песен страсти до строгого научного анализа. Именно поэтому о них следует говорить во множественном числе, а также еще и потому, что само понятие “опыт” сейчас в кризисе. Вальтер Беньямин, например, рассуждает о “нищете человеческого опыта”, Адорно — о “пародии” на опыт, Петер Бургер — о “потере возможности подлинного опыта” и пр. Изменчивая природа культурных отношений и нестабильность самого субъекта опыта (например, дебаты вокруг “политики идентичности” 1980–1990-хх гг. в связи с геополитикой)

---

<sup>1</sup> *Jay M. Songs of Experience. Modern American and European Variation on a Universal Theme.* University of California Press, 2004. Название книги навеяно коннотациями из поэмы Вильяма Блейка “Песни невинности и опыта, показывающие два противоположных состояния души человеческой”. Отталкиваясь от метафоры “песен”, что подчеркивает экспрессивность и значимость темы, Джей попытался показать важность и значение понятия “опыт” в истории разных традиций и культур, понять, почему именно к нему апеллируют авторы самых разных философских, психологических, исторических и других школ и направлений.

литической трансформацией мира; феминизм, настаивающий на уникальности “женского опыта”; квир-движение, формирующее не менее уникальный “опыт гомосексуальности” и др.) еще более углубляют этот кризис. В указанных условиях тезис о “кончине опыта” практически стал конвенциональной установкой.

Но почему понятие опыта обладает такой мощью в разных словарях культуры и почему его кризис порождает так много проблем? Как только мы отступаем от опыта как жизненной реальности и ступаем на почву его холодного анализа, мы немедленно сталкиваемся с неким парадоксом: слово “опыт” превышает его понятие и выходит за пределы возможности языковых средств его выражения. Оно подчеркивает нечто абсолютно уникальное, что нельзя выразить в слове, — индивидуальный опыт или опыт группы. Для понимания опыта нельзя придумать конвенций, только сам субъект опыта знает, что он получил. Например, невозможно сделать сексуальный опыт одного человека хоть как-то понятным другому, так же как и мужчине-феминисту нельзя выразить опыт женщины. (Заметим в скобках, что в своем интервью об этом говорит А. Данто, обсуждая статью Т. Нагеля “Что значит быть летучей мышью?”.)

Но все-таки наиболее эффективной в научном смысле остается позиция внутри этого парадокса, где опыт есть одновременно и общий лингвистический концепт, и единичная область, туда не входящая. Опыт, таким образом, есть узловая точка пересечения публичного языка и частной субъективности, расположенная между выразимыми унификациями и невыразимой индивидуальностью. В этом смысле любой индивидуальный опыт, даже самый аутентичный и подлинный, подвержен воздействию структур культуры и в этом смысле доступен. Он приобретается в процессе контакта с окружающим, поэтому не может быть просто репликацией приватной реальности некоей личности, в нем должно что-то изменяться, что-то происходить для того, чтобы наполнять его новыми значениями. Источником этих изменений всегда является внешняя реальность. В процессе *post facto* реконструкции, или вторичного исследования, говоря языком Фрейда, опыт становится значащим нарративом и предметом групповой идентичности.

Джей рассматривает разные модальности опыта: эпистемологическую в работах Локка, Юма и Канта; моральную и религиоз-

ную в исследованиях Шлейермахера, Джемса и Бубера; художественную и эстетическую (Кант и Дьюи); политическую (Э. Бёрк, Оукшот); историческую (Дильтей, Коллингвуд, Анкерсмит). Джей подчеркивает, что многообразие модальностей категории опыта привело к опасной диверсификации его концепций. Сциентистская концепция опыта, доминирующая в XVIII в., породила транслируемую затем сквозь последующие века универсальную дихотомию субъективного и “истинного” объективного опыта, инспирирующую все дебаты вокруг этой проблемы. Сегодня необходимо найти холистскую альтернативу исследованным модальностям опыта. Объединенными усилиями ее создали американская прагматическая традиция, концепция “кризиса” опыта Бенямина и Адорно и постструктурализм Батая, Барта и Фуко.

Прагматизм интегрировал в одно целое концепции опыта, предложенные Монтенем и Бэконом. Бенямин и Адорно расценивали прагматизм как всего лишь американский вариант дискредитированного позитивизма. Они сконструировали совершенно другой мир исследования опыта. Исходя из ключевой идеи о том, что опыт потерял реальность, они акцентировали внимание на критике Канта и Гегеля, но забыли показать комплексность когнитивного значения опыта в развитии современной науки. Постструктуралисты в общем контексте лингвистического поворота в социально-гуманитарном знании обратились к внутреннему опыту как опыту трансгрессии всех границ — мучений, боли, экстаза, самоизоляции. По мнению Джей, в результате получилась новая всеохватывающая холистская концепция опыта, вне которой дальнейшие исследования этого предмета безрезультатны.

К сожалению, Джей уделил исследованию проблемы исторического опыта гораздо меньше места, чем она заслуживает. Он весьма поверхностно рассмотрел идеи Дильтея об историческом опыте, перескочил к Коллингвуду и очень схематично обрисовал позицию Анкерсмита. Тем временем именно последний доказывает, что опыт в исторических исследованиях может быть такой же теоретической категорией, как и сюжет в исторических нарративах. В своей книге об историческом опыте Анкерсмит подчеркнул, что категория опыта может помочь выйти из кризиса репрезентации, в котором оказалась историческая наука в кон-



це XX в.<sup>1</sup> В историческом опыте, считает он, человек испытывает радикальную странность (жуткость) прошлого, здесь оно не конструирует рассудка, а реальность, которая обнаруживается в опыте с той же прямоотой, как это свойственно возвышенному.

Все философы истории интересуются понятием возвышенного, так как в возвышенном мы испытываем реальность так, как это недоступно нам в языке, нарративе, категориях рассудка и пр. Историописание XXI в. тоже может дать историкам прекрасную точку отсчета для развития такой теории опыта, замещающую доминирование философии языка в теории истории XX в. Анкерсмит полагает, что если “в естественных науках опыт прочно привязан к субъекту или объекту, то в истории он может свободно путешествовать между ними и располагать субъекта и объект там, где ему нравится. В истории чрезвычайно трудно сказать, где заканчивается субъект и где начинается объект (и наоборот). Здесь между ними всегда существует определенная континуальность, так что невозможно определить, что чему конкретно принадлежит. ...можете ли вы сказать, где наше прошлое “заканчивается” и где “начинаемся” мы сами?”<sup>2</sup>.

К идеям Анкерсмита об историческом опыте участники интервью относятся по-разному. Например, Госсман и Кёллнер были против тотального проникновения категории опыта в исторические исследования, а Бёрк, Данто и Рюзен, напротив, считают ее весьма полезной. Между тем проблема исторического опыта — действительно одна из наиболее значимых в историографии рубежа XX–XXI вв. Г. И. Зверева указывает на то, что под опытом в историописании понимают или *опыт истории* как “выражение связи прошлого, настоящего и будущего, определенный результат исторического процесса”, или *опыт историка* как “важнейшую процедуру интеллектуальной работы... где устанавливается определенное отношение исследователя к своему предмету”<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Ankersmit F. *Sublime Historical Experience*, Stanford, 2005; Анкерсмит Ф. *Возвышенный исторический опыт*. М., 2007.

<sup>2</sup> Анкерсмит Ф. Предисловие ко второму русскому изданию // *История и тропология: взлет и падение метафоры*. М., 2009.

<sup>3</sup> Зверева Г. И. Понятие “исторический опыт” в новой философии истории // *Теоретические проблемы исторических исследований*. Вып. № 2. М., 1999. С. 104–105.

Феномен опыта истории достаточно исследован как на субстратном, так и на концептуальном уровне в разных философско-исторических традициях, хотя весь спектр его значений не выявлен до конца. Например, понимать ли под историческим опытом опыт, “который переживается людьми (их) собственного времени и цивилизации”?<sup>1</sup> Согласно Рикёру, применение к истории понятия “опыт”, прочитанное в духе модерна, придало истории “всевременный” характер и “новое антропологическое значение: история есть история человечества...”<sup>2</sup>. Но можно ли считать историческим опыт жертв насилия в истории, например опыт жертв холокоста? Можно ли считать, что исторический опыт обеспечивает основания для субъективной позиции историка и обеспечивает знание прошлого? Отдавая себе отчет в том, что исторический опыт находит свое выражение в разнообразных культурных (и лингвистических) формах, как надо относиться к тому, что культура XX в. сделала исторический опыт предметом потребления? Сегодня можно купить и продать исторический опыт, понимаемый, например, как опыт проживания в монастыре, в тюрьме; после просмотра некоторых кинофильмов человек как бы участвует в опыте жертв войны и терактов. Как вообще быть с тем, что с появлением виртуального мира как среды искусственных миров человек теперь может моделировать воображаемые исторические опыты, отделенные от их реальных референтов?

На наш взгляд, исторический опыт или опыт прошлого можно понимать в контексте феномена исторической памяти<sup>3</sup>. Историческая память преобразует этот опыт в нарратив. Таким образом, только те люди, кто на самом деле попали в жернова холокоста, могут сказать, что у них есть “память” о холокосте как фиксация непосредственного опыта этого события, который и является центром внимания.

А вот анализ феномена опыта историка все еще находится на уровне постановки проблемы. Под опытом историка, на наш взгляд, во многом следует понимать проблему субъекта истори-

---

<sup>1</sup> Коллингвуд Р. Идея истории. М., 1980. С. 214.

<sup>2</sup> Рикёр П. Память, история, забвение. М., 2004. С. 422.

<sup>3</sup> См. об этом: Хаттон П. История как искусство памяти. СПб., 2003; Франция — Память / П. Нора [и др.]. СПб., 1999.

ческого познания и тех процедур, которые он применяет при исследовании исторического. “Мысль историка должна порождаться органическим единством его целостного опыта и быть функцией всей его личности со всеми ее критическими и теоретическими интересами”, — справедливо писал Коллингвуд<sup>1</sup>. Если бы можно было раскрыть формулу опыта историка как субъекта исторического познания, заменить все ее неопределенные значения определенными, то перед нами раскрылась бы принципиальная возможность формировать адекватные суждения об истории *самой по себе*. Многие эпистемологические проблемы исследования прошлого нашли бы свое решение, а система знания истории приобрела бы большую точность.

Третьей важной тенденцией философии истории XXI в. можно считать проблему отношения между эстетическим, научным (сциентистским) и философским измерениями историописания. Под *эстетическим измерением* имеются в виду вопросы соотношения в исторических исследованиях красоты, истины и блага. Под *научным* — вопросы описания, объяснения и понимания историографической истины, под *философским* — вопросы смысла и значения исторического исследования, роль историков в жизни общества, последствия нравственного выбора историков для жизни и действий людей в настоящем. Одни авторы интервью склоняются к приоритету эстетической, другие — к научной концепции, но все согласны с тем, что искусство, истинность и смысл истории — ключевые моменты в осмыслении исторической дисциплины времени *post-post-mo*.

Уайт, Кёллнер, Анкерсмит, Бэнн и Данто акцентируют эстетическую сторону истории и философии истории. Продуктивно ли использовать искусство и эстетику как объяснительные, интерпретационные или репрезентационные инструменты в исторических исследованиях? Этот вопрос распадается на два аспекта: на проблему использования искусства и эстетики в историописании и на проблему рассмотрения истории как эстетического объекта. Первая проблема заключается в выяснении того, *каким образом* осуществляется экстраполяция образов, литературы и риторических приемов на исторические исследования, каковы воз-

---

<sup>1</sup> Коллингвуд Р. Идея истории. М., 1980. С. 292.

возможности и есть ли пределы такой экстраполяции. Ведь в эстетике интерпретация сведена к синхронным отношениям между зрителем и эстетическим объектом, отсюда в эстетической коммуникации время и история исчезают, что отлично от исторической науки. Вторая проблема — идентификация истории и эстетического объекта — была порождена постмодернизмом с его отрицанием классической дефиниции истины, риторикой и другими принципами, во многом трансформировавшими тот способ, которым историки видели прошлое. Все указанные авторы признают: постмодернизм доказал, что метафорический контекст и стилистическое измерение исследований в принципе неустранимы из историописания, и в этом смысле постмодернизм был, несомненно, полезен для исторической дисциплины.

Процесс эстетизации истории в XX в. как антитезу марксизму, неомарксизму и гранд-нарративу инициировал Х. Уайт. Он считал, что исторические факты не столько обнаруживаются, сколько конструируются теми вопросами, которые задает историк. Для этого историку нужно научиться экспериментировать с техникой, предлагаемой современным искусством. Уайт предложил ввести в историческое исследование методологический и стилистический космополитизм, различные эмоциональные и интеллектуальные ориентации, создав концепцию эстетического историзма. Но трудно все-таки доказать, что историк в подборе фактов обладает такой же свободой, как и художник в создании своего произведения.

Идеи Уайта, выказанные, в частности, в его “Метаистории”, столь же интересные, сколь и спорные, обсуждаются практически всеми авторами, представленными в книге Э. Доманской. Ф. Анкерсмит, например, под влиянием идей Э. Гомбриха, А. Данто, Н. Гудмена об эстетизации науки и реализме предлагает *замещающую* теорию исторической репрезентации. По его мнению, с появлением абстрактного экспрессионизма искусство стало чистой репрезентацией, замещающей реальность участием наблюдателя. В микроистории прошлое предстает в качестве такого же трюизма, как коробки Уорхола. Как исчез эстетический объект в искусстве, так из истории исчез и интенционализм. Микроистории, как и современная живопись, растворяют реальность в самой репрезентации, не скрывают реальность, а абсорбируют ее.

В целом указанные авторы разделяют ту точку зрения, что красота не всегда совпадает с истиной, а искусство может и не выражать дух времени, ведь культурные различия и культурные конфликты с необходимостью имеют место в любой исторической эпохе. Эстетизация истории инспирирует сложную проблему соотношения исторической истины и фикции. Конечно, фикция сделала историю историей о чем-то. Но истории все-таки нужна истина, и она отделяет себя от фикции через систему объявленных и принятых ограничений. Эстетизация оптимизирует историю, но и релятивизирует историографическую истину.

В связи с этим Иггерс, Топольски и Рюзен формулируют несколько более осторожную позицию по данному вопросу. Наиболее ёмко ее сформулировал Рюзен. По его мнению, историческая культура имеет по крайней мере три измерения: когнитивное, политическое и эстетическое, иллюстрирующие отношения между истинностью, значимостью и искусством в исторических утверждениях. В синтезе указанные измерения придают смысл истории, делают ее значимой. Принципы такого синтеза — открытый вопрос, будущее исторической теории. Акцентирование какого-то одного измерения за счет другого приводит к диспропорциям в историческом знании. Усиление когнитивного измерения ведет к методологическому догматизму, политического — к слепоте исторической памяти, эстетического — к деполитизации и иррационализации древней дисциплины, к антиисторическим принципам исследования исторических событий и некорректной аргументации.

Важно, что Рюзен обращает внимание на политическое измерение истории и философии истории. Политологические паттерны истории, как показал II Международный конгресс по философии истории (2006), стали сегодня ведущими моментами обсуждения исторических и философско-исторических проблем<sup>1</sup>. На этом конгрессе сам Рюзен выступил с докладом “Направленные в будущее элементы европейской исторической культуры”, в котором подчеркнул, что процесс европейской унификации сегодня переживает кризис, растет разочарование людей в политике расши-

---

<sup>1</sup> II International Congress for Philosophy of History. Rewriting Social Memory. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Catedra de Filosofía de la Historia. Buenos Aires. 2006. 11–12 October.

рения Евросоюза. В связи с этим необходимо найти убедительные основания такой унификации, которые, по мнению Рюзена, находятся в *исторической культуре* как процедурах и институтах интерпретации прошлого в целях понимания настоящего и выявления перспектив будущей жизни. Эти процедуры и институты включают в себя политику памяти в ее разных вариантах, таких как обучение истории в школах, возведение памятников и монументов, функционирование исторических музеев, публичные дебаты о прошлом, а также эстетические репрезентации прошлого и когнитивные усилия всех академических дисциплин.

В акцентировании политических и этических аспектов историописания с Рюзеном согласны Л. Госсман и П. Бёрк. Госсман фокусирует внимание на соотношении *Wissenschaft* (научная история, формулирование законов социальной жизни в духе позитивизма) и *Bildung* (акцентирование культурного развития, из которого извлекается знание, возможно, гораздо более важное, чем знание самого исторического объекта). С точки зрения Госсмана, будущее истории находится в точке разумного баланса этих двух экстремумов, в конечном итоге где-то между модернизмом и постмодернизмом. П. Бёрк в своем интервью говорит, что очарован постмодернизмом, но ощущает некоторую отчужденность от его принципов. Он объясняет это тем, что в своих исследованиях он хотел бы рассуждать не о “воображаемой свободе”, провозглашаемой постмодернистами, а о реальных “социальных принуждениях”, которые и составляют существо истории.

Все исследователи, представленные в собранных в книге интервью, изнутри знакомы с мировой историографической традицией и тем широким интеллектуальным полем, в котором эта традиция существует. Чтение этой книги дает уникальную возможность увидеть сущность проблем сегодняшней исторической дисциплины и философии истории не через сжатое перечисление итогов проведенного исследования, а благодаря путешествию за границы академической науки к ее метадисциплинарному уровню.

Поднятые в беседах проблемы и темы возникли как внутри, так и вне истории и философии истории, а намеченные тенденции развития истории и философии истории эпохи *post-post-modern* сформировали некие предварительные характеристики этих дис-

циплин в новом историческом времени. К этим характеристикам можно отнести:

- отрицание метафоры мира как текста, предложенной лингвистическим поворотом, так как она не может объяснить проблемы, волнующие мир сегодня, порожденные терроризмом, технологическим прогрессом, глобализацией и пр.;
- сдвиг фокуса анализа истории от созерцания окружающего мира и человека к исследованию причин и форм его восстания против существующей реальности;
- призыв к мульти-, транс-, и даже антимеждисциплинарности в исторических и философско-исторических исследованиях;
- обращение к постгуманистическим основаниям знания, осуществляемое в контексте поворота к “нечеловеческому” (*turn to non-human*).

Последнее означает, что в исторических исследованиях следует принимать во внимание не только деятельность самого человека, но и нечеловеческих существ, артефактов, например киборгов<sup>1</sup>. Сегодня вообще сформированы совершенно особые темы исследований в истории и философии истории — о клонах, вещах как субъектах, животных, мутантах и пр. Наиболее цитируемыми исследователями давно стали такие авторы, как Джорджио Агамбен, Бруно Латур, Поль Вирилио, Славой Жижек, Ги Дебор и др. Это свидетельствует о том, что коллингвудовский тезис о существовании “только одного исторического мира” фундаментально скорректирован, а убеждение в императивном наличии согласия историков и философов истории о том, что в мире важно, а что нет, что надо исследовать, а что можно отложить в сторону, существенно поколеблено. Тем не менее следует признать, что именно модернизм и постмодернизм подготовили ту почву, на которой проросли основные направления и тенденции истории и философии истории XXI в.

---

<sup>1</sup> См., например: Харауэй Д. Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феминизм 1980-х гг. // Гендерная теория и искусство. Антология: 1970–2000. М., 2005.

## Глава 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИЯ

---

### 2.1. Аналитическая философия истории: вчера и сегодня<sup>1</sup>

Аналитическая философия истории, или, скорее, философия историографии, представляет собой метадисциплинарную дискуссию о том, что может быть известно об истории (событиях прошлого) и какого рода знания могут быть предложены историографией и историописанием о прошлом. Она представляет собой раздел философии истории, работы которого обращены в большей степени к философам, чем к историкам.

Рассмотрение специфики дискурса истории как научной дисциплины аналитическая философия истории осуществляет:

- через концептуальный анализ истории в целях обеспечения надежных оснований исторического знания;
- анализ того, чем должна заниматься историческая теория и как она должна строиться;
- анализ методологии истории, пересекающийся с проблемными областями исторической феноменологии и герменевтики.

Главная задача аналитической философии истории — выявление различного рода сходств и различий между историографией, социально-гуманитарными науками, естествознанием и литературой; анализ содержания указанных доменов знания. В соответствии с этой задачей может быть рассмотрена эволюция аналитической философии истории.

---

<sup>1</sup> Кукарцева М. А. Аналитическая философия истории: вчера и сегодня // Полигнозис. 2009. № 3 (36). С. 62–71.



**Первый ее этап**, с 1930-х до конца 1960-х гг., ставший золотым веком аналитической философии истории, отразил особенности развития философии науки. “Из исследований науки последних 40 лет вынесено два очевидных факта: она была необычайно успешна и влияние полученных ею результатов драматически изменило характер современной жизни и в будущем обещает изменить ее еще больше”, — писал известный исследователь истории и философии науки Дж. Питт<sup>1</sup>. Аналитики полагали, что успешность науки прежде всего означает увеличение объема наших знаний об истории. Для того же, чтобы иметь возможность рассуждать об этом увеличении и о свидетельствах, его подтверждающих, необходимо провести его логический и исторический анализ. Отсюда одним из мощных стимулов развития аналитической философии историографии в этот период было исследование логико-позитивистской унифицированной модели научного знания.

Само историописание рассматривалось как оппозиция такой модели. В связи с этим аналитики, разделявшие идею о том, что историография есть и должна быть отраслью науки, стали называть себя *позитивистами*, а поддерживающие дескриптивную и нормативную автономию историографии аналитические философы относили себя к *идеалистам*, или *гуманитариям*.

Первый этап эволюции аналитической философии истории характеризовался дискуссиями об объективности, объяснении и каузальности, холизме и индивидуализме, в ходе которых позитивисты и гуманитарии обменивались аргументами *pro* и *contra* концепций объективности, объяснения и холизма в логико-позитивистской модели науки.

*Дискуссия об объективности* началась с обсуждения тезиса Ранке о том, что для историка научный стандарт объективности заключается в том, чтобы изобразить прошлое таким, каким “оно было на самом деле”. Гуманитарии старались доказать некорректность этого тезиса тем, что историки при отборе того, какие события должны быть упомянуты в историографическом исследовании, а какие нет, должны апеллировать к эстетическим и культурным ценностям. Они утверждали, что историки часто формулируют

---

<sup>1</sup> Pitt J. The Success of Science // Theories of Explanation. Oxford University Press, 1988. P. 3.

свои утверждения так, чтобы отличить *условия*, при которых события произошли, от *причины* этих событий, поэтому историографический язык в сущности есть язык ценностей. Позитивисты отвечали на это, что существует объективный критерий, отличающий благодаря концептуальному анализу терминов и сопоставлению ситуаций каузальность от условий. Ценностно-насыщенная (вариативная) историография может быть изложена на ценностно-нейтральном языке, а сами гуманитарии в целях подтверждения своих заявлений только и делают, что повторяют примеры неудачных историографических исследований, тем самым разрушая историографию. Кульминация споров достигла апогея, когда каждая сторона стала интерпретировать свидетельства и аргументы другой со своей собственной точки зрения.

В 1960-е гг. философия науки пришла к заключению, что естествознание так же далеко от “объективности”, как и социально-гуманитарное знание, поэтому гуманитарии в общем-то были правы в своей критике позитивистского идеала объективности. Позитивисты же были правы в том, что не существует четкой демаркационной линии между историографической субъективностью и научной объективностью. Старая догма эмпиризма о том, что можно отдифференцировать объективное наблюдение от субъективного оценивания канула в прошлое и со временем стала только аналитическим, но не историографическим аргументом в защиту исторической объективности.

*Дискуссия об объяснении* началась с работы Гемпеля “Функция общих законов в истории”, появившейся в 1942 г.<sup>1</sup> А. Данто полагает, что с публикации именно этой работы Гемпеля и начинается собственно история аналитической философии истории<sup>2</sup>. Гемпель предложил логическую модель охватывающего закона (МОЗ). Ее суть заключается в том, что охватывающие (универсальные) законы играют в гуманитарных науках и, в частности,

---

<sup>1</sup> *Gempel K. The Functions of General Laws in History // Journal of Philosophy. 1942. 39(2): 35–48. Гемпель К. Функция общих законов в истории // Логика объяснения. М., 1998.*

<sup>2</sup> *Danto A. The Decline and Fall of the Analytical Philosophy of History // A New Philosophy of History. Edited by Frank Ankersmit and Hans Kellner, Univ. of Chicago Press, 1995. P. 70.*

в истории такую же роль, что и в науках естественных. Все индивидуальные (частные) случаи подводятся под эти охватывающие законы так, что производится логическая дедукция особенно-го явления из общего закона. Математическая логика, так, как ее понимал Гемпель, становилась матрицей исследования истории.

Вокруг предложенной Гемпелем теории сразу же развернулась широкая дискуссия, не закончившаяся и по сей день<sup>1</sup>. Гуманитарии резко возражали против МОЗ. Они утверждали, что многие исторические события уникальны и не могут быть подведены под общие законы. Дедуктивно-номологический способ объяснения не может исключать других способов получения и упорядочивания знания, в том числе и реализуемых в ином идеале когнитивной деятельности. Абсолютизация номологической интерпретации означала бы принципиальную непостижимость и невозможность научного осмысления целого ряда важных срезов объективной реальности: истории, языка, психологии и т. д. Позитивисты отвечали, что в определенном смысле все события уникальны и задача науки и историков в том числе, если они считают себя представителями науки, заключается в том, чтобы изучить эти события как сложную комбинацию повторяющихся элементов, управляемую общими законами.

Как подчеркивает Данто, ключевая причина неудачи МОЗ заключалась в том, что математическая логика Гемпеля не позволяла видеть мир в изменениях. Могли меняться представления людей о мире, но не сам мир. В 1940-е гг. было важно показать взаимную связь истории и науки, что и сделал Гемпель. Позже, в 1960-х гг., историческая природа науки стала настолько само собой разумеющимся делом, что прежние вопросы, относящиеся к компетенции логики, потеряли свою актуальность, но не перестали быть истинными. “Теория Гемпеля действительно все еще поражает меня как истинная”, но она тем не менее “перестала быть релевантной, путь целой философии истории, которую она определила, оборвался”<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> См. напр.: *Hook Sidney*. Philosophy and History: A Symposium. New York: New York University Press, 1963.

<sup>2</sup> *Danto A*. The Decline and Fall of the Analytical Philosophy of History. P. 85.

Полагая, что задачей историка является не установление общих законов, а изучение индивидуальности и неповторимости каждого исторического события, аналитики обратились к теории действия. Суть новой модели аналитической философии истории заключалась в следующем: объяснить некоторое событие — значит показать, что оно было обусловлено некоей рациональной интенцией. Указанные события есть результат действия людей, потому что история есть процесс человеческих действий. Отсюда историческое объяснение есть проблема объяснения совершаемых людьми действий, а объяснить какое-либо действие — значит показать, что оно было разумным (рациональным) при описываемых обстоятельствах.

У. Дрей предложил модель объяснения, находящуюся на стыке собственно логико-позитивистской парадигмы и европейской парадигмы наук о духе (Дильтей — Хайдеггер). С исследований Дрея (а еще ранее Р. Коллингвуда) начинается свой отсчет англосаксонская аналитическая герменевтика, развитая в работах П. Уинча, фон Вригта и др. При всей привлекательности идей аналитической герменевтики конкретная их интерпретация вызывает неясности. Связь действий и намерений человека при анализе исторических событий должна как минимум быть ясной и отслеженной. Если же эту связь установить невозможно, то исследование действия превращается в фикцию, так как объяснение действия должно дать нам его понимание. Аналитическая философия истории просто жестко противопоставляет каузализм Гемпеля интенционализму Дрея. Историческое понимается как проявление человеческого духа в виде его мотивированного, интенционального действия. Описание прошлого дается в терминах мотивации действующего лица. Возникающая методологическая непоследовательность провоцирует конструирование идеальных типов исторического прошлого, не имеющих места в действительности.

Неправомерно изучать историю только через индивидуальные интенции и сознание человека, необходимо ввести методологический постулат дополненности, в соответствии с которым история может быть объясняема не только через человеческие поступки (зависимые переменные), но и через внешнюю ситуацию (независимые переменные). Речь должна идти об изучении двунаправленного процесса: внутренних механизмов человеческих дей-

ствий (установок, ценностных и мотивационных ориентаций) и динамики наличной внешней (физической, социальной, социокультурной) ситуации. Иначе возникает механистически-упрощенная модель истории.

В рассматриваемый этап эволюции аналитической философии истории имели место еще ряд небольших, но важных дискуссий, транслируемых в будущее. В частности, акцент на рациональности действия привел аналитическую философию к отдельной ветви *дебатов о статусе принципа рациональности* в гуманитарном знании вообще. Одни (Поппер, Гемпель, Нагель) считали, что допущение рациональности в гуманитарных науках, особенно в истории, играет прежде всего эпистемологическую роль, являясь своего рода заместителем еще не открытых естественнонаучных законов в гуманитарной области. Это допущение определяет общую стратегию эвристики теоретических построений в гуманитарных науках. Другие (Рорти, Селларс, Патнэм) полагали, что это допущение гарантирует возможность перехода от базиса объяснений (эксплананса — убеждений и желаний людей) к объекту объяснения (экспланандуму — действию).

Другая дискуссия связана с *проблемой соотношения методологического индивидуализма и холизма*. Должны ли единицы историографического анализа и объяснения быть индивидуальными (метафизический индивидуализм, редуцирование групп к индивидуумам) или групповыми (эпистемический холизм, исследование и анализ групп, а не индивидуумов)? Обсуждаемые в ходе указанных дискуссий проблемы так и не нашли своего решения и сегодня все еще остаются горячими темами дебатов в аналитической философии истории.

Можно утверждать, что на первом этапе эволюции аналитической философии истории доминирующим предметом обсуждения стала проблема объяснения в социальных (и прежде всего исторической) науках. Хронологически и концептуально рамки указанной дискуссии условны. Рождаясь в пределах одной теории, релевантные идеи, развиваясь и трансформируясь, обретая новые предикаты и формы существования, становились источниками новых теорий или новых прочтений старых теорий в изменившихся социальных и познавательных ситуациях.

**Второй этап эволюции аналитической философии истории** практически целиком представлен *дебатами об историческом нарративе*. Если апелляция к МОЗ и к теории действия больше не могла дать удовлетворительного ответа на вопросы исторического исследования, то надо было обратиться к иным ресурсам. Решение проблемы попытались найти в осмыслении феномена нарратива как средства написания и познания истории, а именно, в его интерпретации как своего рода интеллектуально-литературного устройства, которым историки организуют результаты своих исследований.

Нарративисты (Уильям Гэлли, Мортон Уайт, Артур Данто и Луис Минк) утверждали, что исторические исследования есть рассказы (*stories*), у которых есть начало, середина и конец. Логическое исследование структуры нарратива вообще и нарративных предложений в частности по замыслу аналитической философии истории было тождественно логическому исследованию структуры языка, используемого в исторической науке. Луис Минк, один из наиболее инновационных философов истории 1960-х — начала 1970-х гг., исследуя проблемы отношения истории к естествознанию, исторического понимания, места и роли вымысла в истории, когнитивного статуса нарратива, вместе с У. Гэлли и М. Уайтом сформулировал “ответ” гемпелевской теории охватывающего закона — теорию конфигуративного понимания, согласно которому задача историка — не объяснить события, а получить синоптическое видение истории, где хронологически отсепарированные друг от друга события соединены в одно целое<sup>1</sup>.

А. Данто в работе “Аналитическая философия истории” предложил изучить нарратив как особый класс предложений — одно из возможных описаний человеческого действия<sup>2</sup>. При этом он хотел показать эквивалентность МОЗ и нарратива в противовес тезису об их альтернативности. Данто рассмотрел такой жанр исторического повествования, как хроника, где все события собраны вместе и в их порядке ничего нельзя изменить. Он предложил ввести фигуру Идеального Хрониста, который мгновенно записывает

---

<sup>1</sup> *Mink L. O. Historical Understanding. Eds. Brian Fay, Eugene O. Golob and Richard T. Vann. Ithaca, 1987.*

<sup>2</sup> *Данто А. Аналитическая философия истории. М., 2003.*

все происходящее и кумулирует свои записи. При этом становится заметен существенный недостаток хроники: отсутствие одного из классов описаний, а именно — полной истины о событии, которая становится доступной только тогда, когда события *уже* произойдут, и эта истина не может быть известна Хронисту, она известна только человеку, живущему в настоящем и говорящему о прошлом — Историку. Таким образом, в нарративном предложении всегда присутствуют три времени: прошлое — само событие, будущее — его оценка (эти два времени составляют содержание высказывания), настоящее — позиция самого нарратора. Данто предположил, что нарратив как особая форма исторического объяснения вообще является центральной проблемой философии истории. Однако и против этой идеи было выдвинуто немало возражений, что инициировало новый всплеск дебатов.

Очевидно, что человек как существо не только мыслящее, но и эмоциональное, реконструируя историю, не может обойтись без нарратива. Но многие нарративисты видят в нем еще одну задачу — задачу тотального охвата предмета и его тотального же исчерпывающего объяснения, а это вряд ли правильно. Тезис об исключительности нарративной стратегии в философско-исторических конструкциях неизбежно ведет к нарушению объективности научного исследования, к чисто внешнему соединению имеющихся фактов и к неадекватному вводу в строящееся исследование фактов воображаемых. В результате вся объективная проблематика в сфере взаимосвязи исторических фактов и языка оказывается сложной инверсией формально-логических операций мышления.

Становится очевидным существенный методологический порок аналитической теории философско-исторического нарративизма: пропасть между действительной исторической реальностью (объективной системой) и ее логической интерпретацией. На теоретическом уровне этот порок скрыт за рядом оговорок, но заметен на эмпирическом уровне философско-исторических исследований. Витгенштейнианский постулат, санкционирующий необходимость наличия логической формы во всем, приводит аналитическую философию истории этого периода к одностороннему подходу к исследованиям.

К середине 1990-х гг. в аналитической философии истории указанные проблемы объективности, объяснения и нарратива так и не нашли однозначного решения. Авторы вновь обсуждали проблемы исторической дескрипции, обобщения и классификации, объяснения и интерпретации, обращались к вопросам значения исторического свидетельства и объяснения социальных изменений. При этом интерес к аналитической философии истории и количество исследований в ее области неуклонно снижались. Во многом это объясняется двумя причинами. Во-первых, со времен появления работы Т. Куна “Структура научных революций” не логика, а история стала матрицей рассмотрения всех наук, в том числе и истории, и в дальнейшем под влиянием идей Фуко об археологии знания эта тенденция только консолидировалась. Во-вторых, континентальная философская традиция, тесно связанная с литературоведением, герменевтикой, постструктурализмом и постмодернизмом, преобразила подходы к исследованию исторического знания (я оставляю сейчас в стороне вопрос об ее продуктивности). Поэтому **третий этап аналитической философии истории**, который условно можно назвать неклассическим, стремясь сохранить общий стандарт аналитического исследования истории, вынужден обращаться к более широкому спектру проблем и направлений исследования истории. Рассмотрим несколько наиболее иллюстративных работ этого этапа.

В трудах Б. Маккуллаха по исследованию логики исторического метода отличие между фактом и объяснением расплывается, а авторская интонация незаметно для самого автора приобретает черты герменевтического дискурса<sup>1</sup>. При этом “поскольку Маккуллах отвергает или игнорирует идеалистов, лингвистических релятивистов, феноменологов, диалектиков и герменевтиков, то он и не в состоянии оценить эти направления”<sup>2</sup>. Наиболее иллюстративно это отразилось в известной истории с рецензией Маккуллаха на монографию Ф. Анкерсмита “Нарративная

---

<sup>1</sup> *McCullagh B., Behan C. The Truth of History. London: Routledge, 1998; McCullagh B., Behan C. Justifying Historical Description. Cambridge: Cambridge University Press, 1984; McCullagh B., Behan C. The Logic of History: Putting Postmodernism in Perspective. London: Routledge, 2004.*

<sup>2</sup> *Brown R. H. Positivism, Relativism, and Narrative in the Logic of the Historical Sciences // American Historical Review 92 (1987). P. 908–920.*



логика”<sup>1</sup>. Анкерсмит пишет: “...из рецензии Маккуллаха я усвоил, что осмысленные дебаты с такими, как он, позитивистски ориентированными людьми, невозможны. И это не только вопрос отсутствия согласия. Всё, что я считал наиболее интересными и многообещающими проблемами того, как историки используют язык нарратива для исследования прошлого, были просто *не проблемами* для позитивистов типа Маккуллаха”<sup>2</sup>.

В подобном же позитивистском ключе, но следуя традиции раннего Витгенштейна, занимается проблемами исследования истории Дэвид Кокбёрн. Его работу “Другие времена: философские перспективы прошлого, настоящего и будущего”<sup>3</sup> считают весьма серьезным исследованием. С точки зрения Кокбёрна, историки не должны заниматься исследованием памяти, коммеморации и пр., так как эти исследования построены на этических, а не на эпистемологических допущениях. А вот Пол Рот работает с проблемами рациональности действия в контексте критики логического позитивизма<sup>4</sup>. Он анализирует некорректность веры в “означающий реализм”, который был сформулирован Куайном в его концепции перевода. Рот полагает: то, что агент на самом деле имеет в виду, совершая действие, зависит от интерпретативного контекста вопрошающего, так что любая на первый взгляд иррациональность агента есть просто симптом непонимания ситуации интерпретатором. Из этого и проистекает методологический плюрализм в общественных науках, полагает Рот и резко критикует смешение политики и эпистемологии в идеях Фейерабенда.

Но самым обсуждаемым и неоднозначным философом истории аналитической традиции в последние три-четыре года является Авиезер Такер. Его книга “Наше знание прошлого: филосо-

---

<sup>1</sup> *McCullagh B., Behan C. Review of Narrative Logic. A Semantic Analysis of the Historian Language, by Franklin R. Ankersmit // History and Theory 23. 1984. № 3. P. 394–403.*

<sup>2</sup> Цит. по: *Domanska E. Encounters. Philosophy of History after Postmodernism. Virginia Univ. press, 1998. P. 71.*

<sup>3</sup> *Cockburn D. Other Times: Philosophical Perspectives on Past, Present and Future. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.*

<sup>4</sup> *Roth Paul A. Meaning and Method in the Social Sciences: a Case for Methodological Pluralism. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1987.*

фия историографии”<sup>1</sup>, по мнению целого ряда ее рецензентов и читателей, стала наиболее интересным исследованием в области аналитической философии истории за последнее десятилетие. Этот интерес связан с тем обстоятельством, что Такер объявляет себя самым адекватным продолжателем всей традиции аналитической философии истории. Развивая философию объяснения применительно к историографии, Такер полагает, что *априорная аналитическая философия* (Гемпель и другие теоретики первого этапа), при всей безупречности ее методологии, сделала философию историографии иррелевантной задачам исторического исследования. Цель книги Такера — разработка “научной историографии... основанной на ее философском понимании”<sup>2</sup>. При этом Такер, что в целом несвойственно аналитической традиции, значительное внимание уделяет истории самой историографии<sup>3</sup>. В фокусе его внимания находятся две основные идеи: исследование *концепции общей причины* в историографии и анализ возможности применения к истории средств математической формализации, в частности теоремы Байеса.

Такер утверждает, что в начале XIX в. теоретический фундамент возникновения научной историографии составляли “теории и методы”, включающие в себя “вывод от свидетельства к общей причине”. Иллюстрацию такой модели исследования он находит в пяти научных дисциплинах, которые, по его мнению, или предшествовали, или были параллельны научной историографии: сравнительная лингвистика, эволюционная биология, классическая филология, исследования Библии и исследования текстов (текстология). В каждой из этих областей можно найти тип некой “общей причины”, располагающейся, соответственно, или в протоязыке, или в вымерших биологических видах и пр. Такер полагает, что “эти науки доказали, что гипотетическая общая причина есть лучшее объяснение наличия факта подобий в исторических свидетельствах”.

Указанные области знания объединяет общий методологический принцип: *генетическое* объяснение, при применении которо-

---

<sup>1</sup> *Tucker A. Our Knowledge of the Past: A Philosophy of Historiography.* Cambridge — N.Y.: Cambridge University Press, 2004.

<sup>2</sup> *Ibid.* P. 262.

<sup>3</sup> *Ibid.* P. 46–91.

го наблюдаемая картина объясняется определенным *неслучайным эволюционным процессом*. Метафорически говоря, наблюдая крону деревьев, мы можем с большой долей вероятности выявить и описать размеры его корней. Например, лингвисты выявили, что существуют сходства между греческим языком, латинским, санскритом и некоторыми другими языками, а значит, имеют общее происхождение, что позволяет дать примерные характеристики этого общего гипотетического источника. Такер предполагает, что историки заняты точно таким же типом работы: *исследовани-ем исходного свидетельства*.

В самом деле, все названные области науки связаны с объяснением существующего свидетельства: соотношение живых и мертвых языков, существующих и вымерших организмов, дошедших до нас фрагментов рукописей и наличествующих социальных структур и пр. Подобия, выявленные в этих феноменах, объясняются путем сравнения существующих феноменов с родовыми. Например, в текстологических исследованиях текстовые подобия устанавливаются через исследование сохранившихся оригинальных текстов, которые в самом начале были искажены в процессе их копирования переписчиками. Во всех случаях мы сталкиваемся с приемом своего рода “растягивания” времени. Лингвист спрашивает: как мы объясняем сеть взаимосвязанных языков, живых и мертвых; биолог — как мы объясняем взаимосвязь сегодняшней жизни на земле с вымершими организмами; текстолог — как мы объясняем связность коллекций различных рукописей, написанных в разные времена, или выявляем исторически первичный текст, определяем его достоверность; историк — как мы объясняем когерентность существующих сегодня социальных институтов и социальных порядков со свидетельствами (документами) прошлого.

Такер полагает, что лучшее объяснение сущности сегодняшней практики историков есть соотнесение ее с сохранившимися историческими свидетельствами, поэтому исторические события могут быть рассмотрены как причиненные этим свидетельством. С точки зрения Такера, описать и объяснить прошлые события на основе существующих свидетельств — значит *объяснить* свидетельства в контексте “придания им смысла”. Акцент Такера на *объяснении* свидетельства высвечивает эпистемологи-

ческий аспект работы историка, его обязанность исследовать свидетельства не в меньшей мере, чем конструировать репрезентацию прошлого, что позволяет провести черту между собственно историческим исследованием и мифотворчеством, пропагандой, коммеморацией и пр.

Историки *обязаны объяснять* свидетельство, распознавать *наиболее вероятную* причину происходящих событий среди возможных конкурирующих причин. При этом слово “вероятная” не означает вероятность в статистическом смысле, то есть вероятность того, что это событие вообще произойдет. Слова “вероятная причина” означают, что найдено наилучшее объяснение существующего свидетельства, позволяющего говорить о *наиболее вероятной* причине происходящих событий<sup>1</sup>.

Проблема *выведения наилучшего объяснения* в ходе дискуссии об объяснении широко обсуждалась в аналитической философии истории, но это словосочетание не прижилось в историческом дискурсе. В него вошли другие термины — “абдукция”, “абдуктивный вывод”. Хотя саму идею абдукции предложил Ч. Пирс, историкам абдукция стала известна благодаря методологическим трудам Карло Гинзбурга.

В отличие от естественнонаучных дисциплин, историки не могут свидетельство *создать*, они обязаны его *найти*. Как результат, “наши знания истории ограничены содержащим информацию свидетельством, которое трансформировалось в ходе преодоления лакун времени. Непрозрачность свидетельства порождает неопределенность историографической гипотезы”<sup>2</sup>. Свойство времени искажать свидетельство порождает нужду исследователей в абдуктивном выводе. В свое время только смелый абдуктивный вывод позволил Дарвину сформулировать его теорию происхождения видов. Но между теорией Дарвина и историографией огромная разница. По Дарвину, органические структуры образовались в ходе абсолютно неинтенционального, бесстрастного органического процесса. В истории же все сложнее. С одной стороны, есть мно-

---

<sup>1</sup> См. об этом: *Мегилл А.* Историческая эпистемология. М., 2007. С. 392–438; об абдукции см. также: *Josephson J., Tanner M.* Conceptual Analysis of Abduction // *Abductive Inference: Computation, Philosophy, Technology.* Cambridge, N.Y. Cambridge University Press, 1994. P. 5–29.

<sup>2</sup> *Tucker A.* Op. cit. P. 261.

жество людей, убежденных в том, что исторический порядок натур- или социально детерминирован, с другой стороны, широко распространено мнение о том, что в истории действие и страсть, свобода и детерминизм сосуществуют вместе. Историки вынуждены балансировать между этими двумя экстремумами.

Казалось бы, дисциплины, указанные Такером, избегают детерминизма биологического типа, но одновременно они акцентируют внимание на эволюционной биологии, где тоже господствуют неинтенциональные процессы: изменения в языке происходят непреднамеренно, коррекции в рукописях, как правило, происходят в результате случайных ошибок копиистов, обусловленных обстоятельствами места и времени. Такер выводит свою *концепцию общей причины* из философии биологии. Он хочет исключить интенцию и действие из исторического поля.

Основываясь на теории информации или информационного потока, рассмотренной философом Фредом Дретске<sup>1</sup>, он определяет философию историографии как дисциплину, исследующую то, “как историки сепарируют информацию от слухов и фрагментов информационных сгустков”<sup>2</sup>. В связи с этим наиболее соответствующей задачам исторического исследования Такер считает теорему (или правило) Байеса, позволяющую выносить решение о наиболее вероятной (наилучшим образом соответствующей действительности) гипотезе с помощью *критерия наибольшего правдоподобия* (правило Байеса — математическая основа указанного критерия). Суть этого критерия заключается в следующем: все наблюдаемые процессы взаимосвязаны; наблюдая результат этого процесса, мы можем восстановить некий спектр его исходных причин, которые могли в свое время инспирировать существующую в данный момент картину; находим в выявленном спектре наиболее вероятную причину, вычисляя по формуле Байеса вероятность условного события — наблюдаемой картины А при условии, что она порождена причиной В (А|В). В результате анализа исторических документов мы найдем значения безусловных вероятностей событий А и В, а также функцию правдоподобия услов-

---

<sup>1</sup> Dretske F. Knowledge and the Flow of Information. Cambridge, Mass, 1981.

<sup>2</sup> Tucker A. Op. cit. P. 18.

ного события А|В. Такер считает, что среди историков, достигших “непротиворечивой, связной историографии”, могут быть только случайные отклонения от Байесовского идеала, да и по поводу этих отклонений нет единого мнения<sup>1</sup>.

С несколько иной точки зрения в контексте аналитической традиции философии истории рассматривает проблемы исторической науки Марк Блум, также обративший на себя пристальное и весьма неоднозначное внимание критиков. Свою многостраничную книгу “Континуальность, квантум, континуум и диалектика” он считает продолжением “Критики исторического разума” Дильтея<sup>2</sup>. Все утверждения о природе человеческого духа есть след темпорально-пространственного развития “исторического” разума, считает он и формулирует концепцию *феноменологической историографии купно с логико-грамматической герменевтикой*, которые фокусируют внимание на характерных пропозициональных утверждениях людей в контексте апории, сформулированной Рикёром в третьем томе работы “Время и нарратив”: как может индивидуальный темпоральный опыт в феноменологической установке быть ясно определен в пространстве и в космологическом времени, то есть в общем времени, в котором измеряются личные и общественные события. Под логикой, точнее говоря, под исторической логикой, Блум имеет в виду концепцию логики, развиваемую Гуссерлем и другими феноменологами. Согласно этой концепции, перцептивное поле разделяется на части и целостности, что образует квантитативный порядок так же, как и зависимо-независимые отношения между этими частями и целостностями. Кроме того, это создает и временной поток сознания.

---

<sup>1</sup> Иллюстрацией правила Байеса может служить известный “парадокс Монти Холла”, суть которого заключается в том, что игроку предлагается открыть одну из трех дверей, за которыми находятся машина и два несущественных объекта, например ослы. Сначала игрок выбирает одну из дверей, но ее не открывают, а открывают другую, за которой находится осел. Далее игроку предлагают поменять свой выбор, если, по его мнению, это увеличивает его шансы. Правильный ответ: поменяв выбранную дверь, игрок увеличивает шансы выигрыша с 1/3 до 2/3.

<sup>2</sup> Bloom M. Continuity, Quantum, Continuum and Dialectic. The Foundational Logic of Western Historical Thinking. N.Y., 2006.

Блум полагает, что видение исторических событий зависит от (либо принимает) очертания персонального темпорального опыта. Он ссылается на Хладениуса как основателя исторической герменевтики, который писал о том, что “для каждого объекта существует своя одна правильная репрезентация, и если наличествует разница в дескрипциях, то одна должна быть абсолютно правильной, а другая — абсолютно ложной”<sup>1</sup>. С приходом модернизма был сформулирован иной взгляд на мир — общий для всех объектов, без нюансов и отличий. Постмодернизм пересмотрел эту установку модернизма, и сам Блум также выступает с его позиций, хотя и с привлечением инструментария модернизма, в частности кантовско-лейбницевской методологии анализа сознания. В этом смысле он считает, например, своим учителем Х. Уайта и как кантианца, создавшего конструкционистскую эпистемологию, и как исследователя, в ходе создания своей теории тропологии обратившего внимание на личный темпоральный опыт историка.

Как и Х. Уайт в своей “Метаистории”, Блум использует идеи С. Пеппера о четырех “мировых гипотезах”: механицизме, формизме, контекстуализме и органицизме, и на этой основе предлагает четыре варианта исторической логики: континуальность, квантум, континуум и диалектику. С помощью этой логики он хочет дифференцировать личную конструкцию времени от нормативного общественного понимания исторического времени. “Мое исследование переводит однозначную субъективную историю в историю “множественных объективностей...”<sup>2</sup>. Для иллюстрации своих идей Блум обращается к эпохе Тюдоров, выявляя там, во-первых, конкретных личностей — представителей определенного логико-грамматического стиля, во-вторых, приводя примеры тех историков-медиевистов, специализирующихся на исследовании эпохи Тюдоров, которые следовали этому стилю в своих работах.

**Континуальная логика** (стиль *continuity*) представляет собой возрастающую и связную серию событий, где понятия выстроены иерархически и каждое более широкое объясняет нижестоя-

---

<sup>1</sup>Chladenius J. M. On the Interpretation of Historical Books and Accounts // The Hermeneutics Reader, Texts of the German Tradition from the Enlightenment to the Present. K. Mueller-Volmer ed. N.Y., 1989. P. 65.

<sup>2</sup> Bloom M. Op. cit. P. XIII.

щее. Здесь формируется систематический подход ко времени, который может быть выражен в понятии “традиция” или “хроника”. Его называют “линейным временем”, свойственным телеологической концепции истории, где каждая сущность независима от ее продолжения во времени. Например, Э. Кок, историк эпохи Тюдоров, через исследование межличностных конфликтов в правительстве Стюартов показывает развитие законодательства того времени, а современный историк Дж. Элтон в своем исследовании эпохи Тюдоров рассуждает о Йорках, которые были до Тюдоров и о Стюартах, которые пришли после; о жизни династий; об истории Англии, Кромвеля и прочем как частях одного большого целого<sup>1</sup>.

В американской истории представителями континуальной логики, как полагает Блум, были Томас Джефферсон и Джон Адамс. Они создали такую идею американской истории, которая стала идеологией и даже частью национальной идентичности.

**Квантум-логика** (стиль *quantum*) фокусирует внимание на целостностях истории, начале и конце событий. В определенной мере это тоже разновидность хронологии, но с акцентом на ее отдельных частях, а не целом. Например, концепция *Zeitgeist* есть квантум. Она дает новое понимание действия во времени, как это показал Ницше в “Рождении трагедии”, представив индивидуальное действие как конкретизацию коллективной темпоральности, как функцию целого. Квантум всегда относится только к настоящему моменту, он может быть прерван и закончен. Квантум-логика дает обществу радикальную свободу к изменениям на основе провидческих идей. Бэкон, мыслитель эпохи Тюдоров, своей концепцией метода предсказал Декарта. Историк А. Славин, исследуя политический характер эпохи Тюдоров, утверждал, что эта эпоха иллюстрирует “перманентный политический кризис” как глубокий конфликт, который не перерастает в тотальную революцию, но в котором все идеи, верования, ценности и институты, придающие форму индивидуальному опыту, теряют свою обязательную силу. Славин противопоставил понятия “кризис” и “перманентный кризис”<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> *Coke Ed.* The Second Part of the Institutes of the Law of England. V. 1. N. Y., 1986; *Elton G.* The Practice of History. N. Y., 1967.

<sup>2</sup> *Slavin A. J.* The Tudor Age and Beyond. Malabar, Florida, 1987.



В американской истории квантум-мыслителями были, например, Т. Пэйн и С. Адамс, которые в начале 1770-х гг. акцентировали своеобразие истоков американской жизни и ее общинный коллективный дух. Пэйн в своих “Правах человека”, следуя Руссо (также мыслителю квантум-стиля), рассуждает о естественных и гражданских правах, подчеркивая, что естественные права реализуют саму личность, а гражданские дают возможность действовать внутри общества. История у Пэйна замирает на месте, так как ему интересно только то, что происходит в настоящем. Адамс мечтает о восстановлении колонии в ее первоначальном виде, предусмотренном канонической традицией, и призывает к этому правительство.

**Континуум-логика** (стиль *continuum*) есть стиль исторической логики, который можно назвать контекстуальным. Он отрицает общие свойства и предлагает “головокружительную” индивидуальную свободу, “метакогнитивный пессимизм” в отношении исторического развития. В континуум-логике нет единого времени, здесь выстраивается линия пересекающихся и взаимодействующих сущностей и действий — континуум. Последний не транслируется сквозь время, а есть только последовательность событий в определенном времени и месте, которые обладают “семейным сходством”. Историк этой логики признает только взаимодействие отдельных сущностей, он создает многоцветный исторический ландшафт как основание цепи событий. Он очень чувствителен к конкретным особенностям мышления и чертам характера исторических персонажей, которые участвуют в общем потоке времени.

Так, Т. Мор предлагал абсолютную свободу выбора, утверждая, что каждый человек должен сам выбрать свои ценности. Историк Д. Старкей, описывая английский королевский двор от Войны Алой и Белой розы и до начала Гражданской войны в Англии, утверждал, что форму всем событиям той эпохи придавали произвольные действия акторов в непредвиденных исторических обстоятельствах<sup>1</sup>. При этом сами последние есть результат противоположных желаний акторов. Старкей описывает историю Англии того времени как ситуацию абсурда. В американской истории пред-

---

<sup>1</sup> *Starkey D.* The English Court From the Wars of Roses to the Civil War. London, 1987.

ставителем этого стиля логики был, например, Б. Франклин, который выступал за освобождение американской колонии от Англии и полагал, что если эта идея станет в людях “жить”, то непременно реализуется на практике.

*Диалектический стиль исторической логики* есть сложная форма темпоральности, включающая в себя наличествующий в данный момент квантум в его комбинации с другими существующими во времени, как в романе Марка Твена “Жизнь на Миссисипи”, где множество мелких каналов между островами создают вероятность того, что, попав туда, невозможно найти выход обратно. Индивидуальный выбор рассматривается как всегда доступный в фиксированном универсуме коллективных выборов.

Диалектический стиль исторической логики означает, что общество должно следовать некоему большому, конвергентному плану, подобному путешествию евреев по пустыне во главе с Моисеем. Это своего рода культурный суицид, считает Блум. История предстает как возникновение и диссолюция коллективного разума в культуре в связи с разбирательством культурных конфликтов. Историка стиля диалектической логики интересует поверхность событий для того, чтобы связать случайное сосуществование этих событий. История здесь проникает повсюду, она бесконечна. Логика континуальности тоже не отрицает бесконечности истории, но там ее развитие может идти в любом направлении. Для диалектика будущее существует только в контексте динамики настоящего. Чувство жизни, согласно которому каждый событийный синтез в настоящем должен вести к новым противоречиям и будущим решениям, представлен в пьесах Шекспира, особенно в их развязках. Между прочим, сравнивая логику диалектики и логику квантиума, а именно Шекспира и Бэкона, можно ответить на вопрос, так кто же из них писал эти пьесы. В любом случае, убежден Блум, это был не Бэкон.

Хотя сама идея воздействия на ткань исторического повествования личного темпорального опыта историка не вызывает сомнений и заслуживает отдельного анализа, в построениях Блума прослеживается уже отмеченная особенность аналитической философии истории (и особенно аналитической герменевтики), заключающаяся в том, что исследователь пытается объяснить объективный социальный мир в категориях субъективных.

В 2008 г. вышла книга английского исследователя Джонатана Гормана “Историческое суждение: границы историографического выбора”<sup>1</sup>. Она вызвала большой интерес тех исследователей, которые полагали, что классическая аналитическая традиция исторических исследований благополучно скончалась много лет назад. Дело в том, что книга Гормана возродила дискуссию, развернувшуюся на первом этапе эволюции аналитической философии истории, — о проблеме соотношения методологического индивидуализма и холизма. Развивая идею Куайна о прагматическом холистском эмпиризме применительно к историческим исследованиям, Горман доказывает, что историки несвободны в своем выборе того, как понимать реальность прошлого, поскольку существует уровень атомарных фактов, или атомарных предложений, на котором нет и не может быть никаких разногласий. Атомарные предложения могут быть истинны или ложны независимо от истинности или ложности остальных предложений, входящих в историческое исследование в целом. Этот уровень и есть предел выбора, доступного историку.

Общий взгляд на эволюцию аналитической философии истории позволяет утверждать, что она является специфической версией философии науки, интерпретирующей проблемы исторического знания как прежде всего проблемы эпистемологические. Она реализует свои задачи через аппарат формальной, пропозициональной логики и через витгенштейнианский понятийный каркас. Аналитические и лингвистические составляющие сформулировали в аналитической философии историографии особую философскую технику, обеспечивающую высокую логическую строгость теоретизирования. Аналитическую философию историческая наука и ее методология стали привлекать в силу возможности формализации исторического знания. Другое дело, что, формализуя исторические категории (либо в парадигме логического позитивизма, допускающей только однозначный контекст, либо в парадигме аналитической концептуализации, допускающей мно-

---

<sup>1</sup> *Gorman J. Historical Judgement: The Limits of Historiographical Choice. Acumen, 2008; Горман Дж. Грамматика историографии / Предисл. М. А. Кукарцевой; Пер. с англ. М. А. Кукарцевой, А. Л. Никифорова // Вопросы философии. 2010. № 3. С. 44–53.*

гозначность), всегда необходимо видеть разницу между приблизительным характером исторических категорий и точностью логических понятий; в противном случае исследование может привести к ложным выводам.

Правомерность проведения логических действий над категориями гуманитарных и социальных наук — вопрос, в современной философии до сих пор до конца не решенный, хотя “наиболее характерной чертой философии XX в. было возрождение логики и та будоражащая роль, которую оно сыграло в общем развитии философии”<sup>1</sup>. Ф. Анкерсмит утверждает, что логики никогда не были способны работать совместно с историками, так как эти две дисциплины слишком далеко лежат друг от друга. “Трагикомическая история модели охватывающего закона свидетельствует о неспособности логиков сказать что-нибудь полезное об историческом описании. Априорные исторические спекуляции, развитые в прошлом, например, Кантом и Гегелем, учили историка не ждать дельных советов от логиков”<sup>2</sup>.

Тем не менее “историография нуждается в логическом инструментарии, который не сводился бы к формальной логике и был бы ориентирован на решение задач собственно исторической науки”, и “единственным разделом логики, адекватно применимым для анализа истории, должна стать *импликационная логика* (если есть А, то потом появится В)”<sup>3</sup>. Импликационная логика применяет аппарат традиционной логики к сфере приблизительных понятий, то есть обладающих нестабильными, инновационными признаками.

Фон Вригт, исследуя возможности приложения логики к гуманитарным наукам, разработал *деонтическую логику* (логику норм

---

<sup>1</sup> Вригт Г. фон. Логика и философия в XX веке // Вопросы философии. 1992. № 8. С. 80.

<sup>2</sup> Анкерсмит Ф. Эффект реальности в историописании. Динамика историографической топологии // История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2009. Исследование Анкерсмитом англосаксонской школы философии истории в статье “Дилемма англосаксонской философии истории” многие исследователи называют классическим; Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2009.

<sup>3</sup> Черняк Е. Б. История и логика: структура исторических категорий // Вопросы истории. 1995. № 10. С. 32.

и нормативных понятий), в основе которой лежит исчисление действий, а не пропозиций, событий. Поппер предлагал для исследования истории *ситуационную логику*. Сродни попперовской ситуационной логике *коллингвудовская логика вопросов и ответов*.

Коллингвуд считал, что аристотелевская модель дедуктивных рассуждений как основа современной формальной логики ошибочна и отвлекается от реального процесса научного исследования. А реальный процесс таков, что в нем постоянно возникают конкретные проблемы, поэтому проблема является, по Коллингвуду, основной единицей логического анализа. Существо любых проблем не вечно, а меняется в зависимости от обстоятельств дела. Поэтому существует не одна проблема, а серия проблем. В соответствии с этим нет единой для всех случаев логики, а есть логика вопросов и ответов, продиктованная конкретными историческими изменяющимися проблемными обстоятельствами. В необходимости реализации именно такой логики Коллингвуд видел специфику философско-исторического и исторического знания. Практически так же рассуждал С. Тулмин, предлагая субстантивную логику определенного предмета и эпохи.

Сегодняшний уровень развития философии и логики позволяет оперативно и доказательно найти релевантную форму логических исчислений для исторических категорий, и аналитическая философия истории сумела это доказать. Главная ее задача сегодня заключается в том, чтобы отойти от бесконечного обсуждения релевантных интеллектуальных артефактов континентальной философии и от тотальной редукции всех своих новых идей исключительно в область методологии, так, чтобы эта методология не стала единственным содержанием философской рефлексии.

## 2.2. Начало лингвистического поворота в историописании<sup>1</sup>

Выражение “лингвистический поворот” первоначально было употреблено для того, чтобы описать размышления Витгенштей-

---

<sup>1</sup> Кукарцева М. А. Начало лингвистического поворота в историописании // Monstera. № 4. Философские проблемы социально-гуманитарного знания. М., 2004.

на об обычном языке в противоположность идеальному философскому языку. Первое использование этого выражения встречается в эссе Густава Бергманна 1953 г. “Логический позитивизм, язык и реконструкция метафизики”, переизданном в сборнике “Лингвистический поворот: последние эссе о философском методе”<sup>1</sup>. По мнению Х. Кёллнера, ни сам Бергманн, ни другие “пользователи” указанного выражения не замечают, что фраза “лингвистический поворот” в действительности есть троп, или фигура речи, и понимают под лингвистическим поворотом тезис о том, что философскими проблемами являются только те, которые могут быть решены (дезаурированы) или преобразованием языка, или достижением его лучшего понимания. Не вдаваясь сейчас в подробный анализ обозначенного расхождения во мнениях, подчеркнем, что возникновение этого выражения зафиксировало среди англоязычных философов истории 1960-х гг. начало их разделения на сторонников нарратива и сторонников модели охватывающего закона. Это разделение в свою очередь инспирировано разными подходами к решению проблемы *способов написания* истории. А сама эта проблема проистекала из известного различия *исторического исследования* (области науки, где производятся исторические факты) и *письма историков*, или историописания (где изображение историка играет этими фактами и наполняет их значением в ходе создания текста).

Представители самых разных дисциплин научного знания требовали от истории (иногда весьма агрессивно) быть или историей научной (наукой), или историей литературной (беллетристической); третьего не дано. Как оппозиция этим требованиям множились поиски путей их дезавуирования и даже предлагались способы превращения этих требований в абсурдные.

Классическим примером понимания истории как науки может служить известная лекция Дж. Бьюри, прочитанная им в Кембридже в 1903 г., где он объявил, что “история есть наука, не меньше и не больше”<sup>2</sup>. Но при этом историки были всерьез убеж-

---

<sup>1</sup> The Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Method. R. Rorty, ed. Chicago, 1967. P. 63–71.

<sup>2</sup> Речь идет об инаугурационной лекции Дж. Бьюри как профессора кафедры современной истории в Кембридже в 1903 г. Лекция называлась “Наука истории”.

дены в том, что у них нет никакого специализированного научного языка, пригодного для создания исторических текстов. Поэтому история реализовывала свои и чужие претензии считать себя научной дисциплиной по образцу естествознания. Ведомые этой установкой, большинство дебатов в философии истории начиная с 1942 г. — времени появления классической работы К. Гемпеля “Функция общих законов в истории” — и до 1960-х гг. бушевали вокруг применимости позитивистской теории МОЗ<sup>1</sup> к историческому объяснению. Именно с работы Гемпеля о МОЗ начинается история аналитической философии истории, которая стала предшественником лингвистического поворота в историописании.

Положение истории как дисциплины, находящейся между наукой и поэзией, но при этом обладающей ореолом академической респектабельности, сделало ее идеальной ареной для споров о научных моделях объяснения. Одновременно ряд историков выступили со статьями о том, что история не может быть научной в строгом смысле этого слова. Вместо этого она является “образным предположением максимум вероятных обобщений и имеет образовательную, а не научную ценность”. Колыбелью истории, по мнению, например, Дж. Макалея Тревельяна, является искусство рассказа. Присоединяясь к Тревельяну, профессор литературы Эмери Нефф издал в 1947 г. книгу под названием “Поэзия истории”<sup>2</sup>, которая была посвящена разбору результатов критического прочтения им различных историков XVIII–XIX вв. Нефф поддержал взгляд Тревельяна на историю, но подчеркнул, что научный компонент в ней должен сохраниться.

Но авторы, подобные Тревельяну и Неффу, не рассматривали поэтику истории всерьез. Они считали, что история есть “**ученость, добавленная к искусству**”. Это положение вызывало новую волну обсуждения проблем МОЗ, но теперь некоторые философы начинали проявлять внимание к нарративу как характерной форме историописания. При этом важно, что в основе части критики МОЗ лежал анализ обыденного языка. В связи с этим, например, Исайя Берлин обрисовал давнюю проблему позволительности (или непозволительности) историкам вводить в исторический текст

---

<sup>1</sup> Модели охватывающего закона.

<sup>2</sup> *Neff E. The Poetry of History. N.Y., 1947.*

моральные суждения. С его точки зрения, если история написана на обыденном языке, то она переполнена моральными значениями и коннотациями, имманентно вложенными в каждодневную речь. Поэтому для историка никак невозможно воздерживаться от моральных суждений и писать так, как будто исторические агенты не имеют никакого свободного волеизъявления<sup>1</sup>. В подобном же роде пробовал решить некоторые из проблем, сгруппированных вокруг МОЗ, Патрик Гардинер<sup>2</sup>.

Бенедетто Кроче выявил различие между хрониками и нарративами<sup>3</sup>, достаточно детально оно было проанализировано и У. Уолшем в известной работе “Введение в философию истории”<sup>4</sup>. Уильям Х. Дрэй, предпринимая усилия расширить концепцию объяснения и редуцировать МОЗ к только одной из разновидностей законов, отметил в 1957 г., что, объясняя некоторое событие или положение дел, историк часто создает нарратив, который скорее объясняет “как это произошло”, чем “почему”<sup>5</sup>. А. Данто в ряде статей и особенно в книге “Аналитическая философия истории”, изданной в 1965 г., продемонстрировал эквивалентность между объяснением (как оно рассмотрено Гемпелем), и нарративами, таким образом доказывая, что “модель охватывающего закона” не противоречит нарративным моделям. Он подчеркивал, что “нарративы играют важную познавательную роль в историческом исследовании” и что “история — гипотетический пересмотр того, что случилось в более или менее установленном прошлом”<sup>6</sup>. Поэтому нарративы — характерная форма исторического объяснения.

Исследуя условия истинности утверждений о прошлом и будущем, Данто ввел гипотетическую фигуру Идеального Летописца, способного дать полный реестр всех событий, какими они про-

---

<sup>1</sup> Berlin I. Historical Inevitability. London, 1954.

<sup>2</sup> Gardiner P. The Nature of Historical Explanation. L., 1952.

<sup>3</sup> Кроче Б. Теория истории // Антология сочинений по философии. СПб., 1999.

<sup>4</sup> Walsh W. Introduction to Philosophy of History. L., 1951.

<sup>5</sup> Dray W. H. Explanatory Narrative in History // Philosophical Quarterly. V. IV. 1954. P. 24.

<sup>6</sup> Danto A. Narrative Sentences // History and Theory. V. II. 1962. P. 146; *Idem*. Analytical Philosophy of History. Camb., 1965.



изошли, но без сообщения какого-либо знания о будущем. Даже если бы такой Идеальный Летописец существовал, считает Данто, историки не остались бы без дела, так как события прошлого описаны в проекции к их будущим следствиям, о которых Идеальный Летописец ничего не мог знать. Историки и должны описывать эти следствия. Возьмем, к примеру, предложение “Тридцатилетняя война началась в 1618 г.”. Дата окончания войны никак не могла быть известна, так как никто не мог знать продолжительность войны, она — результат деятельности историков. Важным следствием идеи Данто стало утверждение: “Нет никаких событий, кроме некоторых описаний”. Тем самым был нанесен сокрушительный удар по тем теориям, в которых история основывается на отдельных, точно описанных событиях. Данто показал, что неизвестно, сколько именно правдивых описаний могли бы быть сделаны в одно и то же время<sup>1</sup>.

Общей особенностью исследований указанных авторов было то, что они рассматривали в качестве нарратива только два-три предложения, причем часто взятых не из реальных исторических работ, а сконструированных ими самими. Приоритетным моментом для них было то, каким образом или могут ли вообще такие нарративы формулировать объяснение. Таким образом, дилемма “история — наука или искусство” продолжала оставаться нерешенной.

В этот момент Б. Мазлишем и Х. Уайтом была сформулирована иная установка рассмотрения сущности истории — **“искусство, добавленное к учености”**. Историописание стало предметом философского размышления на *лексическом уровне*.

Мазлиш в целом поддерживал взгляд на историю как науку. Он присоединялся к основному тезису немецкой исторической школы о необходимости рассказывать историю так, “как это действительно случилось”, и рассматривать индивидуальные проявления человеческого творческого потенциала в истории “как простые случаи абстрактных законов, которые управляют механизмами”<sup>2</sup>. Вместе с тем он допускал, что, возможно, частично история есть повествование, представленное нам так, чтобы мы могли *чувствовать* его как пьесу или как живопись. “Такой

---

<sup>1</sup> Danto A. Analytical Philosophy of History. Cambridge (Mass.), 1965.

<sup>2</sup> Mazlish B. Review Essay // History and Theory. V. I. 1961. P. 219–227.

опыт расширяет наше понимание и пробуждает в нас эстетические, или моральные, или даже философские реакции”<sup>1</sup>.

Хейден Уайт создал свой “эстетический историзм”, в котором традиционные объекты исторической рефлексии растворялись в имажинативных интенциях историка, а факт уступал место творческому воображению последнего. Но как Мазлиш не был полностью свободен от сочувствия литературной истории, так и Уайт не был полностью свободен от сочувствия научной истории. Он критиковал последнюю за односторонность, но не отрицал необходимости исторического исследования. Мазлиш критиковал Уайта за ограниченность “эстетического историзма”, за то, что “*эффект* нарратива считался более важным, чем истинность или ошибочность нарратива”<sup>2</sup>, но не отрицал значение нарратива в исторической науке.

Найти пути выхода из ситуации попытались А. Данто, У. Гэлли и Л. Минк. Данто разрешил противоречие между искусством и наукой, объявив историю ни тем и ни другим, в соответствии со своей теорией Идеального Летописца. У. Гэлли предложил сосредоточиться на анализе исторического понимания.

Историческое понимание, по Гэлли, заключается в *слежении* за развитием фабулы исторического рассказа, так как история — это разновидность рода рассказа<sup>3</sup>. Для наиболее яркой иллюстрации процедуры слежения Гэлли приводит пример крикета, которому, по его мнению, свойственна структура рассказа. В происходящей игре внимание зрителя сфокусировано на ожидаемом результате. В ходе разворачивания игры могут сложиться самые невероятные и непредвиденные ситуации. Время от времени становится трудно следить за игрой, особенно тогда, когда стратегия капитана кажется неясной; и именно в этом стечении обстоятельств эксперт черпает объяснение возможных ходов игры, основанное на превосходящем знании местных условий (или на лучшем знании ее правил). Хотя игра в некотором смысле составлена по ее правилам, она все же может быть сыграна и

---

<sup>1</sup> *Mazlish B. Review Essay // History and Theory. V. I. 1961. P. 225.*

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Gally W. The Historical Understanding // History and Theory. V. III. 1964; см. также: Philosophy and Historical Understanding. Cambridge, 1964.*

без знания о них, но с известной долей физической ловкости и стратегической сообразительности. Гэлли отмечает, что аналогия между играми слежения и нарративами далека от совершенства хотя бы потому, что нарративы не имеют никаких правил; но она достаточна для иллюстрации того, что акт слежения есть та деятельность, в которой внимание игрока (читателя) направлено к ожидаемому концу; непредвиденные обстоятельства не только приемлемы, но и сущностны для получения им удовольствия, объяснения же играют относительно подчиненную роль. Ключевым моментом исторического понимания, по Гэлли, становится процедура слежения за развитием событий в нарративе. Гэлли не рассматривал правила конструирования нарративов, так же как и не оппонировал сторонникам МОЗ, “он просто создал место около нее для “понимания” нарративной формы”<sup>1</sup>. А. Лоч в работе “История и нарратив”<sup>2</sup> пошел даже дальше, чем Гэлли, считая, что нарратив существенен для исторического объяснения и фактически может позволить историку аннулировать МОЗ в целом.

Луис Минк посвятил множество аналитических статей разбору идей Гэлли и параллельному развитию собственных взглядов на предмет. Он подчеркнул, что концепция Гэлли требовала привнесения в чтение нарратива элемента своего рода *приостановки*; читатель должен быть охвачен некоторой неуверенностью в том, как продолжится и чем завершится нарратив. В действительности же, считает Минк, читатели исторических нарративов вряд ли могут быть удивлены поворотами в сюжете. Почти все из них с самого начала знают итоги известных исторических событий, то есть развитие этого сюжета, но это не портит им удовольствие и не затрудняет понимание текста. Автор нарративов, считает Минк, не комментатор, наблюдающий развитие игры, но скорее генеральный директор, детально изучающий все перипетии игры и выясняющий, является ли полученный счет результатом неудачей игры нападающего или чего-то еще.

---

<sup>1</sup> *Richard T. Vann* *Turning Linguistic: History and Theory, 1960–1975 // A New Philosophy of History*. Ed. F. Ankersmit, H. Kellner. Univ. of Chicago press, 1995. P. 47.

<sup>2</sup> *Louch A. R.* *History as Narrative // History and Theory*. 1969. Vol. 8. № 1. P. 60.

Минк полагал, что все усилия по ассимиляции исторического понимания и научного объяснения изначально пошли по ложному пути. Он постулировал три способа понимания вообще: теоретическое, категориальное, конфигуративное соответственно как характеристики науки, философии и истории<sup>1</sup>. Отличительная особенность исторического понимания, считал Минк, есть его способность “одним махом” объять всю постижимую последовательность исторических событий, которые сами по себе разворачивались в хронологическом порядке. “В некотором смысле мы можем понимать отдельное событие, правильно располагая его в последовательности нарратива, так же, как понимаем, классифицируя, случай закона, — считал он, — но это не означает, что последовательное объяснение есть *единственное* возможное объяснение определенного факта или последовательности фактов, или что это удовлетворительный ответ на различные вопросы “почему это случилось?”<sup>2</sup>. Минк, таким образом, предложил не привязывать жестко концепцию исторического *понимания* к *объяснению*. Историческое понимание стало напоминать скорее восприятие музыкальной композиции, чем проникновение в суть геометрического рисунка, а “синоптическое суждение” историка как способность репрезентировать сразу весь хронологический поток последовательно произошедших событий, трансформировалось в форму нарратива.

Идеи Гэлли и Минка вызвали бурную дискуссию. Мондельбаум считал нарративную модель истории “слишком упрощенной”. Он объявил, что “тенденция рассматривать историю как нарратив неудачна и нуждается в исправлении”<sup>3</sup>. Мондельбаум считает, что даже если в нарративе историка точная последовательность излагаемых событий инспирирует его сущностную структуру, то история *по существу* не может быть рассказом, так как историк ничего не создает, а просто выясняет то, что пока неиз-

---

<sup>1</sup> *Mink L. O. Modes of Comprehension and the Unity of Knowledge // Philosophical Analyses and Historical Understanding ed. B. Fray, E. Golob, R. Vann. Ithaca, 1987. P. 38–8; см. также: History and Fictions as Modes of Comprehension // New Literary History. Vol. 1. 1970. P. 557.*

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Mondelbaum M. A Note on History as Narrative // History and Theory. V. VI. 1967. P. 419.*

вестно. Телеологический смысл, который Гэлли находил в нарративе, Мондельбаум находит в любом объяснении. Он ограничил нарратив рядом каузальных утверждений, выстраивающих события в хронологическом порядке. Идея Мондельбаума была поддержана многими.

Р. Г. Ели, например, основываясь на идеях Мондельбаума о том, что “факторы интеллекта, характера и индивидуальности, которые часто не могут быть объяснены в терминах определенных эпизодов, составляющих нарратив”<sup>1</sup>, но, очевидно, имеют большое влияние на ход событий, считал, что история по определению не может быть нарративной. Рольф Грунер, тоже в целом соглашаясь с Мондельбаумом, подчеркнул, что понимание нарратива должно быть более широким. Нарратив, по мнению Грунера, может включать в себя обширные описания второстепенных и социальных обстоятельств, описывать действия, предпринятые различными историческими субъектами. К примеру, работа “Осень Средневековья” Йохана Хейзинги, которая не является нарративом, так как организована не хронологически, и все же это не что иное, как историческое повествование. Как нарративы могут содержать ненарративные элементы, так последние могут быть найдены во многих нарративных работах, и все они будут классифицироваться как работа по истории.

С заключением Мондельбаума и аргументами Грунера согласился Уильям Дрей. Вряд ли, писал он, “работа должна *содержать* нарратив, чтобы она должным образом была рассмотрена как работа по истории”<sup>2</sup>. Дрей был убежден в том, что исследование, выясняющее, “что является историей”, может совершенно законно следовать как путем анализа того, “как это действительно происходило?”, так и дорогой рассмотрения того, “каково этому объяснение?”<sup>3</sup>.

Обсуждение этих проблем проходило в рамках аналитической философии истории, поэтому даже те, кто сочувствовал нарративистам, все еще были далеки от объединения с их взгляда-

---

<sup>1</sup> Mondelbaum on Historical Narrative: A Discussion // History and Theory. V. VIII. 1969. P. 275–83.

<sup>2</sup> Ibid. P. 285.

<sup>3</sup> Mondelbaum on Historical Narrative: A Discussion. P. 292–303.

ми. Дело в том, что аналитическая философия истории, подобно всему анализу, имела тенденцию расчленять исторический курс на его сингулярные единицы, а нарратив — на два предложения. Аналитики фокусируются на способах, которыми историки устанавливают изолированные факты. Например, Дантово различие между простыми и значимыми нарративами состоит в том, что так называемый простой нарратив должен быть построен на некоторых основаниях, которые исключают, очевидно, несоответствующие исторические утверждения, а значимый нарратив представляет некоторую форму объяснения.

*С одной стороны*, это порождало такое множество вопросов, что во всей “аналитической философии истории, подобно ее кузнецу, принципу верификации, оставалось жизни ровно настолько, чтобы иметь возможность умереть”<sup>1</sup>. Является ли исторический нарратив по существу нарративом, как полагали Гэлли, Данто или Лоч, или исторические работы должны содержать только некоторые элементы нарратива? Или, может быть, просто *некоторые* исторические работы есть нарративы?

Действительно ли нарративы обладают объяснительным эффектом или просто исторические объяснения стали таковыми, будучи инкорпорированными в нарративы? Если нарративы объясняют, предлагают ли они ряд каузально связанных утверждений? Должна ли нарративная модель быть Дантовой моделью причинного *входа* или причинных цепочек? Или Минковой, где нарратив требует очертить полный комплекс отношений?

Может ли быть установлено какое-либо существенное и плодотворное различие между хроникой и историей (Мортон Уайт), рассказом и сюжетом (Э. Форстер), простым и существенным нарративом (У. Уолш)? Означает ли, что акцент на форме нарратива не требует от историка предоставления объяснений, и не означает ли это исчезновение истории как дисциплины? Может быть, нарратив есть только непредвиденная особенность некоторых историй, появляющаяся только тогда, когда историк должен “написать” о том, что было обнаружено? Ни один аналитический философ

---

<sup>1</sup> *Danto A. The Decline and Fall of the Analytical Philosophy of History // A New Philosophy of History. Ed. F. Ankersmit, H. Kellner. Univ. of Chicago press. 1995. P. 82.*

истории не произвел никаких убедительных критериев для решения вопроса о том, что конституирует нарратив или как его распознавать. Мнения о том, являются ли нарративы объяснениями, оказались поляризованными между плюралистами, типа Минка и Дрея, и защитниками научности истории, типа Мазлиша и Мондельбаума.

*С другой стороны*, как считает Р. Ванн, анализ, особенно анализ языка и нарратива, диалектически вызывает повторение в аналитической философии истории, философии истории субстантивной<sup>1</sup>. Хаскелл Фейн говорил об этом, как о “восстановлении” спекулятивной философии истории в пределах аналитической традиции. Он подразумевал, что анализ анализа выявит некоторые вопросы, на которые нельзя ответить без определенной теории о человеческой природе и историческом процессе. Например, аналитические процедуры не могут ответить на вопрос “о чем эти истории?”<sup>2</sup>. Как полагает Данто, данные затруднения свидетельствовали о конце эпохи аналитической философии истории<sup>3</sup>. Точка зрения этой разновидности философии истории наиболее точно и емко была выражена Гемпелем, эта точка зрения концептуальная или логическая. Мир Гемпеля как стратифицированная система представлений был миром его собственного времени, миром логики, где императивы и приоритеты логического позитивизма были среди его основ, и хотя части основы иногда конфликтовали друг с другом, всякий раз, когда вставал выбор между логикой и некоторым другим видом суждения, побеждала логика.

Противоположной точкой зрения, инспирирующей совершенно другое понимание истории, по мнению Данто, стала позиция Т. Куна, обнародованная в “Структуре научных революций”. Точка зрения Куна не логическая, а историческая, и история понимается как матрица рассмотрения *всех* наук. Мир Куна изменчив. “То, что делает работу Куна *исторически* важной, есть тот факт, что многие мыслители, чьи миры, весьма в значительной степе-

---

<sup>1</sup> Об их различии см. например: Данто А. Аналитическая философия истории. М., 2002. Гл. 1.

<sup>2</sup> Danto A. The Decline and Fall of the Analytical Philosophy of History. P. 84.

<sup>3</sup> Ibid.

ни перекликающиеся с миром Гемпеля, работой Куна, вызвали к жизни миры, ориентирующиеся на его работу, вместо работы Гемпеля”<sup>1</sup>. Поэтому вполне определенно можно считать, что Кун открыл новый период в истории мысли, создал новый мир. Гемпель, конечно, жил в этом новом мире, “но он не был *из* этого периода. Он принадлежал исчезающей философской культуре, в которой тот, кто обнаруживал свой старый мир в новом, нуждался в специальной инструкции для его понимания”<sup>2</sup>. Дискуссия между мирами остается возможной, но фактом является то, что дискуссия между Гемпелем и его критиками, живущими в его мире, заметно отличается от дискуссии между любым из них и кем-то из мира, произведенного “Структурой научных революций”. Этот новый мир нуждался в осмыслении и в своей методологии. Если ее уже не могла дать логика, надо было обратиться к иным ресурсам. Решение проблемы, следовательно, состояло в понимании нарратива *не как логической модели*, не в сравнении его с МОЗ, а понимание его как своего рода *литературного устройства*, с помощью которого историки организуют результаты своих исследований.

Над выработкой этого решения работали как историки (Х. Стюарт Хугес<sup>3</sup>, Дж. Покок<sup>4</sup>, Х. Хекстер<sup>5</sup>), так и философы. Но и историки, и философы преследовали свои собственные интересы в анализе исторического дискурса. Как заметил Луис Минк, философы “на самом деле обсуждают... логическую теорию, и исторический вывод интересует их не потому, что он исторический, а потому что это — *вывод*... С другой стороны, историки на самом деле обсуждают вопрос о том, является ли история научной дисциплиной или только скоплением частей множества других дисциплин, и они не заинтересованы в логике аргументов в целом, но только в *differentiae исторических аргументов*”<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Danto A. The Decline and Fall of the Analytical Philosophy of History. P. 84.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Hughes H. History as Art and as Science: Twin Vistas on the Past. N.Y., 1964.

<sup>4</sup> Pocock J. G. A. Reappraisals in History // History and Theory. V. III. 1964.

<sup>5</sup> Hexter J. H. The Rhetoric of History // History and Theory. V. VI. 1967. P. 3–13.

<sup>6</sup> Mink L. O. Modes of Comprehension and the Unity of Knowledge. P. 25.



Историк Хекстер в своей работе “Риторика истории” описал три методологических приема историографии, которые историк использует в своей работе (сноски, перечисление имен и прямое цитирование), и сформулировал на их основе **три правила исторической риторики**. С одной стороны, это еще раз ударило по умирающему корпусу “единства научного объяснения”, как оно понималось Гемпелем и его последователями. С другой стороны, инспирировало новый взгляд на историописание.

Первое правило, **правило реальности**, стало парафразом известного ранкеанского требования от историка просто показать историческое событие так, как оно фактически произошло. Хекстер не разделял точку зрения Данто о том, что единственной мыслимой репрезентацией прошлого таким, каким оно фактически было, является Идеальная Хроника, поскольку тогда история исчезнет, потому что не сможет содержать предложения нарратива. Хекстер попробовал понять тезис Ранке следующим образом: историки должны сообщать о прошлом наиболее вероятные истории, которые могут быть поддержаны релевантным внешним свидетельством. Эта переформулировка говорит только “то, что имел в виду Ранке, но только в форме возможно более удовлетворительной для поколения, остро ощущающего лингвистические тонкости”<sup>1</sup>. Хекстер пробует противопоставить взгляды реалиста и нарративиста на историческое познание и обращается с их различием как с простым вопросом лингвистических тонкостей, забывая, что индексирование реальности не совпадает с рассказом о ней.

Затем следует **правило максимального воздействия**: какое-то место в сносках (свидетельство или информация), если оно вставлено в сам текст, увеличивает воздействие на читателя того, что вы как историк имели целью передать ему<sup>2</sup>.

Третьим правилом, а в действительности вариантом второго, является **правило экономии цитаты**: цитата из исследования прошлого возможна только тогда и в той степени, чтобы конфронтация с результатами исследования могла лучшим способом помочь читателю понять прошлое *wie es eigentlich gewesen*<sup>3</sup>. По Хек-

---

<sup>1</sup> Hexter J. H. The Rhetoric of History. P. 5.

<sup>2</sup> Ibid. P. 6.

<sup>3</sup> Hexter J. H. The Rhetoric of History. P. 8.

стеру получается, что чем больше свидетельств, представленных читателю в сносках и прямых цитатах, тем ближе он оказывается к прошлому, как оно фактически было: “...в интересах передачи исторической реальности читателю с максимальным воздействием правила историографии могут иногда требовать, чтобы историк подчинил законченность и точность другим соображениям”<sup>1</sup>. Прямая цитата есть способ, которым читатель противопоставляется ключевым частям свидетельства, она заставляет соглашаться с историком. Поэтому историку время от времени можно *отказать* читателю в полноте информации.

Хекстер пришел к трем заключениям:

1) история есть ведомая правилами дисциплина, с помощью которой историки стремятся сообщать знание о прошлом;

2) риторика не просто декоративна, но необходима для такого сообщения;

3) риторика истории глобально отличается от такой же в естествознании.

Луис Минк считал, что правила Хекстера есть не императивы, а прагматические напоминания об императивах. Да и сам Хекстер в общем-то не скрывал, что эти правила являются “*в целом применимыми максимумами...* оставляющими идентификацию исторического *опыту обученного историка*”<sup>2</sup>. Например, правило реальности не содержит никакого критерия для идентификации наиболее вероятной истории, и поэтому в отличие от реального правила не определяет то, что правилу противоречит, не обеспечивает гарантию того, что следование правилу будет иметь какой-то позитивный результат. Вообще, как считает Минк, рассуждения о правилах историографии инспирированы желанием рассмотреть нарратив как познавательный инструмент историописания и доказать то, что он идеально представляет прошлое *wie es eigentlich gewesen*. Но, продолжает он, структура нарратива только случайно может быть той же самой, как и структура исторической реальности. Последнюю же не знает в принципе никто.

Тем не менее анализ исторической прозы, предпринятый Хекстером, обозначил путь, по которому впоследствии пошли как фи-

---

<sup>1</sup> Hexter J. H. The Rhetoric of History. P. 6.

<sup>2</sup> International Encyclopedia of the Social Sciences. L., V. VI. P. 368–94. P. 389.

лософы, так и историки. Сноски, прямые цитаты из источников как характеристики исторической риторики стали предметом исследования. “В то время как Мондельбаум пробовал защищаться от релятивизма, дискредитируя нарративизм, Хекстер попытался защищать познавательный статус нарративов, опасаясь попасть в релятивизм”, — замечает Р. Ванн<sup>1</sup>.

Среди *философов*, чьи идеи по поводу исторических нарративов нашли в историописании самый горячий отклик, прежде всего был Р. Барт. “Исторический дискурс по самой своей структуре... представляет собой в первую очередь идеологическую, точнее, *воображаемую* конструкцию, в том смысле, что воображаемое есть тот язык, которым отправитель дискурса (существо чисто языковое) “заполняет” субъекта высказывания (существо психологическое или идеологическое). Отсюда понятно, почему понятие исторического “факта” нередко у разных мыслителей вызывало к себе недоверие”<sup>2</sup>, — пишет Барт. Он исследовал правомочность исторических фактов. Факт, по Барту, обладает “лишь языковым существованием (как элемент дискурса), но при этом все происходит так, будто его существование — просто “копия” какого-то другого существования, имеющего место во внеструктурной области, в “реальности”<sup>3</sup>.

Исторический дискурс, по Барту, претендует на то, чтобы оперировать только двумя терминами: “означаемым” и “означающим”, скрывая означаемое (исследование историка) под референтом. Исторический дискурс не следует реальности, а “всего лишь обозначает ее, все твердя “это было”<sup>4</sup>. Возникает эффект реальности, и характеристики исторической риторики Хекстера приобретают особое значение. Барт указывает на очевидно незначачие детали, которые часто фигурируют в историописании. Они кажутся “скандальными” со структурной точки зрения и появляются как “роскошь нарратива”. Их функция — служить оружием

---

<sup>1</sup> *Vann Richard T. Turning Linguistic: History and Theory, 1960–1975. P. 55.*

<sup>2</sup> *Барт Р. Дискурс истории // Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003. С. 438.*

<sup>3</sup> Там же. С. 438–439.

<sup>4</sup> Там же. С. 440.

реального против интеллигибельного, как будто существует некоторый бесспорный закон о том, что то, что является реальным, не может означать виртуального и наоборот.

Наррация, как она использовалась классическими историками типа О. Тьерри, стала привилегированным означаемым реального. И этим замыкается парадокс: структура нарратива, которая развилась в мифе и эпосе, стала теперь “сразу знаком и одновременно доказательством реальности”<sup>1</sup>. Но Барт предвидел снижение и, возможно, падение наррации в работе школы “Анналов”, так как ее интерес был сосредоточен гораздо больше на структурах, чем хронологии. С некоторым удовлетворением он заключил: “Историческое повествование умирает потому, что знаком Истории отныне служит не столько реальность, сколько интеллигибельность”<sup>2</sup>.

Позиция Барта вызывает ряд вопросов. Во-первых, что такое исторический реализм? Барт определяет реализм как требование знания о прошлом, как способность историка создать точное устное изображение этого прошлого. Но, по его мнению, это труднодостижимо. Во-вторых, могут ли суждения о прошлом быть полностью интеллигибельны, если их референция к реальным событиям отмечена некой идеологемой? Барт не говорит ничего и об историческом свидетельстве, поэтому неясно, должны ли мы принять за истинную каждую интеллигибельную историю о прошлом? И как мы могли оценивать истинность истории вообще, если бы она была неинтеллигибельна?

Лингвистический поворот в трудах Барта, как пишет Ванн, стал *U-поворотом*. Наррация было все еще отлична от исторической практики, но только постольку, поскольку она осуществлялась как акт воображения. Вопрос об объяснении был взят в скобки, и особенности исторической риторики, которую, подобно Хекстеру, подчеркнули некоторые авторы, были рассмотрены как уловки на пути создания наиболее вводящих в заблуждение текстов. Здесь проблема нарратива была рассмотрена на своего рода *индивидуальном* уровне.

---

<sup>1</sup> Барт Р. Дискурс истории // Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003. С. 441.

<sup>2</sup> Там же.

Обозначенные проблемы привели к тому, что на них обратили внимание *литературные критики*, которые и предприняли первые усилия соединения историописания и литературы.

Франк Кермод, например, читая Гэлли и Данто, отметил, что многое из того, что они сказали об объяснении и последовательном характере нарратива, можно применить к романам не меньше, чем к историческим исследованиям. Более всего его заинтересовало утверждение, что объяснения должны “воплощать некоторое вероятностное представление о мире, принятое историком в соответствии с известными типами объяснения”<sup>1</sup>. Последние для Кермода не были мифическими архетипами, но “редукцией опыта к некоторому гибкому набору существовавших ранее фактов, подобно тому как алфавит редуцирует слова до набора букв или компьютер редуцирует информацию к бинарным терминам или аналогам”. Миф и ритуал нужны историку не более чем материал; “но радикальное требование последовательности, потребность в объяснении все еще с ним, и он не может избегать их типов”<sup>2</sup>.

Почти в то же самое время Фредрик Джеймисон начал исследовать тропы как типы объяснений. Он рассмотрел некоторые аспекты проблемы культурной истории и пришел к выводу, что отношения между культурой и экономикой есть “что-то вроде риторической фигуры, своего рода метафоры, тропа — одна из тех новых поэтических форм, через которую новое историческое сознание, новый тип исторического, синтетического, диалектического мышления играет и выражает себя в резком контрасте со старым статическим аналитическим способом мышления”<sup>3</sup>.

Работы Кермода и Джеймисона вызвали большой интерес философов и историков. Стало очевидно, что литературная теория может быть весьма полезна как инструмент анализа исторических текстов, может стать основной вспомогательной наукой историографии. Во всяком случае ее нельзя больше игнорировать в исторической работе. Но литературная теория бесполезна как теория истории; например, она не может разрешить пробле-

---

<sup>1</sup> *Kermode F. Novel, History and Type // Novel. V. I. 1968. P. 232.*

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Jameson F. T. W. Adorno, or Historical Tropes // Salmagundi. V. III. 1967. P. 5.*

му оптимальной исторической текстовой репрезентации. И хотя некоторые исторические концепции неявно или явно произрастают из литературных теорий и их представлениях об отношениях между прошлым и его репрезентациями, все же использование литературной теории всегда добавляет к прошлому те элементы, введение которых может быть оправдано только на основе требований самой литературной теории, но не на основании требований теории исторической, исторического исследования прошлого.

Наиболее читаемой и спорной среди потока статей об использовании литературной теории в историописании стала работа Хейдена Уайта “Бремя истории”. В ней Уайт критиковал историков за невозможность соответствовать суровости естествознания и образным возможностям литературных работ XX в., радикально пересматривая исследовательские и творческие возможности современной историографии. Он выступил одновременно и как историк, и как философ, и как литературный критик.

Уайт писал, что “единственная причина, почему мы должны изучать вещи скорее в аспекте их прошлого, чем в аспекте настоящего, есть необходимость преобразовать исторические исследования таким способом, чтобы позволить историку позитивно участвовать в освобождении настоящего от *бремени истории*”. Это требует признания со стороны историков того, что исторические “факты” не столько “обнаруживаются”, сколько “конструируются” теми видами вопросов, которыми исследователь вопрошает о феноменах, лежащих перед ним<sup>1</sup>. Но в это время Уайт еще не присоединился к нарративистам. Он полагал, что нарратив есть только один из возможных способов исторической репрезентации, и был склонен поддерживать конструктивизм, который поможет историкам избежать радикального релятивизма. Объяснение, по его мнению, должно быть “рассмотрено исключительно в терминах богатства метафор, которые управляют последовательностью его артикуляции. Предусмотренная таким образом базовая метафора исторического исследования могла бы быть понята как *эвристическое правило, которое самосознательно устраняет некоторые виды данных из рассмотрения их в качестве свидетельств*. Историк,

---

<sup>1</sup> White H. The Burden of History // History and Theory. V. V. 1966; см. также: Tropics of Discourse Baltimore, 1978. P. 130.

оперирующий такой концепцией, мог бы таким образом, подобно современному художнику и ученому, стремиться эксплуатировать такую перспективу на мир, которая не претендует исчерпать дескрипцию или анализ всех данных в полной феноменальной области, а скорее предлагает себя как *один путь среди многих других путей* раскрытия некоторых аспектов исследуемой области”<sup>1</sup>.

Работа “Время истории” заявила программу преобразования историографической практики, которая полностью была выполнена в “Метаистории”. В этой программе обсуждение познавательного статуса нарративов предстало в новом свете. Уайт расширил определение и понимание природы нарратива. Он утверждал, что нарратив “есть литературная форма, в которой голос рассказчика возвышается на фоне невежества, непонимания или забвения, чтобы направить наше внимание к особому сегменту опыта, организованного специфическим способом”<sup>2</sup>. Иными словами, нет необходимости в строгом соблюдении императива конструирования нарратива по принципу “начало, середина, конец”. Исторические нарративы являются не только процессуальной стороной событий, ведь они организовали бы просто хронику, в которой любое событие было бы описано или как начало, или как конец. Тут дело в *сюжете*. Отношение сюжета и истории подобно отношению теории и свидетельства; сюжеты объясняют свидетельство, организованное как история, идентифицируя эту историю как принадлежащую к некоторому классу историй. Сюжеты, таким образом, не объясняют события, они объясняют историю. Уайт заключил, что только уровень нарративов позволяет, говоря языком Минка, осуществлять конфигуративное понимание того, что аргументы историка должны быть поняты и на теоретическом уровне, и на уровне сюжетного понимания<sup>3</sup>.

В отличие от тех, кто говорил о “тюрьме языка”, Уайт задумал анализ тропов и сюжетов историографии как освобождение языка. Он попытался показать, что историк свободен применить любой троп, любой способ “осюжетивания” истории, любой стиль объяс-

---

<sup>1</sup> White H. The Burden of History // History and Theory. V. V. 1966; см. также: Tropics of Discourse Baltimore, 1978. P. 126.

<sup>2</sup> White H. The Structure of Narrative // Clio. V. I. 1972. P. 13.

<sup>3</sup> Ibid. P. 15–19.

нения или любую форму идеологии. В отличие от позиции аналитической философии истории, согласно которой историк есть служащий языка, по Уайту, язык должен быть служащим историка.

Уайт, таким образом, завершил лингвистический поворот в историописании на уровне исторической работы в целом. Мы рассмотрели траекторию этого поворота от лексического уровня *via* индивидуальный к общему. Но на этом последнем стала формироваться тенденция понимать исторические работы не как собственно исторические, а как произведения искусства. Возникло множество проблем, которые беспокоили всех историков, кто не был подготовлен к тому, чтобы разрушить любое различие между историческими и фикциональными нарративами или принять за факт, что из некоторого набора событий может получиться неопределенно много истинных историй.

Чрезвычайно сложно было сохранять смысл прошлого как *wie es eigentlich gewesen*, основываясь на тезисах риторического характера исторического нарратива. Правила исторической риторики Хекстера были попыткой соединить их вместе. Уайт тоже обращался к некоторым данным и событиям, которые “действительно случились”, в противоположность фикциональным. Он признавал, что об одних и тех же событиях можно рассказать множество как истинных, так и ложных историй, но не сказал ничего о том, как историки могли бы увидеть их различие. Поэтому некоторые философы, такие как Мондельбаум, подтвердили свои опасения, увидев в нарративизме мощный источник релятивизма в исторических исследованиях. Но в конце концов точки зрения на предмет определяют не только поле возможностей и методологию исследований, но и горизонты релевантности концепций. “Историк может плодотворно творить... только тогда, когда две линии — освоение теоретического материала гуманистики, ее эпистемологии и методологии, с одной стороны, и анализ новых проблем, которые подсказывают сами источники, с другой, — смыкаются и создается некое поле напряжения, в котором можно работать”, — писал А. Я. Гуревич<sup>1</sup>. Очерченные источники лингвистического поворо-

---

<sup>1</sup> Гуревич А. Я. Подводя итоги: теория и практика исторического познания. Сквозь призму индивидуального опыта ученого XX столетия // XX век. Методологические проблемы исторического познания. М., 2001. С. 61.



та в историописании (аналитическая философия истории, модель истории науки Т. Куна, эстетический историзм Х. Уайта, правила исторической риторики Хекстера и других историков, концепции исторического дискурса Р. Барта и размышления об истории литературных критиков) привели к формированию новой парадигмы историописания, определяющей правила исторической работы в последние 20 лет.

### 2.3. Лингвистический поворот в философии истории<sup>1</sup>

Строго говоря, лингвистический поворот можно разделить на три сегмента:

1) “*малый*” лингвистический поворот, который фокусирует внимание на языке объекта исторического исследования, примером чему служит так называемая *история снизу* (*history from below*);

2) *риторический* лингвистический поворот, фокусирующий внимание на использовании риторики в историописании;

3) *нарративный* лингвистический поворот — переосмысление сущности и функций исторического нарратива.

В XX в. идеи риторического поворота в историописании были сформулированы в работах Кеннета Бёрка, С. Пеппера и Н. Фрая. Указанные авторы использовали идеи М. Бахтина о тексте как всеобщей форме диалога (полифония контекстов, мениппея, карнавал). Лингвистические риторические теории в области исторического знания происходят в значительной части и от идей Фердинанда де Соссюра. Нарративный поворот начался с идей Гемпеля о модели охватывающего закона, Дрея о рациональном решении, Гэлли о феномене прослеживания истории, Данто о противопоставлении историка и Идеального Хрониста, Минка о конфигуративном понимании, идей Кроче, Карло Энтони, П. Рикёра, и завершился в трудах Х. Уайта, Д. Ла Капры, Х. Кёллнера, Ф. Анкерсмита. Если в риторическом лингвистическом повороте акцентировано понятие “сюжет” (*plot*), то в нарративном лингвистическом

---

<sup>1</sup> Кукарцева М. А. Лингвистический поворот в историописании: эволюция, сущность и основные принципы // Вопросы философии. 2006. № 4. С. 44–55.

повороте акцентировано понятие “сюжетность” (*emplotment*). Риторический и нарративный повороты связаны между собой, хотя и могут быть выделены как *идеальные типы*.

В истории **сущность лингвистического поворота** заключается в установлении отношения взаимного отображения уровней “*принуждения опытом*” (*эмпиризм*) и “*принуждения языком*” (*лингвистика*)<sup>1</sup>. В связи с лингвистическим поворотом историки стали понимать, что использование языка в их профессии не ограничивается только “говорением” о реальности (в терминологии Рорти — “знанием о (чем-то)”), но и приводит к появлению феномена “говорения о говорении” (по Рорти — “знание, что”, “знание, как”).

На уровне “говорения” историк *описывает* прошлое в терминах отдельных утверждений об исторических событиях, обстоятельствах, каузальных цепочках и т. д. Это — одна сторона исторического текста. Здесь историк подчиняется принуждению опытом. Другая сторона образует уровень, где происходит обсуждение того, какая именно часть языка (то есть какой исторический текст) *репрезентирует* исследуемую часть прошлого лучше всего или лучше всего соответствует этой части прошлой реальности; какую *дефиницию* лучше всего дать некоей исторической концепции, чтобы получить оптимальное понимание искомой части прошлого. Здесь историк подчиняется принуждению языком.

Уровень “говорения о говорении” означает, что в историописании существуют различные языки для рассуждения об исторической реальности. Эти языки могут выступать в качестве идеальных конструкций, но в реальной историографической практике они, как правило, взаимодополнительны. Значения слов на этих различных языках не всегда точно соответствуют друг другу, но это не является аргументом против возможности выражения истины ни на одном из этих языков. *Истинные* представления о прошлом часто происходят не от установленного эмпирического факта, а от языка, используемого или предложенного историком. Лингвистический поворот показывает историку, что в языке

---

<sup>1</sup> Термины предложены Ф. Анкерсмитом. См. об этом: *Ankersmit F. R. From language to experience // Sublime Historical Experience. Stanford Univ. Press, Stanford, California, 2005. P. 69–107.*

(в концепциях, словарях, метафорах) можно выявить различные значения и нужно использовать эти значения, чтобы избежать трюизмов и приблизиться к тем истинам, которые углубляют наше понимание прошлого.

В соответствии с подобным положением вещей распределяются *функции* исторической дескрипции и исторической репрезентации. Их подробно анализирует, например, Ф. Анкерсмит. Уровню “говорения” (принуждения опытом) соответствует дескрипция. Если рассматривать исторический текст как сумму дескрипций, то мы будем скользить только по его поверхности; он даст нам правильные описания прошлого, но не передаст индивидуальность искомого периода. *Центральная же проблема исторической теории — это вопрос о том, как историк репрезентирует прошлую реальность.* Репрезентация — уровень “говорения о”, уровень заверщенного исторического текста, значение которого выявлено через вчувствование в язык, например через рассмотрение ткани ассоциаций, определяющей значение предложенных терминов и дефиниций. Здесь отдельные суждения историка не могут оцениваться изолировано от других (см. гипотезу Дюгема — Куайна). Здесь только сам исторический текст имеет значение.

“Репрезентация заставляет реальность развернуть себя в бесконечность ее различных слоев; реальность кротко приспособливает себя к любым нашим решениям. Это проникновение в природу репрезентации может быть объяснено, если мы признаем, что вся репрезентация должна удовлетворять некоторым правилам, критериям или стандартам масштаба, связности и последовательности; но эти правила и прочее проживают их жизнь исключительно в мире репрезентации, но не репрезентированного”<sup>1</sup>.

Репрезентация часто составляется из дескрипций, но дескрипции обладают логическим приоритетом над репрезентаци-

---

<sup>1</sup> *Ankersmit F. R. The Linguistic Turn, Literary Theory and Historical Theory // Historical Representation. N.Y., 1998. P. 26; Ankersmit F. The Case of Richard Rorty. Anti-representationalism // Sublime Historical Experience. Stanford Univ. Press, Stanford, California, 2005. P. 21–29. См. также статью Эдит Вышгород о сущности репрезентации: Wyschogrod E. Representation, Narrative and the Historian’s Promise. The Ethics of History. Northwestern University Press, Evanston, Illinois, 2004. P. 28–42.*

ей, потому что в дескрипции всегда можно различить референта. В репрезентации его нет. Никогда нельзя с абсолютной точностью определить в историческом тексте то, что относится исключительно к репрезентированной реальности (как это возможно в дескрипции) и то, что *приписано* ей историком. Репрезентация есть всегда репрезентация *об этой* реальности. Феномен “*об этом*”, считает Анкерсмит, “предоставляет нам “логическое пространство”, в пределах которого историческое мышление и историческое суждение являются возможными; там, где место принципа “об этом” занимает референт, историческое понимание уходит, и его место занимает наука”<sup>1</sup>. Поэтому в историописании лучше всегда искать альтернативный термин и избегать использовать слово “референт”, хотя в историческом тексте референт и предикат всегда связаны.

Напомним, что любой текст вообще есть двухслойная система, включающая в себя отношение *текст — образ* (языковую форму текста, соотносящую форму и содержание и называемую планом выражения) и отношение *текст — смысл* (смысловое содержание текста, называемое планом содержания)<sup>2</sup>. *План выражения* есть рассмотрение текста как языкового явления, в этом смысле он формируется как семантико-синтаксическая система, и интерпретационные возможности его весьма велики. В историописании это уровень исторической репрезентации. В данном случае текст исследуется одновременно как иерархия смыслов и как последовательность знаков. *План содержания* текста — уровень исторической дескрипции. Он всегда детерминирует план выражения текста. Тексту только тогда сообщается целостность, когда в совокупности его знаков появляется смысл. План содержания текста как прагматико-семантическая система не только делает

---

<sup>1</sup> *Ankersmit F. R. The Linguistic Turn, Literary Theory and Historical Theory // Historical Representation. N.Y., 1998. P. 26; Ankersmit F. The Case of Richard Rorty. Anti-representationalism // Sublime Historical Experience. Stanford Univ. Press, Stanford, California, 2005. P. 21–29.* См. также статью Эдит Вышгород о сущности репрезентации: *Wyschogrod E. Representation, Narrative and the Historian’s Promise. The Ethics of History. Northwestern University Press, Evanston, Illinois, 2004. С. 29.*

<sup>2</sup> *Дмитревская И. В. Текст как система. Иваново, 1996. С. 38–39.*

текст осмысленным, он делает его знанием. Здесь возникает проблема соотношения текста и реальности, отношение *текст — реальность*, в нашем случае — соотношение объективной исторической реальности и реальности текста исторического нарратива. Лингвистический поворот понимает нарратив преимущественно как план выражения текста, концентрируя внимание на отыскании максимально эффективного соотношения формы и содержания и апеллируя к необходимости эстетико-художественного восприятия истории. Чрезмерное увлечение исследованием плана выражения текста (риторики) снижает степень осмысленности, а следовательно, понимания текста.

Анкерсмит относит дескрипцию к теории и абстракции, а репрезентацию — к практике. Он считает, что, к примеру, младенцы обладают способностью различать формы самой реальности и *репрезентировать их*, но не умеют их описать. “Пока реальность не репрезентирована, мы остаемся частью ее и не можем придавать никого содержания понятию реальности. Мы можем только тогда иметь концепт реальности, когда находимся с реальностью в некоторых отношениях, а это требует, чтобы мы находились вне ее. Реальность существует только тогда, когда мы противоположны ей”<sup>1</sup>. В историописании историк фактически всегда движется от уровня дескрипции (принуждения опытом) к уровню репрезентации (принуждению языком) и в этом — *парадокс историописания*, выявленный лингвистическим поворотом. В историописании, говорит Анкерсмит, “мы сталкиваемся с движением вниз, от интерсубъективной поверхности в более глубокие слои”<sup>2</sup>. Это входит в противоречие с известным положением Ю. Хабермаса о двух этапах лингвистического поворота: репрезентативном и коммуникативном. На первом этапе абсолютизируется репрезентативная функция языка с ее возможностью оперировать грамматическими структурами; на втором этапе ключевым становится “интерсубъективное отношение, в которое вступают способные к

---

<sup>1</sup> Анкерсмит Ф. Историческая репрезентация // История и топология взлет и падение метафоры. С. 240.

<sup>2</sup> Ankersmit F. The Linguistic Turn, Literary Theory and Historical Theory // Historical Representation. Standford, 2001. P. 27.

речи субъекты поведения, достигающие согласия между собой относительно того или иного компонента реальности”<sup>1</sup>.

Однако Анкерсмит считает, что возможности исторической репрезентации не исчерпываются ни грамматикой, ни интересубъективностью. Историк прорывается сквозь поверхность, данную интересубъективно, и вступает в более глубокие уровни исторической реальности. При этом нет никакой отметки, где он должен остановиться или принять решение двинуться глубже. Но сама репрезентация объективно привязана к определенным слоям реальности, сквозь и дальше которых она не способна проникнуть. Особенность исторической репрезентации состоит в том, что она связана с пропозициональной установкой историка, который *верит*, что репрезентация рассматриваемого исторического явления, события, периода и т. д. разумна и правдоподобна. Он может не иметь серьезных эмпирических оснований для этой веры, но он все-таки верит в то, что рассматриваемая репрезентация есть лучший способ соединения языка (исторического текста) и некоего аспекта исторической реальности. Отсюда то, что приписывается этому явлению, событию или периоду, будет истинно на основе того *значения*, которое данная репрезентация предлагает ему придать. В этом случае и в этом смысле исторический текст не имеет референта, он — результат взаимного отображения уровней “говорения” (описания) и “говорения о говорении” (репрезентации): с одной стороны, вера историка оправдана описаниями прошлого, а с другой — его убеждением в том, что именно эта часть языка лучше всего корреспондирует с определенной частью реальности. Поэтому историк должен придерживаться своего рода “среднего пути” между попытками эмпириков втиснуть всю историческую репрезентацию в прокрустово ложе описания и дерридовскими идеями по поводу того, что язык репрезентации вносит свой собственный вклад в дело исторического понимания. Историк обязан видеть плюсы и минусы и тех и других. Для этого ему необходимо понять, что язык есть своего рода момент эпистемо-

---

<sup>1</sup> *Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns.* Цит. по: Фурс В. Коммуникативно-теоретическая модификация философской рациональности в концепции Юргена Хабермаса // *Философия эпохи постмодерна: Сб. переводов и рефератов.* Мн., 1996. С. 102.

логии, то есть эпистемологическая проблема того, *как* в каком-то определенном случае лучше всего связать язык и реальность. По Анкерсмицу, это затруднение можно назвать *проблемой эпистемологического промежутка* в соотношении между языком и миром. Применительно к историописанию указанный промежуток можно рассмотреть как с точки зрения *философии языка*, так и с точки зрения *литературной теории*.

Философия языка этот промежуток проблематизирует. Именно он является для философии языка источником всех тайн референции, значения и истины. Для философии языка утверждение, что язык есть вещь, требует решения эпистемологических вопросов о том, как язык (историка) связан с изучаемой им (текстовой) реальностью<sup>1</sup>. Литературная теория не проблематизирует промежуток “язык / реальность”. Для литературоведа утверждение, что текст есть вещь или объект, не провокационно. Он и так исследует тексты как вещи, и его не интересует вопрос об отношениях между текстом — объектом исследования и языком, который используется им, чтобы выразить результаты своего исследования. Если рассматривать лингвистический поворот с точки зрения литературной теории, то здесь, как полагает Ф. Анкерсмит, ключевым словом оказывается *форма*.

Известно, что форма всегда определена ее содержанием, а любое содержание автоматически порождает соответствующую ему форму. Но важно понимать, что термин “форма” придает связность тому, что было только *простым содержанием*; благодаря *форме* хаотическая масса данных о прошлом организуется в распознаваемое *целое*. Только если историческое содержание *обеспечено формой*, оно может быть обработано в практике исторического исследования. При этом “кожа” формы должна быть бесконечно тонка и не добавлять ничего к тому, что находится в пределах данного содержания, должна быть способна с абсолютной непринужденностью и гибкостью приспособливаться к каждому индивидуальному содержанию.

Иными словами, форма не должна быть сама по себе материальной, как это имеет место, например, в тропологии Уайта. Со-

---

<sup>1</sup> См.: Danto A. The Transfiguration of the Commonplace. Cambridge (Ma), 1981. Chapter 7.

гласно последней, работа историка (создание нарратива) неизбежно будет принимать одну из четырех форм: комедии, трагедии, романа или сатиры. Любое усилие со стороны историков избежать этого обречено на неудачу, так как ими исчерпываются возможные формы нарративов.

Таким образом, Уайт помещает историка в *закрытый* мир установленных форм. А вот деконструктивизм, напротив, *открыл* этот мир, предложив операцию введения радикальной текстовой двусмысленности и даже многосмыслицы: “Деконструктивизм допускает факт того, что содержание истории, подобно таковому же в литературе, во многом определено природой языка...”<sup>1</sup>. Анкерсмит указывает на два важных значения деконструктивистского вмешательства в историописание. Во-первых, оно обладает способностью обнаруживать некие скрытые значения в тексте историка и показывать то, чем именно, кроме известного, может быть интересен этот текст, во-вторых, деконструктивизм не задумывается о правдоподобии этих новых представлений о прошлом. Поэтому вопрос о полезности деконструктивистского вмешательства в историописание остается открытым.

Анкерсмит утверждает, что именно форма обозначает те аспекты репрезентированного, которые точно соответствуют специфике репрезентации реальности, заданной в соответствии с некоторой исторической концепцией последней. Он предлагает следующую формулу: *исторические понятия есть лингвистические копии форм самой реальности, то есть формы реальности (предметности) есть лингвистические формы (исторические понятия)*. Лингвистическая форма есть значение таких исторических понятий, как “Античность”, “Ренессанс”, “Просвещение” и др. Она была изобретена историками для того, чтобы придать смысл и значение определенной части прошлого. При этом данное значение существует в виде некоего *общего термина*, в силу которого все заинтересованные лица при употреблении данного понятия сразу понимают, о чем именно идет речь.

Однако историческая работа и прогресс в историческом понимании были бы невозможны, если бы каждый знал то, что такое было (к примеру, какой термин относится к Просвещению, а

---

<sup>1</sup> *Munslow D.* Deconstructing History. New York. 1997. P. 18, 19.



какой нет). Поэтому существует множество *индивидуальных значений*, благодаря которым образуются нюансы этих исторических понятий. Например, существуют французское, английское, русское Просвещение. При этом *каждая* историческая оценка Просвещения истинна, так как может быть логически получена из того, каким образом рассматриваемый историк предлагает определить Просвещение<sup>1</sup>. Определенная дефиниция Просвещения может дать историку больше информации о том, что является важным в определенном периоде, чем другое конкурирующее определение.

При этом важно понимать, что формы реальности не прямо детерминируют лингвистическую форму. Репрезентация имеет собственные законы своего формирования и тут важен такой момент. С одной стороны, репрезентация не должна ничего добавлять к реальности или знанию о ней; в идеале она как метод исследования прошлого должна быть бесстрастной. “Репрезентация... имеет дело с миром, только каким он *есть* или *был*”<sup>2</sup>. Но с другой стороны, она добавляет к картине реальности все, в чем нуждается историк для более полного познания прошлого. Поэтому во взаимодействии между лингвистической формой и формой реальности язык и реальность как бы совпадают друг с другом, поэтому именно историческая репрезентация, а не историческая дескрипция делает нас ближе к миру истории.

Лингвистический поворот стал одной из программ преобразования историографической практики, предложенных философией истории XX в. В работе Уайта “Метаистория”, в которой этот поворот завершен, термин “лингвистический поворот” не упоминается. Не упоминается он и в его последующих работах. Объяснение заключается в том, что Уайт видел свой главный источник вдохновения не в философии языка, а в литературной теории, и именно она стала ключевым моментом указанной программы.

Большинство последователей Уайта или просто независимых исследователей проблем историописания XX в., таких как Х. Кёллнер, Д. Ла Капра, Л. Госсман, Линда Орр и др., также предпочитают говорить не о лингвистическом повороте, а о новой философии

---

<sup>1</sup> См.: *Ankersmit F. Narrative Logic. A Semantic Analysis of the Historian's Language. The Hague/Boston 1983. 140 ff.*; *Анкерсмит Ф. Нарративная логика. Семантический анализ языка историка. М., 2003. С. 200.*

<sup>2</sup> *Анкерсмит Ф. Историческая репрезентация. С. 224.*

истории. Основные принципы этой философии акцентируют внимание на *чтении* исторического текста<sup>1</sup>. Способ чтения подразумевает способ письма, и наоборот. Если меняется способ чтения, то меняется и письмо истории, в результате чего исторические работы приобретают различные формы. С точки зрения лингвистического поворота проблема историографии состоит в том, чтобы соединить письмо и чтение и попытаться определить основные способы придания значения историческим текстам. Текст — это центр исторической работы. Новая философия истории постулирует неочевидность и непрозрачность исторического текста, что ведет к концентрации внимания автора и читателя на амбивалентностях, двусмысленностях текста, межтекстовых резонансах. Разобраться в них можно только с помощью эпистемологических установок философии языка. Поэтому новая философия истории имеет и другое название — лингвистическая. В конце концов, точки зрения на предмет определяют поле возможностей, методологию исследований и горизонты релевантности концепций.

## 2.4. Хейден Уайт и исторические исследования XX века<sup>2</sup>

**Формирование интеллектуальных позиций в профессии.** Хейден Уайт родился в г. Мартине (штат Теннесси) в 1928 г. Спустя несколько лет его родители переехали в Детройт. Переход от закрытой местечковой деревенской культуры жизни Юга США, которую Уайт хорошо запомнил, к культуре большого, динамичного, многонационального города оказал немалое влияние на формирование взглядов на мир. В 1947 г. Хейден поступил в университет Уэйна (в то время — Городской колледж Детройта (City College of Detroit)). Круг людей, образовавшийся вокруг Уильяма Боссенбрука, преподавателя Уайта по истории, во многом сформировал мыслительный универсум Хейдена. Влияние самого Боссенбрука на некоторые *особенности научного мышления и методоло-*

---

<sup>1</sup>См.: *La Capra D. History, Language and Reading: Waiting for Crillon // History and Theory: Contemporary Readings; ed. V. Fay, P. Pomper, R. Vann. Oxford, 1998. P. 96.*

<sup>2</sup>*Кукарцева М. А. Хейден Уайт и практика исторических исследований XX века // Диалог со временем. Вып. 24. М., 2008. С. 5–34.*

гии исследований Уайта можно назвать определяющим<sup>1</sup>. Например, он следовал исследовательскому приему Боссенбрука интерпретировать исторический объект (а не только излагать факты) и одновременно давать унифицированный образ этого объекта. А. Мегилл называет этот прием встречей интерпретационизма и эссенциализма в исторических исследованиях, в большинстве случаев приводящей к коллапсу последних. Указанная противоречивость отражает ситуацию в американской исторической науке и критике последних 40 лет. Впоследствии Уайту удалось трансформировать эти противоположности во вполне креативный, хотя и спорный подход к исследованию истории, который мы считаем возможным назвать риторико-спекулятивным.

Интересы Уайта как историка и философа истории сформировались в основном под влиянием двух человек: Л. Бека из университета Рочестера в Нью-Йорке, где некоторое время работал Х. Уайт, и Л. Минка. Кантовед Бек занимался философией истории Канта. Уайт разделял многие его идеи и считал себя кантианцем в вопросах исследования истории и культуры. Поворот Уайта к исследованию нарратива был инспирирован Луисом Минком, в частности его известной работой о Коллингвуде<sup>2</sup>.

На формирование *общих теоретических позиций* Уайта как философа и литературного критика в первую очередь повлияли идеи Д. Вико и концепция мимезиса Ауэрбаха. Кроме того, он очень многое почерпнул из экзистенциализма, интересовался Сартром, в частности его интерпретацией проблемы выбора<sup>3</sup>. “Источникам

---

<sup>1</sup> *Bossenbrook W. J.* The German Mind. Detroit: Wayne State University Press, 1961. Интересно, что кроме Уайта студентом Боссенбрука был и Данто, учившийся на несколько курсов старше. В предисловии к “Аналитической философии истории” Данто писал: “Лекции Боссенбрука по истории... пробудили во мне и в целом поколении студентов интерес к миру разума...”. См.: *Данто А.* Аналитическая философия истории. М., 2001. С. 8.

<sup>2</sup> *Mink L. O.* Mind, History and Dialectic: The Philosophy of R. G. Collingwood. The Hague: Martinus Nijhoff, 1967.

<sup>3</sup> *Kellner H., A. Bedrock. of Order.* Hayden White’s Linguistic Humanism // Language and Historical Representation: Getting the History Crooked. Un. of Wisconsin Press, Madison and London, 1989. P. 193–227; см. также: *Hendrik Jan Paul.* Masks of Meaning. Existentialist Humanism in Hayden White’s Philosophy of History. Groningen, 2006.

моего вдохновения были Кроче и Коллингвуд, поскольку они задавали такие вопросы, которые многим историкам было просто не под силу поставить, а именно о том, почему мы изучаем историю. После окончания университета Мичигана я работал вместе с Морисом Мондельбаумом, который был в то время единственным человеком в США, изучавшим философию истории... Весьма важен для меня Хёйзинга, так как его интересовало то, как мы пишем историю. Я полагаю, что все эти великие историки делали и историю, и философию истории”, — отмечал Уайт<sup>1</sup>.

Уайт неплохо знал работы Р. Барта и М. Фуко. О Барте Уайт никогда много не писал, но считал его “величайшим и наиболее изобретательным критиком послевоенного периода на Западе”<sup>2</sup>. А вот о Фуко Уайт писал много, он прочитал его книги еще до их перевода на английский язык, и они стали для Уайта своего рода лакмусовой бумажкой его собственных идей. Несколько сверстников Уайта (Л. Госсман, Боб Берхофер, Нэнси Струвер) стали его единомышленниками. В определенной мере к ним можно отнести и Ф. Анкерсмита. Ряд студентов Уайта, Ханс Кёллнер, Сэнди Кохен, а также более молодое поколение (к примеру, Анн Ригней из Утрехта) продолжили развивать предложенные им концепции. Сегодня Уайт — профессор факультета истории сознания Университета Калифорнии (Санта Круз) в отставке, на пенсии, встречается со студентами и коллегами нечасто. Но его идеи и работы продолжают оставаться одними из самых обсуждаемых в мировой философско-исторической мысли, но малоизвестными широкому кругу читателей.

Ранние работы Уайта, начиная с 1950-х гг. (в частности, диссертация на соискание степени Ph.D.), а также работы, написанные в 1960-х гг., были посвящены медиевистике. Многие из них сейчас забыты, но именно они дают возможность точнее понять те идеи Уайта, которые в конечном итоге сделали его знаменитым.

В медиевистский период своего творчества Уайт был убежденным сторонником соционаучного, как он сам это называл, или

---

<sup>1</sup> Domanska E. Hayden White // Encounters. Philosophy of History after Postmodernism. Univ. of Virginia press: Charlottesville and London, 1998. P. 18.

<sup>2</sup> Ibid. P. 32.

социологического исследования исторических объектов. В статье 1958 г. “Понтий Ключийский, Curia Romana и конец григорианства в Риме”, подготовленной на основе его Ph.D. диссертации, Уайт поставил цель, во-первых, объективно, вне апологетических тенденций католической и протестантской историографии, проанализировать историю папской схизмы 1130 г. и на этом основании предложить альтернативную интерпретацию уже известных фактов. Во-вторых, исследовать церковные споры так же, как “социолог исследовал бы политическую революцию”, то есть в контексте групповых интересов и борьбы за власть, следуя концепциям “идеальных типов” Вебера<sup>1</sup>.

Папская схизма, по мнению Уайта, была “институциональным выражением... идеологического раскола” в Римской курии. Эта идея Уайта была встречена резкой критикой. Основное возражение сводилось к тому, что Уайт использовал веберовские типы не как эвристический инструмент, а как дескриптивные термины и описал не сами исторические реальности, а идеологии, ими выработанные. Херман Пол указывает на то, что Уайт сделал это сознательно<sup>2</sup>. Он предложил своего рода модель охватывающего закона (идея, которой была разработана К. Гемпелем): харизматические лидеры церкви, сменив бюрократических, рационализировали и институализировали свою позицию, теряли в результате харизму и тоже создавали бюрократические структуры. Так круг замыкался и повторялся вновь и вновь. Уайт назвал это *универсальной эмпирической гипотезой*, которая может быть применима в том числе и к объяснению ряда событий истории XX в. Предложенная им позже в “Метаистории” тропологическая идея перехода исторического дискурса от метафоры к иронии представляет собой вариант такой же эволюционной схемы.

В те годы Уайт считал, что найденный им закон существует не только в нарративе, но и в самом прошлом, потому что всегда люди действуют в соответствии с нормами и ценностями своей группы. Идеология служит объяснением того, почему люди

---

<sup>1</sup> White H. V. Pontius of Cluny, the Curia Romana and the end of Gregorianism in Rome // Church History. 27. 1958. P. 195–219.

<sup>2</sup> Paul H. A Weberian Medievalist: Hayden White in the 1950-s // Rethinking History. 2007. P. 54.

поступают и мыслят определенным образом. При этом верования и убеждения людей, по мнению Уайта, должны соответствовать эмпирически познанному и имеющему научное объяснение миру. Он подчеркивал это в ряде статей, посвященных анализу специфики самой истории как научной дисциплины<sup>1</sup>. Но уже в этих статьях Уайт постепенно начинает немного отходить от безоговорочного следования социологическому подходу к истории и сближаться с версией историзма, предложенного Кроче.

В 1959 г. он перевел с итальянского книгу К. Антони “От истории к социологии: развитие немецкого исторического мышления”. Во введении к книге он выделил четыре идеальных типа немецкого исторического мышления: “объективную историю” Ранке, метафизический историзм Гегеля, натуралистический историзм Вебера и эстетический историзм Ницше и Буркхардта, впервые выразив сомнение в адекватности натуралистического историзма<sup>2</sup>. По мнению Уайта, последний не учитывает свободы и персональной ответственности исторического агента и представляет историю в виде безличного механизма смены типов цивилизации и обществ. Уайту начинал импонировать эстетический историзм с его постулатами “индивидуальной человеческой креативности”, “всеобщей человеческой ответственности” и чувствительностью к “сложностям жизни”<sup>3</sup>. Тем не менее неустранимая склонность Уайта к построению а-исторических типологий, которую он унаследовал от Боссенбрука и веберовской социологии и которую он сам будет критиковать в работах других историков как морально-иррелевантную исторической дисциплине, всегда будет проглядывать в его риторико-спекулятивном подходе. “Даже если в долгосрочной перспективе Уайтовы экзистенциалистские симпатии станут более адекватным ключом к его философии истории, чем

---

<sup>1</sup> *White H.* Collingwood and Toynbee: Transitions in English Historical Thought. English Miscellany. 7. 1956. P. 147–78; *White H.* Religion, Culture and Western Civilization in Christopher Dawson’s Idea of History. English Miscellany. 9. 1958. P. 247–87; *Idem.* The Abiding Relevance of Croce’s Idea of History. Journal of Modern History. 35. 1963. P. 109–24.

<sup>2</sup> *White H.* Translator’s Introduction // *Antoni C.* From History to Sociology: The Transition of German Historical Thinking, trans. by H. White. Wayne Univ. Press, Detroit, 1959.

<sup>3</sup> *Ibid.* P. XXII.

его приверженность Веберу, в веберинский период Уайт впервые сформулировал те метафизические идеи, которые стали путеводителем по всему его творчеству”<sup>1</sup>.

**Время истории.** В качестве первой по-настоящему важной теоретической работы Уайта большинство исследователей считают его эссе “Время истории” о социальной или культурной функции истории, одно из наиболее неортодоксальных сочинений, когда-либо появлявшихся в исторической науке. Но, по собственному признанию Уайта, “это был просто другой угол обзора позиций по отношению к истории”<sup>2</sup>. Этот угол обзора заключался в том, что историк должен быть и ученым, и литератором одновременно и именно в этом — сложность положения историка. “Попытка решать эту дилемму, жертвуя одним типом истины для другого, означала бы конец историописания и отняла бы у нас необходимый инструмент для лучшего понимания того социального мира, в котором мы живем”<sup>3</sup>, — подчеркнул позже Ф. Анкерсмит.

Уайт писал, что историки согласны с тем, что история не может быть чистой наукой, что она в равной мере зависит и от аналитических методов, и от интуитивных инсайтов. Но и быть чистым искусством история тоже не может, так как исторические данные неподвластны художественной манипуляции ими. Он писал, что форма исторических нарративов не является предметом художественного выбора, а обеспечивается самой природой исторических документов, в связи с чем историк занимает (во всяком случае, занимал в XIX в.) “эпистемологически нейтральную территорию, которая предположительно лежит между историей и искусством”<sup>4</sup>. При этом историк выступает своего рода медиатором между двумя разными способами познания мира. Это ста-

---

<sup>1</sup> *Hendrik J. P. A Weberian Medievalist: Hayden White in the 1950-s // Rethinking History. P. 76.*

<sup>2</sup> Цит. по: *Domanska E. Hayden White // Encounters. Philosophy of History after Postmodernism. Univ. of Virginia press, Charlottesville and London., 1998. P. 14–15.*

<sup>3</sup> *Ankersmit F. The Linguistic Turn, Literary Theory and Historical Theory. P. 21.*

<sup>4</sup> *White H. The Burden of History // History and Theory. V. V, 1966; см. также: Tropics of Discourse Baltimore, 1978. P. 111.*

вит историков в трудное положение среди представителей других естественных и социально-гуманитарных дисциплин, так как многие из них не только не хотят признавать историков “своими”, но и само развитие науки, например психологии, приводит к постепенному стиранию границ между искусством и естествознанием, и роль историка как медиатора становится ненужной. Поэтому историк должен стремиться к ассимиляции истории с высшей формой научного исследования, которая не является ни наукой, ни искусством (к примеру, с риторикой). По крайней мере, историк XX в. должен видеть и понимать разницу между собой и историком XIX в., для которого искусством было искусство романтизма, а наукой — позитивизм.

Уайт исследовал причины возникновения чувства враждебности к истории в интеллектуальной жизни конца XIX — начала XX в. Инспирированное идеями Ницше, оно было поддержано в литературе Элиотом, Ибсеном и Андре Жидом, восстание которых против исторического сознания и потеря интереса к прошлому отражены в образах главных героев их произведений<sup>1</sup>. Уайт обращает внимание на то, что накануне Первой мировой войны враждебность к историческому сознанию среди интеллектуалов была повсеместной практически в каждой стране Западной Европы. Но в среде обществоведов этот негативизм был выражен не столь ярко. Они были увлечены идеей создания новой науки о духе: социологи (Дильтей, Макс Вебер и Дюркгейм) пытались объединить историю и науку, а неокантианцы (Виндельбанд и Кассирер) разъединить их, рассмотреть историю как род искусства. Только Кроче пошел дальше и провозгласил историю, понятую как искусство, базисом адекватного понимания современного западного человека.

Вторая мировая война окончательно подорвала престиж истории среди литераторов, искусствоведов и среди представителей естествознания в силу полной неспособности исторической науки того времени объяснить причины начала войны и осмыслить ее итоги. В результате была сформулирована прочная антиисторическая позиция, получившая философское оформление в док-

---

<sup>1</sup> Элиот Дж. Ветер перемен (1871–1872); Ибсен Г. Геда Габлер (1890); Жид А. Имморалист (1902).



трине экзистенциализма. История стала бременем для интеллектуалов, о чем можно прочитать в культовых произведениях того времени: романе Сартра “Тошнота”, повести Камю “Посторонний”, философских эссе Ортеги-и-Гассета и пр.

Историческое прошлое стало частью человеческого сознания: человек выбирает его точно так же, как и свое будущее. Историческое прошлое есть то же самое, что и персональное прошлое, — результат выбора. Уайт полагает, что “*время историков* в наше время заключается не только в восстановлении значения и престижа исторических исследований. Необходимо совместить историописание с целями и задачами интеллектуального сообщества в целом; преобразовать исторические исследования так, чтобы позволить историку позитивно участвовать в освобождении настоящего от *бремени истории*”<sup>1</sup>.

“Как это сделать?”, — спрашивает Уайт и предлагает презентистский и конструктивистский взгляд на историографию, который мог бы помочь историкам избежать радикального релятивизма<sup>2</sup>. Прежде всего он считал, что историку необходимо перестать жить с оглядкой на историческую практику XIX в. — романтизм и позитивизм. Это требует признания того, что исторические факты не столько *обнаруживаются*, сколько *конструируются* теми вопросами, которые задает историк. И для такого конструирования нужно экспериментировать с техникой, предлагаемой современным искусством (сюрреализмом, экспрессионизмом, экзистенциализмом), а также использовать методологию современной социальной науки (теорию игр, ролевой анализ и др.).

Историческое объяснение, по мнению Уайта, должно быть “рассмотрено исключительно в терминах богатства метафор... ведущая роль метафоры в историческом исследовании могла бы быть понята как *эвристическое правило, которое сознательно устраняет некоторые виды данных из рассмотрения их как свидетельства*. Историк, вооруженный такой концепцией, мог бы, подобно современному художнику и ученому, использовать пер-

---

<sup>1</sup> White H. The Burden of History. P. 130.

<sup>2</sup> О конструктивизме, его сущности, вариантах и возможностях в историческом познании см.: Колосов Н. Е. Как думают историки. М., 2001. Гл. 5.

спективу репрезентации... представляющую собой *один из множества способов* раскрытия ряда аспектов исследуемого поля”<sup>1</sup>. Это избавит историка от обвинений в релятивизме и будет означать признание того, что способ репрезентации событий, выбранный историком, позволяет соединять художественные образы с репрезентируемым прошлым — “системой понятий”, по выражению Гомбриха.

Уайт предложил ввести в историческое исследование методологический и стилистический космополитизм, различные эмоциональные и интеллектуальные ориентации. Историки тогда будут вынуждены “признать, что нет никакой такой вещи, как *едиственно* правильный взгляд на любой объект изучения, но есть *много* правильных взглядов, каждый из которых требует его собственного стиля репрезентации”<sup>2</sup>. Не надо искать соответствия между утверждениями о событиях прошлого и некоторыми “сырыми фактами”, потому что “*то, что составляет сами факты*, есть проблема, которую историк, подобно художнику, пробует решать выбором метафоры, с помощью которой он организует его мир, прошлое, настоящее и будущее”<sup>3</sup>. Историка можно только просить “проявить некоторый такт в использовании им базовых метафор: чтобы он не создавал дополнительные трудности ими в обработке данных и не использовал метафоры на пределе их возможностей; чтобы он уважал имплицитную логику того дискурса, которому он решил следовать; и тогда, когда его метафора начинает показывать себя неспособной согласовывать определенные данные, он отказался бы от этой метафоры и искал бы другую, более богатую и более содержательную, чем та, с которой он начал (так ученый отказывается от гипотезы, когда ее дальнейшее использование неплототворно)”<sup>4</sup>.

Метафоры, таким образом, определяют релевантность и оправдывают селективность в исторической работе; с помощью метафор историк, подобно художнику, *составляет сами факты*. Уайт, основываясь на аналогии между метафорой и научной гипоте-

---

<sup>1</sup> White H. The Burden of History. P. 130.

<sup>2</sup> Ibid. P. 131.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

зой, настаивает на конгруэнтности искусства и науки (социальной науки, прежде всего). Можно использовать современные научные и художественные инсайты в исторической практике и избегать радикального релятивизма, ассимиляции истории с пропагандой и пр. Но, как справедливо замечают критики Уайта, трудно все-таки доказать, что ученый в подборе фактов обладает такой же свободой, как и художник в создании своего произведения.

В заключении своей работы Уайт обсуждает вопрос о том, почему и зачем надо изучать прошлое. Он рассматривает фигуру Гегеля в философии, Бальзака в литературе и Токвиля в историографии, которых объединяет интерпретация бремени историков как бремени морального выбора человека на пути к освобождению от бремени истории. Уайт подчеркивает, что эти три мыслителя рассматривали историка не как создателя некоей этической системы, транслируемой в будущие века, а как обремененного специфической задачей пробуждения в человеке знания того, что его настоящее всегда есть часть его выбора в прошлом, и этот выбор в той или иной степени будет стоять и перед другими поколениями. История заставляет человека быть чувствительным к *динамическим* элементам настоящего, то есть позиция историка — это есть и этическая позиция.

В данной идее заметно влияние на Уайта идей Канта. Уайтова позиция по проблеме исторической истины напоминает позицию Канта, она экзистенциальная и этическая. Кант говорил, что мы должны исключить момент абсурда в истории, так как Бог никогда не допустит абсурдного мира. Мы должны выбирать между мирами добра, зла и абсурда, однако мы не имеем *возможности* выбора, так как у нас нет опыта, свидетельства. Поэтому мы следуем тем путем, который ведет нас к тому будущему, которое мы видим как цель — к утопии; будущему, которое хотим и вместе с ним хотим тот тип истории, который отражает это будущее. В XVIII в. Гегель, по мнению Уайта, попытался уйти от исторических сомнений и споров, в XIX в. Ницше обозначил ситуацию исторической иронии и безнадежных усилий выбраться из нее. В XX в. нельзя допустить выбора историком абсурдного мира: историк должен занимать этическую позицию, но его должна интересовать не специфическая связь настоящего и прошлого, а разрывность, дисконтинуитет, хаос — и история должна осмыс-

лить эти феномены с помощью современного искусства и современной науки.

Обозначив эти идеи, Уайт в очерке “Бремя истории” заявил программу преобразования историографической практики, которая была полностью реализована им в фундаментальной работе “Метаистория: историческое воображение в Европе XIX века”. Она неплохо изучена в мировой социально-гуманитарной мысли, особенно философами и литературоведами<sup>1</sup>. Но многим практикующим историкам суть этой работы остается неизвестной. Точнее говоря, не просто неизвестной, а невостребованной, непонятной, слишком сложной и просто неадекватной древней дисциплине. Попробуем немного разобраться в сложившемся положении вещей.

### **Метаистория: историческое воображение в Европе XIX века.**

Уайт считает, что в XIX в. история понималась как особое направление мышления, а историческое сознание — как узкая, хотя и относительно автономная область научных исследований в широком спектре гуманитарных и естественных наук. “Целью моей книги было показать, как нарративное изложение реальности всегда можно представить аллегорическим претворением глубинного структурного содержания — знаковых систем и онтологических позиций”<sup>2</sup>, — писал Уайт.

В “Метаистории” содержится как бы несколько книг сразу. Первая — лаконичная, формалистская теория исторической работы, вторая — размышления о философии истории XIX в., третья — размышления о текстах историков. Ключевая цель Уайта

---

<sup>1</sup> См.: *Roberts D.* Benedetto Croce and the Uses of Historism. Univ. of California press, Berkeley, Los Angeles and London, 1987; *Kellner H.* A Bedrock of Order: Hayden White's Linguistic Humanism // *Language and Historical Representation: Getting the History Crooked*, Un. of Wisconsin Press, Madison and London., 1989; *Jacoby R.* A New Intellectual History? // *AHR*, 1992. V. 97. P. 405–424; *Domanska E.* Hayden White: Beyond Irony // *Metageschichte: Hayden White und Paul Ricoeur: Dargestellte Wirklichkeit in der europaischen Kultur im Kontext von Husserl, Weber, Auerbach und Gombrecht, J. Stuckradt and J. Zbinden eds.* Nomos, Baden-Baden, 1997. P. 104–124; *Roberts D.* The Stakes of Misreading: Hayden White, Carlo Ginzburg and the Crocean Legacy. *Rivista di Studi Italiani*, 2002. V. 20. no 2. P. 1–30; *Hendrik J. P.* Masks of Meaning. Existentialist Humanism in Hayden White's Philosophy of History. Groningen, 2006 и др.

<sup>2</sup> *Уайт Х.* Ответ Иггерсу // *Одиссей. Человек в истории*. М., 2001. С. 156.

в этой работе — восстание против позитивизма, деконструкция мифологемы о том, что история есть наука. Он подчеркивает, что в конце XX столетия задачей историка становится “перевоображение” истории и оно не может быть чисто сознательным отношением к прошлому, это — отношение нашего *воображения* со всеми присущими ему абберациями, иллюзиями и заблуждениями. “Я полагаю, что то, что историки производят, есть прежде всего воображаемые образы, которые функционируют более, чем воспоминание прошлых событий в чем-то отдельном воображении. Поэтому я подчеркиваю подзаголовок моей книги — “историческое воображение”<sup>1</sup>.

Решая задачу трансформации привычной манеры чтения и написания книг по истории путем акцентирования понятия “сюжет”, Уайт выступил как филолог-реформист, следуя дорогой, проложенной Л. Валлой, Вико, Кроче, Ауэрбахом, Фуко, дорогой экзистенциализма Сартра. Применительно к историописанию Уайт утверждал, что ситуация человека определяется его литературными и лингвистическими возможностями; что исторический нарратив, спекулятивная философия истории и исторический роман строятся по одним и тем же правилам и подчиняются им же.

Уайт начинает свое исследование с указания на то, что такие вопросы, как: что значит “мыслить исторически”? что значит “исторический метод мышления”? — в XIX в. весьма активно дебатировались историками и философами, но всегда в контексте молчаливого соглашения о том, что недвусмысленные ответы на эти вопросы будут даны только в будущем. В XIX в. история, считает Уайт, понималась как особое направление мышления, а историческое сознание — как относительно автономная область научных исследований в широком спектре гуманитарных и естественных наук.

Уайт исследует стиль работы историков XIX в. (Мишле, Ранке, Токвиля, Буркхарда) и стиль работы философов истории XIX в. (Гегеля, Маркса, Ницше, Кроче). “Я считаю историческую работу исследованием вербальных структур в форме нарративного прозаического дискурса, что подразумевает возможность наррати-

---

<sup>1</sup> Цит. по: Domanska E. Encounters: Philosophy of History after Post-modernism. Charlottesville: Univ. Press of Virginia, 1998. P. 34.

ва быть моделью прошлых структур и процессов для того, чтобы, репрезентируя их в нарративе, объяснить, чем же в действительности были эти процессы. Мой метод формален. Я не буду, как это делают другие историки, анализировать, что именно в работах историков и философов истории XIX в. хорошо или плохо, соответствуют ли они реальному историческому процессу или нет. Я буду стараться идентифицировать структурные компоненты этих работ”, — отмечает он. Уайт подчеркивает, что теории и концепции анализируемых им мыслителей меньше всего зависят от точного изложения исторических фактов и рефлексии над этими фактами. “Их статус как моделей исторической наррации и концептуализации зависит в конечном счете от преконцептуальной и специфически-поэтической природы их взглядов на историю и ее процессы. Я называю это формалистским подходом к исследованию исторического сознания”<sup>1</sup>.

С этих позиций работы рассматриваемых мыслителей, будучи вербальными структурами, имеют радикально противоположные формальные характеристики, а также обладают концептуальными аппаратами, принципиально разными способами объясняющими исторические факты. Работа одного автора, исследующая, например, изменения фактов и трансформацию исторического процесса, может быть по своей природе диахронной и процессуальной, а работа другого автора, анализирующая факты в их структурной организованности, — синхронной и статичной. “Поэтому, чтобы выявить основные характеристики различных типов исторического мышления, выработанных XIX в., необходимо прежде всего выяснить, из каких идеально-типических структур должна состоять историческая работа”<sup>2</sup>.

Однако для этого нужно выявить в каждой исторической работе критерий выделения ее уникальных структурных элементов. Для этого Уайт составляет *карту* фундаментальных изменений в глубинной структуре исторического воображения XIX в. Он убежден, что с помощью этой карты можно ориентироваться в гигантском универсуме исторического дискурса и выявлять возможные стили исторического мышления.

---

<sup>1</sup> White H. *Metahistory: Historical Imagination in XIX Century*. N.Y. 1973. P. 5.

<sup>2</sup> Ibid.

Искомая карта состоит из пяти уровней концептуализации исторического материала и особого уровня тропологической стратегии: хроники, повествования (рассказа), сюжетного аргумента (эстетики), объяснительного аргумента (науки), идеологических следствий (этики).

На первых двух уровнях осуществляются процессы селекции и обработки исторических данных для того, чтобы исторический источник стал более релевантен современной читательской аудитории. Хроники всегда не завершены (*opened*), они в принципе не имеют вступления, начинаются обычно с описания зафиксированных в летописях событий, в них нет кульминации и развязки. События в хрониках просто складываются в отдельные последовательные серии. Историк организует эти серии в нарратив, имеющий форму *спектакля* с началом, серединой и окончанием. Здесь предполагается раскрытие закономерных связей между различными историческими событиями, а принципом организации фактического материала выступают законы различной общности, которые упорядочивают факты в повествовании, отвечая на вопросы: что произойдет следующим? почему и как это случилось? как осуществится развязка? почему это случилось так, а не иначе? Эти вопросы детерминируют тактику нарратива. Но они должны быть дополнены и стратегическими вопросами: что стало причиной всего? что станет результатом всего? Ответы на них могут быть получены путем выявления форм выстраивания сюжета, видов объяснения и типов исповедуемой историком идеологии, которые и составляют следующие три уровня исторической концептуализации.

По Нотропу Фраю, сюжетный уровень включает в себя *четыре типа сюжетности*: роман, трагедию, комедию, сатиру<sup>1</sup>. “Любое повествование, даже наиболее синхронное и структурированное, всегда определенным образом оформлено сюжетно”<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Fryer N. *Anatomy of Criticism*. N.Y., 1958. Уайт заимствует классификацию сюжетных структур, используемую Фраем. Уайт считает эту классификацию наиболее пригодной для исследования работы историка, так как для того чтобы быть максимально понятной, она стремится к наиболее конвенциональной форме повествования — сказочной или детективной.

<sup>2</sup> White H. *Metahistory...* P. 5.

Уайт считает, во-первых, что четыре сюжетных архетипа исторического повествования позволяют установить разницу между диахронными (доминируют структуры трансформации: Мишле и Ранке) и синхронными (доминируют структуры статикки: Токвиль и Буркхард) нарративами. Во-вторых, каждая из четырех архетипических сюжетных эстетических структур имеет свои следствия в когнитивных операциях, с помощью которых историки стремятся найти объяснение тому, *что действительно произошло и что явилось причиной произошедшего*. Уровень исторического исследования, на котором обсуждаются эти вопросы, есть сфера применимости объяснительного (научного) аргумента.

На этом уровне исторической концептуализации строится номологически-дедуктивная модель, причем принципы комбинации фактов в ней соответствуют квазизаконам исторического объяснения. Один из таких законов есть, например, марксистский закон взаимного соответствия базиса и надстройки, которым якобы можно объяснить и Великую американскую депрессию 1930-х гг., и падение Западной Римской империи. “Здесь важно следующее: если историк предлагает объяснение, которым конфигурация событий в его нарративе объясняется чем-то типа дедуктивно-номологического аргумента, то такое объяснение должно быть отделено от объяснения через сюжетный модус”<sup>1</sup>. В принципе, при некоторых обстоятельствах и сюжетный аргумент можно трактовать как дедуктивно-номологическое объяснение: например, трагедия может быть интерпретирована как проявление в определенной ситуации неких законов, управляющих природой человека и социума. Дело в другом. Необходимо различать аналитические операции историка и его нарративные действия. “Мы договорились, что одно дело — объяснить, почему это случилось и почему это случилось именно так, и другое — предложить вербальную модель происходящего в форме нарратива”<sup>2</sup>. Объяснительный аргумент в чистом виде есть аналитические действия историка. Следуя Стефену Пепперу, Уайт дифференцировал *четыре модуса исторического объяснения*: формизм, органицизм, механицизм и контекстуализм<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> White H. Metahistory... P. 12.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Pepper S. World Hypothesis: A Study in Evidence. L., 1966.



Цель формизма — идентификация уникальных характеристик объектов, существующих в историческом поле (количество, качество, модальность и пр.). Тем самым историк выявляет уникальность каждого конкретного объекта среди множества других сходных с ним феноменов. Формистскую модель объяснения можно найти у Гердера, Карлейля, Мишле, Нибура, Моммсена, Тревьельяна — “в любой историографии, где изображение разнообразия цвета и яркости исторического поля расценивается как главная цель работы историка”<sup>1</sup>. Здесь тоже могут иметь место обобщения, но в основном за счет масштаба охватываемых индивидуальностей эти обобщения, как правило, фрагментарны и не считаются исследователем главными. Поэтому формизм есть скорее дифференцирующий, чем интегративный элемент исторического анализа.

Интегративность в большей мере свойственна органицизму и механицизму. Первый стремится изобразить детали исторического поля как компоненты некоего *синтетического* процесса. “В сердце органицистской стратегии находится своего рода метафизическое обязательство перед парадигмой микро- и макрокосмических взаимоотношений. Историк-органицист хочет видеть индивидуальные образования в виде компонентов процесса, агрегирующего в целом все, что больше, что количественно отличается или является суммой их частей”<sup>2</sup>. В органицистской парадигме работали такие историки середины XIX в., как фон Ранке, все историки-идеалисты и такие философы, как Гегель. В их нарративах обобщениям и целостностям придавалось огромное, если не абсолютное значение. История, объясненная через органицистскую стратегию, всегда детерминирована ее (истории) окончанием или ее целью, поэтому она телеологична: принципы и идеи определяют окончание и цель, к которой очевидно или имплицитно движется исследуемый исторический процесс.

Механицистские гипотезы более склонны к *редукции*, чем к синтезу. Механицистские теории объяснения ищут каузальные законы, детерминирующие процессы, происходящие в истории. Маркс, например, изучал историю для того, чтобы вскрыть такие законы. Отдельное в механицизме менее важно, чем тот класс

---

<sup>1</sup> White H. Metahistory... P. 15.

<sup>2</sup> Ibid.

феноменов, к которому это отдельное принадлежит, а этот класс в свою очередь менее важен, чем закон, им управляющий. “Одним словом, для механицизма объяснение завершено тогда, когда найден закон, управляющий историей так, как управляет закон природой”<sup>1</sup>.

Контекстуализм представляет собой *функциональную концепцию* значения исторических событий. В соответствии с ним событие объясняется путем помещения его в “контекст его местонахождения”. Так же как и в формизме, история здесь рассматривается как сцена, спектакль, но в отличие от формизма, который просто располагает сущности в соответствии со степенью их уникальности, контекстуализм любой объект исторического исследования (Великую французскую революцию или один ее день) рассматривает через его возможные связи с различными частями и аспектами релевантного контекста. Уайт справедливо подчеркивает чрезвычайную распространенность в истории контекстуалистской объяснительной стратегии. Примеры ее можно найти повсюду: от Геродота до Уинча и Хейзинги. Как стратегия объяснения контекстуализм стремится в равной мере избегать радикальной дифференцирующей тенденции формизма и абстрагирующей тенденции органицизма и механицизма. Контекстуализм предлагает относительную интеграцию этих тенденций. На основании этого Уайт считает, что контекстуализм создает возможность нарратива.

Обозначенные четыре стратегии исторического объяснения всегда присутствуют в исторической работе, но, по мнению Уайта, “история не есть наука (в куновском смысле), в лучшем случае это протонаука со специфическими ненаучными элементами ее конституции”<sup>2</sup>. К числу последних относится уровень идеологической концептуализации — этическая позиция историка. Есть все основания полагать, что этический уровень был введен Уайтом под давлением постструктуралистского *принципа господствующей идеологии* Т. Адорно и Г. Маркузе.

Вслед за Карлом Манхеймом Уайт постулировал *четыре базовых идеологических позиции*: анархизм, консерватизм, радика-

---

<sup>1</sup> White H. Metahistory... P. 17.

<sup>2</sup> Ibid. P. 21.

лизм и либерализм<sup>1</sup>. Каждая из них представляет собой отдельную ценностную систему, провозглашающую авторитеты свободы, причинности, науки, реализма. Определенный сюжетный модус, или тип объяснительной стратегии, не зависит от идеологического аргумента, точнее говоря, он не выбирается сознательно под воздействием этого аргумента. Но любая идея истории зависит в своем формировании от выбора специфической идеологической ориентации. Уайт подчеркивает, что даже самые *неполитизированные* историки и философы, например Буркхардт и Ницше, в своих работах всегда следовали определенным идеологическим импликациям.

Этический момент исторической работы всегда комбинируется с эстетическим (сюжетность) и находит свой способ познания истории (объяснение). Уайт так объясняет, например, разницу между историографиями Шпенглера и Маркса: обе написаны в механицистской модели объяснения в сюжетном модусе трагедии, идеологическая импликация — радикализм. Но у Шпенглера общее настроение работы пессимистично, а у Маркса — оптимистично, отсюда — разница между их типами историографии примерно такая же, как между трагедиями Еврипида и Софокла, ситуациями короля Лира и Гамлета. Другой пример: все ранкеанцы писали в жанре комедии, использовали органицистскую стратегию объяснения и были воодушевлены консерватизмом. Общее настроение работ — оптимизм. У Буркхарда: сюжетный модус — сатира (ирония), контекстуалистская стратегия объяснения, идеологическая импликация детерминруется общим переменным настроением работы (либерализм — в случае оптимизма и консерватизм — пессимизма). В связи с этим Уайт усматривает некоторую рассогласованность общей направленности исследований Буркхарда.

Уайт идентифицировал эстетику, этику и эпистемологию в историографической работе и попытался проникнуть туда, где

---

<sup>1</sup> *Manheim K. Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge.* N. Y., 1946. Манхейм выделил пять идеальных типов современного политического сознания: анархизм, консерватизм, радикализм, либерализм, фашизм, причем консерватизм разделил на бюрократизм и историцизм. В классификации Манхейма Уайт не рассматривает фашизм, полагая его нерелевантным политическому и историческому сознанию XIX в.

эти синтезированные операции имеют практическое применение, то есть формируют *историографический стиль*. Под последним он понимает специфическую комбинацию типов сюжетности, объяснения и идеологии. Вся проблема состоит в том, что эта комбинация не может быть произвольной: разные формы, выделенные в пределах указанных уровней интерпретации, не могут быть беспорядочно смешаны в одной работе. Комедийный сюжет, например, несовместим с механицизмом, а радикализм — с сатирой. Так, Мишле безуспешно пытался соединить романтизм, формизм и либерализм. Гегель — трагедию и комедию с органицизмом, что породило неясную идеологию — то ли радикализм, то ли консерватизм.

В историографическом стиле должна существовать *выборочная близость* рассмотренных модусов этики, науки и эстетики. А для этого необходимо оценить общую форму всего исторического поля, что сообщит историографическому исследованию необходимую связность, логичность, определит его стилистические атрибуты. Однако здесь возникает проблема иного рода: как определить основания связности и логичности. “С моей точки зрения, эти основания поэтические и лингвистические”<sup>1</sup>. Прежде чем историк оценит историческое поле и выберет адекватный концептуально-интерпретативный аппарат, он должен осуществить операцию предварительного очертания контуров (фигурацию) этого поля, то есть конституировать его как объект ментального восприятия. Фигурация есть акт поэтический, и он “неотличим от лингвистического акта”<sup>2</sup>.

Историки конструируют историческое поле практически так же, как лингвист конструирует язык: ищет лексические, грамматические, синтаксические элементы языка, интерпретирует полученные конфигурации элементов и их изменения. Так же, как и лингвист, историк конструирует определенный лингвистический протокол, наполненный понятиями, позволяющими характеризовать историческое поле и его элементы в его собственных терминах и подготовить его к релевантной репрезентации, объяснению и интерпретации. Этот доконцептуальный лингвистический

---

<sup>1</sup> White H. Metahistory... P. 30.

<sup>2</sup> Ibid.

протокол может быть в свою очередь охарактеризован в терминах той доминирующей тропологической модели, в которой он выполнен. Здесь Уайт вводит базовое понятие данной концепции — понятие *тропологической стратегии*.

Докогнитивная и докритическая фигурация есть поэтический акт сознания историка, который воплощается в вербальных моделях исторического объяснения и репрезентации и является тропологической стратегией. Именно этот акт конституирует концепцию будущего исследования: создает объект анализа и модальность концептуальных стратегий этого анализа. Таких стратегий всего четыре. Уайт называет их *тропами* по аналогии с тропами поэтического языка. В поисках адекватного обозначения искомых тропов Уайт обращается к идеям К. Леви-Стросса, Р. Якобсона, Ж.-Ф. Лакана. Все они по разным поводам и в разных аспектах использовали в своих исследованиях тропы поэтического языка: метафору, метонимию, синекдоху, литоту, гиперболу. Уайт для своего анализа выбрал *метафору, метонимию, синекдоху и иронию*.

Напомним, что при употреблении тропов поэтического языка происходит сдвиг в семантике слова от его прямого значения к переносному, то есть от слова (понятия) к образу. Выбор тропов (по сходству, контрасту или смежности) целиком определяется особенностями индивидуального восприятия мира человеком. Четыре названных тропа позволяют характеризовать искомые исторические объекты в различных типах образного дискурса. В метафоре (соотношение значений слова по сходству) исторические феномены характеризуются по аналогии на основании наличия или отсутствия признака, общего для обоих сопоставляемых понятий (“любовь и роза”). В метонимии (соотношение значений слова по сходству) наименование части вещи или феномена заменяется наименованием целого на основании связи их значений (“пятьдесят парусов — пятьдесят кораблей”). В синекдохе (соотношение значений слова по их соотнесенности между собой) вещь или феномен может быть охарактеризован через использование какой-то его части, например меньшей, как символа качества, присущего всей тотальности, и наоборот (“он весь в его сердце”). В иронии (соотношение значений слова на основе логической операции “подмены термина”) вещь или феномен определяется от-

рицанием на образном уровне того, что было позитивным на уровне буквальном, то есть имеет место отрицание, облеченное в форму согласия, и наоборот.

В самом общем виде метонимия, ирония и синекдоха — виды метафоры, которые отличаются друг от друга способами воздействия на буквальный уровень значений, а также способами “трансляции вдохновения” на уровень образный. Метонимия, синекдоха и метафора есть “наивные” тропы, поскольку могут быть развернуты только в пределах веры в способность языка схватить сущность вещи в образных выражениях. Язык тропа иронии, язык апорий покоится на другом основании. Ирония диалектична, она использует самосознание субъекта в интересах вербального самоотрицания. Базисная символическая (фигуративная) или образная тактика иронии есть злоупотребление. Риторическая фигура апории, которой автор сигнализирует о действительном неверии в собственные заявления о смысле, обратном тому, что непосредственно воспринимается, есть любимый стилистический прием языка иронии.

Цель любых заявлений иронии — молчаливо подтвердить отрицание (или утверждение) того, что на буквальном уровне воспринимается как позитив. Ирония предполагает, что читатель знает или способен понять всю абсурдность характеристик вещей, данных метонимией, синекдохой и метафорой. По мнению Уайта, в определенном смысле ирония метатропологична, так как разворачивается “в осознании знания о возможности злоупотребления образным языком”<sup>1</sup>. Ирония представляет ту ступень сознания, на которой становится очевидной проблематическая природа самого языка. Ирония указывает на потенциальную глупость или недостаточность всех лингвистических характеристик реальности. Это указание иронии осуществляет в форме скепсиса, сарказма или скандала. Ирония потому диалектична, что понимает способность языка в любом акте вербального оформления реальности как прояснить, так и затемнить сущность этой реальности. В иронии образный, поэтический язык как бы оборачивается вокруг себя, и поэтому характеристики мира, данные в

---

<sup>1</sup> *White H. Metahistory... P. 37.*

тропе иронии, часто кажутся чрезвычайно мудрыми и действительно реалистичными. В иронии осуществляется акт самокритики любых концептуализаций и интерпретаций мира. Выполненная в модусах контекстуализма и сатиры ирония трансидеологична, то есть может быть осуществлена в любой идеологической импликаци. Как база мировоззрения ирония способна разрушить веру в любую возможность позитивного исторического и социального действия.

Рассматриваемые тропы поэтического языка, по замыслу Х. Уайта, указывают на своего рода этапы или эпизоды нарративного процесса как возрастающего движения от метафоры через метонимию и синекдоху к иронии и от нее опять к метафоре в “новой и в высшей ее форме”<sup>1</sup>. В этом смысле карта тропов в первом приближении корреспондирует с диалектическим процессом: начало отмечено относительной индифферентностью, противоречия имплицитны (метафора); вскоре они сменяются высоким напряжением между двумя противоположностями, присущими одному понятию (метонимия); в пространстве синекдохы разворачивается ложный синтез, в котором один из полюсов претендует на сущностное выражение всего целого. Эта претензия “сбрасывается” в иронию “как осознание неизбежности релятивизма всего знания”<sup>2</sup>, примиряет оппозицию и возвращает все в самое начало — в метафору на ее новой ступени.

Главная задача историка и философа истории состоит в том, чтобы через исследование указанных тропов установить уникальные поэтические элементы в историографии и философии истории прошлого и настоящего. Именно эти тропы руководят работой исследователя от начального анализа до финального текста. Этим тезисом Уайт во многом отождествил работу историка с работой художника. Получается, что историк должен увидеть в историческом процессе ритм, тему, интонацию, построение, то есть определенный поэтический троп. Однако при этом остается неясным один очень важный вопрос, всегда задающий головоломку читателю нарратива: на каком именно уровне исследования истори-

---

<sup>1</sup> White H. Metahistory... P. 316.

<sup>2</sup> Ibid. P. 38.

ческого начинают функционировать тропы — уровне собственно прошлого, уровне нашего обсуждения прошлого или уровне трансляции прошлого в язык нарратива?

Уайт не дает ответа на этот вопрос, и историку самому приходится выбирать наиболее удобный для него уровень приложимости теории тропологии к историческому анализу. Кроме того, переход от метафорической интерпретации к метонимической, от метонимической к синекдохе и так далее не обеспечивает обоснования критерия интерпретативного успеха. Критерий всегда должен быть связан с чем-то более адекватным, прогрессивным по отношению к предыдущему или с чем-то еще. По мнению Уайта, любая новая историческая интерпретация уже есть успех, и для каждой новой исторической интерпретации верно следующее утверждение: “Если вы смотрите на прошлое с данной перспективы, то именно она есть лучшая гарантия вашего лучшего понимания этого прошлого”<sup>1</sup>. Субъективный выбор историка определяет, как лучше взглянуть на прошлое, чтобы его понять.

Общее заключение из исследований Уайта в работе “Мета-история” сводится к следующим основным положениям: нет истории в собственном смысле слова, которая одновременно не была бы философией истории; все возможные модели историографии есть одновременно возможные модели спекулятивной философии; указанные модели в действительности есть формы поэтических инсайтов (тропов), которые всегда неосознанно предшествуют теме философско-исторического исследования и определяют стратегию исторического объяснения; следовательно, нет неоспоримых теоретических оснований провозглашать превосходство одной из указанных исследовательских моделей над другой как наиболее реалистичной; требование сциентизации философии истории есть лишь декларация, в определенной мере необходимая для уточнения модальности исторической концептуализации. Но корни последней в конечном счете находятся в этике и эстетике.

В результате всех изложенных соображений Уайт утверждает, что философы и историки соглашаются выбирать интерпретационные стратегии на основе подходов этики и эстетики, но не эпистемологии. Он показал, что нет необходимости в строгом со-

---

<sup>1</sup> *White H. Metahistory... P. 26.*



блюденнии императива конструирования нарратива по принципу “начало, середина, конец”. Все дело в *сюжете*. Отношения сюжета и истории подобны отношению теории и свидетельства: сюжеты объясняют свидетельство, организованное, как история, идентифицируя эту историю с некоторым классом историй, объясняют истории, но не объясняют события.

Уайт заключил, что только нарративы позволяют, говоря языком Минка, осуществлять конфигуративное понимание, где аргументы историка должны быть поняты и как теоретические выкладки, и как сюжетные замыслы. Он утверждал, что нарратив “есть литературная форма, в которой голос рассказчика возвышается на фоне невежества, непонимания или забвения, чтобы направить наше внимание к особому сегменту опыта, организованного специфическим способом”<sup>1</sup>. В отличие от позиции аналитической философии истории, согласно которой историк есть слуга языка, по Уайту, язык должен быть слугой историка.

В “Метаистории” была произведена литературизация исторического описания, в котором нарратив тропологически *оформлял* жизнь истории. Тем самым Уайт создал новую концепцию философии истории — *концепцию эстетического историзма*. Многие исследователи расценивают ее как вариант постмодернистского прочтения истории, но это не совсем точно, или, правильнее говоря, не все так просто. Сам Уайт считает, что его книга структуралистская, так как он отыскивает в историческом дискурсе жесткие структуры науки, идеологии, поэтики, которые в совокупности и детерминируют исторический дискурс. В пользу структурализма Уайта говорит и то, что он увлечен идеей возвышения своей теории тропологии до уровня онтогенетических категорий, которые отражаются в структуре языка. “Я вообще-то структуралист и формалист. Я всегда полагал себя марксистом, социалистом и считая Маркса одним из величайших философов истории”<sup>2</sup>, — отмечал Уайт. “Я — модернист. Вся моя интеллектуальная формация и все мое развитие осуществлялись в контексте модернизма. Моя концепция истории имеет много общего с тем типом эстети-

---

<sup>1</sup> White H. The Structure of Narrative // Clio. V. I. 1972. P. 13.

<sup>2</sup> Domanska E. White H. // Encounters... P. 19.

ки возвышенного, который проистекает из романтизма... постмодернизм же... повергает человека в уныние”<sup>1</sup>.

Эти утверждения не удивительны, ведь Уайт вышел из очень консервативных областей американской исторической науки — медиевистики, испытывал симпатии к социологическому подходу. Отсюда понятно, почему он попытался создать искусственную структуру, но такую, которая давала бы возможность так поворачивать ракурс исторических текстов, чтобы в них входила собственная оригинальность и инсайты исследователя. Уайту интересен сам процесс познания. Его тропология, как и трансцендентализм Канта, *антропоморфизует* реальность, *присваивает* ее человеку, позволяет рассматривать неизвестное в терминах известного, делает неизвестное самоочевидным. В этом смысле Уайт мало интересуется номадическими идеями или антифундаментализмом постмодернизма. “Возможно, его постоянное потворство инновациям и экспериментам в области исторической репрезентации и тем самым их неизбежный подрыв происходят из его убеждения в том, что он обладает ключом к порядку текстов”<sup>2</sup>, — полагает Кёллнер.

Однако модернистская концепция истории базируется на конвенциях реализма, эмпиризма и позитивизма, а Уайт апеллирует к риторичности языка истории, утверждает общность задач истории и литературы, размывает границы между различными сферами знания, что указывает на его поворот в сторону постмодернизма. “Уайт хочет порядка, но также хочет и вещей, производящих хаос”, — подчеркивает Кёллнер. Но при этом Уайт ни в коем случае не имеет отношения к идеям о смерти автора, читателя, к этому ряду объектов постмодернистского мира, хотя очень чувствителен к индетерминированным вещам, к ситуациям “экзистенциальной абсурдности”.

Уайт стремится осмыслить и “присвоить” такую ситуацию, полагая, что существуют некие социальные и формальные конвенции, которыми мы руководствуемся в нашем мире, но они “растянуты” между чувствованиями (экзистенциальным) и конвенцио-

---

<sup>1</sup> Domanska E. White H. // Encounters... P. 2–27.

<sup>2</sup> Domanska E. Kellner H. // Encounters... P. 60.

нальным (детерминированным). Исследовательский выбор Уайта всегда непредсказуем: он подчеркивает либо структуру, ведущую его в одном направлении, либо риторические фигуры. Принимая во внимание указанные сложности, пожалуй, правильнее, говорить о противоречии между интересом Уайта к нестабильным, перемещающимся (шифтовым) риторическим ситуациям и постоянным подчеркиванием им структур и форм. В этом проявляется суть того самого комбинированного подхода к интерпретационизму и эссенциализму, который Уайт перенял в свое время от Боссенбрука.

В среде философов истории и историков отношение к идеям Х. Уайта, высказанным в “Метаистории”, непростое. Уайта нередко обвиняли в непрофессионализме и некомпетентности. Многие историки считают, что Уайт осуществил операцию подмены понятий: вместо понятий истории он использовал фигуры риторики, науки, идеологии, поэтому его теорию вряд ли можно считать адекватной не только историческому знанию, но и философии истории; они не принимают его релятивизм. “Уайт разрушает философию истории и историю. Он старается порвать любую связь между реальностью прошлых событий и их семантикой в историографии. Метаистория расшатывает устойчивое положение вещей в историческом дискурсе”, — считает В. Канстейнер<sup>1</sup>. “Например, Гинзбург ненавидит “Метаисторию”, он думает, что я фашист, что я, как и Кроче, субъективно манипулирую историей для эстетического эффекта”, — считает сам Уайт<sup>2</sup>. Его сторонники (Х. Кёллнер, Д. Ла Капра, С. Бенн и др.) предлагают новые интересные подходы и мысли, развивающие концепцию Уайта. Ф. Анкерсмит вообще полагает, что “Метаистория” Уайта после “Идеи истории” Коллингвуда есть лучшая книга по историографии... хотя в “Метаистории” Уайт чрезвычайно близок к своим научным критикам, чем сами критики это осознают. При этом

---

<sup>1</sup> *Kansteiner W.* Hayden’s White Critique of the Writing of History // *History and Theory*. 32. 1993. P. 273-95.

<sup>2</sup> *Domanska E.* White H. // *Encounters...* P. 16. См. об этом: *Ginzburg C.* Just one Witness // *Probing the Limits of Representation: Nazism and the “Final Solution”*. S. Friendlander ed., 1992. P. 87-94.

“Метаистория”, конечно, сыграла огромную роль в разрушении наивных форм модернизма<sup>1</sup>.

**Тропики дискурса.** В 1970-х гг. идея тропологии становится для Уайта главной. Он в течение нескольких лет отшлифовывает дискурсивный каркас, созданный в “Метаистории”, корректирует его, но все же сохраняет как “скелет” дискурса. Уайт считает, что во время написания “Метаистории” он мало что знал о риторике и был склонен понимать под ней скорее искусство убеждения, чем науку дискурса. Когда же всерьез занялся изучением работ Дж. Вико, то понял истинную сущность риторики. Итогом размышлений Уайта стали 12 очерков, опубликованных в разное время и собранных вместе в книге “Тропики дискурса”<sup>2</sup>. Во всех очерках исследуется проблема отношений между дескрипцией, анализом и этикой в науке. “Прежде всего Уайта интересуют не дисциплина истории как дисциплина с ее собственной методоло-

---

<sup>1</sup> Domanska E. Ankersmit F. // Encounters... P. 82, 83. Ф. Анкерсмит выделит 8 основных итогов исследований Уайта в “Метаистории”: 1) почувствовав лингвистическое влияние, философия истории стала наконец частью современной интеллектуальной жизни; 2) объяснение и описание как наследие позитивистской фазы существования философии истории было преодолено в целях концентрации усилий на проблеме исторической интерпретации; 3) фиксированность на деталях исторического исследования была заменена интересом ко всей работе в целом. Уайт доказал, что нарративизм требует равного внимания ко всему тексту, а не к его отдельной части или сумме его каузальных или иных связей; 4) язык нарратива есть вещь (субстанция) и должна быть рассмотрена в терминах онтологических отношений; 5) традиционная дихотомия ортодоксальной исторической эпистемологии на противоположность событий прошлого и их языка перестала иметь значение; 6) традиционная селекция того, что должно и что не должно быть сказано об историческом предмете, заменена проблемой историографического стиля. Признано, что стиль — не просто идиома историографической работы, он касается не только “манеры”, но сущности историографии; 7) преодолен антиисторизм позитивистской и аналитической философии истории; 8) это означает, что язык историка сообщает исследуемому прошлому необходимую связность. См.: Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2009.

<sup>2</sup> White H. Tropics of Discourse. Baltimore, 1978. В книгу вошли такие эссе, как “Интерпретация истории”, “Исторический текст как литературный артефакт”, “Историзм, история и фигуративное воображение”, “Тропики истории: глубинная структура “Новой науки”, “Момент абсурда в современной литературной теории” и ряд других.

гией и не историописание как литературный жанр”, — считает Р. Козеллек<sup>1</sup>.

Вместо понятия риторики, столь активно вовлекаемой в историческое исследование в “Метаистории”, вводится новое понятие “тропики”. Впрочем, слово “вместо” достаточно условно, скорее, речь идет о новом понимании риторики. “Я использую как термин “поэтика”, так и термин “риторика”. Проблема в том, что их коннотации уходят в романтизм и софистику, нужны новые термины, и поэтому я работаю над теорией тропики”<sup>2</sup>. Р. Козеллек указывает на то, что Уайт в своих размышлениях отступает *хронологически* назад, к риторике как древней грамматике и искусству присвоения мира через язык. *Фактически* же Уайт исследует лингвистическую конституцию человеческого опыта как такового, исследует так, как он представлен в различных видах социально-гуманитарного знания<sup>3</sup>.

Слово “тропик” извлечено из *tropicos*, *tropos*, которыми древние греки обозначали “поворот”. Оно вошло в современные индоевропейские языки под именем *tropus*, которым классическая латынь обозначала метафору или фигуру речи, а поздняя латынь — музыкальную теорию, настроение. Все эти значения отложились в раннем английском слове *trope*, объединившем в себе силу понятия, которое содержится в современном английском слове “стиль”. Тропика как континуум логики, поэтики и диатактики составляют Уайтову теорию дискурса. Под *дискурсом* Уайт понимает движение мысли “назад и вперед”, “к и от”, и это мышление может быть дологично, алогично и диалектично.

Дологическое мышление маркирует определенную сферу опыта в целях ее последующего анализа с помощью логики. Цель алогичного мышления — деконструировать уже имеющиеся концептуализации данной области опыта, которые блокируют свежее восприятие вещей или отрицают в интересах формализации данные эмоции. Вместо диалектики Уайт предлагает использо-

---

<sup>1</sup> Koselleck R. Introduction to “Tropics of Discourse”// The Practice of Conceptual History. Timing History, Spacing Concepts. Stanford Un. Press, 2002. P. 39.

<sup>2</sup> Ibid. P. 39.

<sup>3</sup> Ibid. P. 22.

вать слово *diatactical*, что означает самокритичность дискурса, ироничность по отношению к себе и невозможность руководствоваться только логикой. Дискурс курсирует вперед-назад между альтернативными способами кодирования реальности, он — сущностное *медиативное* предприятие, форма вербальной композиции, которая отделена от логики, с одной стороны, и от чистой фикции, с другой. Дискурс одновременно интерпретативен и доинтерпретативен, то есть он всегда направлен к “метадискурсивной рефлексивности”.

Согласно Уайту, дискурс подразделяется на три уровня: дескрипция (*мимезис*) данных, обнаруженных в исследуемом поле и предназначенных для их анализа; аргументация или нарратив (*diegesis*), рассеянная по описываемым материалам; комбинация двух предыдущих уровней (*diataxis*). На последнем уровне вырабатываются правила, которые выявляют возможные объекты дискурса и способы, которыми соединяются дескрипция и аргументация. Дискурс, таким образом, есть способ функционирования сознания, которым определенная неизвестная территория опыта ассимилируется с теми областями, которые уже поняты, то есть он — процесс понимания, механизм превращения незнакомого в знакомое. “Этот процесс понимания в своей сущности может быть только тропологическим”, — утверждает Уайт. “Тропика есть тень, которой все реалистические дискурсы стараются избежать, но тщетно, так как тропика — это процесс, которым все дискурсы конституируют объекты, которые они пытаются реалистически описать и объективно проанализировать”<sup>1</sup>.

Взгляды Уайта продиктованы Горгием и Протагором, которых он считает истинными философами языка, так как они показали, как возникает, находится и конструируется значение. Скептики поняли, подчеркивает Уайт, что нет только одного правильного способа говорения о мире и его репрезентации, потому арбитром в отношении между миром и человеком является язык. Риторика есть теория политики дискурса, с позиций риторики дискурс вырабатывается в конфликтах между людьми. Уайт считает, что гегелевская диалектическая логика была попыткой формализовать практическое мышление. В принципе, для разговора об ути-

---

<sup>1</sup> White H. Tropics of Discourse. P. 5, 2.

литарных вещах нам нужна логика праксиса. Но она не может следовать логике идентичности и непротиворечивости. Это не силлогизм, как полагал Гегель, это — энтимема, считает Уайт.

Вся повседневная речь и вся повседневная жизнь энтимемичны. Здесь не следуют правилам логической дедукции и силлогистики, здесь постоянно возникают ситуации, в которых необходимо действовать противоречиво и алогично. Например, утверждения “все люди смертны” и “Сократ — человек” как части силлогизма есть движение тропологическое, отклонение от универсального к индивидуальному, которым логика не может руководить, так как она сама руководима этим движением. Любой силлогизм содержит энтимемический элемент, позволяющий следовать от плана универсальных пропозиций к сингулярным экзистенциальным утверждением. Данная цепочка псевдосиллогизмов уравнивает миметико-аналитический прозаический дискурс — историю, философию, литературу и гуманитарную науку в целом.

Когда мы используем язык, мы часто ошибаемся и живем в этом заблуждении. Тропология и есть изучение того, как именно мы живем в мире таких заблуждений, формулируя истину в форме иллюзии. Поэтому нам нужна теория репрезентации жизни, проживаемой в противоречии и вымысле — тропология. Уайт обращает внимание на исследования Лотманом теории художественного текста, на поэтический язык, представляющий собой “вторичную моделирующую систему” (в понимании Ю. М. Лотмана), в которой знак сам моделирует свое содержание; на тезис Якобсона о том, что нельзя провести границу между поэтическим и непоэтическим языком и что поэтическая функция языка как “направленность поэтического выражения на само себя” (Якобсон) существует во всех дискурсах, только в одних она доминирует, в других нет, но есть везде. Любой нарратив содержит в себе поэтику, так как в нем обязательно содержится вымысел.

Уайт размышляет над тем, почему в нарратологических исследованиях ученые всегда пытаются нащупать *логику* нарратива и терпят неудачу. Потому, убежден он, что нарратив — не сеть пропозиций или не только это. Нарратив есть *импровизационный дискурс*. Компоненты нарратива есть экстрапредложения, они соотносятся не с грамматическим синтаксисом, а синтаксисом использования языка, располагающимся за границами пред-

ложения. Именно он соединяет предложения вместе. “Вы можете соединить их логикой, а можете тропологией. Тропологией потому, что вам необходима теория отклонения, систематической девиации от логических ожиданий”<sup>1</sup>, — говорит Уайт. Это и есть то, что пленяет в нарративе, потому что здесь человек подчинен не строгим правилам логической дедукции, а риторическим фигурам, которые *изготавливают*, а не *обнаруживают* истину и значение. Дискурс есть продукт усилий сознания прийти к соглашению с проблематическими сферами опыта через конвенцию с социальным, со средой обитания человека.

Многие исследователи (Козеллек, Кёллнер, Мегилл, Дрей и др.) обращают внимание на схожесть идей Уайта и Ханса Блюменберга, который предположил, что человеческая раса выжила только благодаря ее неспособности прямо противостоять реальности. Согласно Блюменбергу, мощь лингвистических метафор раскрывает опыт и предшествует всем историческим утверждениям, поэтому философская антропология, в сущности, должна быть исследованием риторики<sup>2</sup>. Человек всегда использует некое замещение реальности, которое он рассматривает как риторический способ выживания. Сам Уайт ссылается на исследования Гарольда Блума, согласно которым тропы можно рассматривать как лингвистический эквивалент психологического механизма защиты (тропы сдерживают эмоции депрессии, агрессии и пр., могущие привести к смерти психики)<sup>3</sup>. Но, подчеркивает Уайт, это не только *отклонение от* возможного значения, но и *отклонение навстречу* значению и понятию, которое истинно в реальности.

Понятое таким образом, тропирование есть движение *от* одного понятия к другому, устанавливающее такие связи между вещами, которые в языке могут быть выражены как логически, так и риторически. Тропы генерируют фигуры речи или мышления из вариаций на тему того, что ожидаемо в норме и через ас-

---

<sup>1</sup> Domanska E. White H. // Encounters... P. 20.

<sup>2</sup> Blumenberg Hans-Christoph. Shipwreck with Spectator: Paradigm of a Metaphor for Existence. MIT Press, 1997.

<sup>3</sup> Bloom Harold. A Map of Misreading. New York, 1975. Радикальный еврейско-американский критик, работающий в основном в русле деконструктивизма.



социации, которые они устанавливают между нормальными понятиями. Дискурс есть жанр, в котором приоритетны попытки выразить вещи альтернативными способами. Он — продукт усилий сознания прийти к соглашению со сложными сферами опыта через соглашение с социальным, со средой обитания человека. “И тропы есть душа дискурса, то есть механизм, без которого дискурс не может осуществлять свою работу”<sup>1</sup>.

Уайт называет метафору, метонимию, синекдоху и иронию стабильными глубинными структурами человеческого сознания, которые предполагают возможность развития постоянного и надежного представления не о реальности как таковой, а о *видении* человеком этой реальности. По его мнению, интерпретации реальности подчинены последовательности метафорического языка. Нарратив “Я” следует от наивной *метафорической* характеристики поля опыта (опасения странной реальности) через *метонимическую* деконструкцию его элементов (дисперсию реальности) к *синекдохической* репрезентации отношений (контрастам и оппозиции), между внешними атрибутами реальности и ее предполагаемой сущностью к самокритике, *иронической* рефлексии, выявленным противоречиям.

В подтверждение своей позиции Уайт приводит исследования Пиаже о фазах развития ребенка, Фрейда о сущности сновидений и Томпсона о формировании сознания пролетариата. Он считает, что переход от метафоры к иронии корреспондирует с реструктуризациями перцептивного поля, который описал Пиаже, фазами сновидений Фрейда и этапами развития сознания рабочего класса Томпсона<sup>2</sup>. В каждой из этих концепций механизм смены соответствующих фаз аналогичен смене троп в дискурсе. Как для Пиаже эти фазы есть не логика, а комбинация онтогенетических способностей, так и для тропологии это не логика, а *риторическая префигурация*. Уайт считает, что Пиаже заново открыл принцип когнитивной креативности, аналогичный (если вообще не прямо идущий от традиционной) постренессансной те-

---

<sup>1</sup> White H. Tropics of Discourse. P. 2.

<sup>2</sup> Сенсомоторная, предоперациональная, конкретно-операциональная, формально-операциональная стадии Пиаже; “сгущение”, “смещение”, “репрезентация” и “вторичная обработка” Фрейда.

ории троп. И если Пиаже прав, то онтогенетический базис фигуративного сознания значительно теоретизируется.

Дело в том, что Вико, Руссо, Гегель, Маркс и Ницше (Вико и Ницше — *логика поэзии*, Гегель и Маркс — *логика поэзиса*) считали, что поэтическая логика свойственна не только детям, но и примитивным народам. Через эту логику вырабатывается рациональное знание мира. Но никто из этих исследователей не интересовался выбором между поэтическими и рациональными способами освоения сознанием реальности. Они интересовались только их интеграцией в понятие тотальной человеческой способности придавать миру смысл и извлекать из него смысл. При этом, если исследования Пиаже и Фрейда носят общий методологический характер, то работа Томпсона принадлежит самой исторической науке, и Уайту крайне важно показать на примере конкретной исторической реальности, что сознание групп людей, так же, как индивидуальное сознание, одинаково тропологично<sup>1</sup>.

Он выделил четыре фазы развития сознания рабочего класса, в которых очевидно движение риторических троп и которые корреспондируют с четырьмя частями работы Томпсона:

1) познание пролетариатом самого себя, изучение традиций; здесь пролетарии понимают свое отличие от других и схожесть с себе подобными, но могут организовать вместе только на основе общего стремления к “свободе” — троп *метафоры*, наивное познание реальности;

2) исследование опыта групп рабочих, выявление разных типов рабочего класса, элементы серий — *метонимия*;

3) кристаллизация специфического сознания рабочего класса, понимание отличия от других групп трудящихся, появление нового чувства общности и идентичности части с целым — *синекдохическое* сознание, сознание общего интереса класса;

4) раскол в рабочем движении, сопровождающийся соединением двух идеалов — интернационализма и индустриального синдикализма, прогресс в самосознании класса — *ирония*.

Если считать, что история есть не утилитарное знание, а род искусства, то есть риторическая концепция возможных форм дис-

---

<sup>1</sup> *Thompson E. P. The Making of English Working Class. London, 1963; N.Y., 1964.*

курса, которая не может быть формализована, то она создает некоторый эквивалент того, что делает поэтика в своих попытках проанализировать поэтическую речь и дикцию. Поэтика не предписывает, как именно должна быть написана поэма, но создает некоторые правила ее написания. Но когда поэма написана, можно поразмышлять и увидеть в ней различные структуры.

Следует отметить, что в “Тропиках дискурса” Уайт, *во-первых*, предлагает новую методологию исторических исследований. Дискурс историка должен сам создать адекватность языка в анализе исторических феноменов. И он определяет эту адекватность дофигуративным движением, которое скорее тропологическое, чем логическое. История объяснима через искусство тропологии, но не только. Согласно теории Уайта, историческое утверждение значимо только тогда, когда оно соотносится со своим адресатом так, чтобы что-то, оставшееся для него в прошлом или в чужом опыте, могло быть интегрировано в его собственный опыт. Лингвистические успехи исторической репрезентации должны быть признаны обществом в качестве удачных (или неудачных), понятных (или непонятных). Это объясняет то, почему, например, некоторые историки становятся классиками: все зависит от лингвистического выбора историка, через который исторический опыт превращается в значимое утверждение. Даже если историк в результате осуществленного выбора, допускает ошибки в интерпретации фактов, его исторический текст все равно может производить историческую истину, которая, как и истина поэтическая и философская, всегда останется обсуждаемой и жизнеспособной.

*Во-вторых*, Уайта интересует, каким образом вообще становится возможным культурное исследование исторического опыта средствами лингвистики. Он полагает, что “тропология есть ценная модель для дискурса и сознания вообще... она дает нам понимание экзистенциальной непрерывности между ошибкой и истиной, заблуждением и пониманием... воображением и мышлением. Долгое время отношения между ними считались оппозиционными. Тропологическая теория дискурса помогает нам понять, каким образом речь посредничает между этими предполагаемыми оппозициями, так же как сам дискурс посредничает между нашей боязнью тех аспектов опыта, которые чужды нам, и теми, которые мы понимаем, потому что находим порядок слов, адекватный их

*приручению*. И наконец, тропологическая теория дискурса может дать нам способ классификации различных типов дискурса через отсылку к лингвистическим способам их выражения, а не к различным “содержаниям”, которые по разному определяют-ся разными интерпретаторами”<sup>1</sup>. Уайт полагает, что теория тропологии может успешно классифицировать такие социальные дискурсы, как дискурсы войны, мира, сексуальности, дискурсы искусства, а также проникнуть и в типологию понимания, что позволит соотносить различные стратегии конституирования реальности в мышлении.

Уайт в этой работе выступил как филолог-реформист, продолжающий традиции Вико, считавшего, что человек творит свой мир через воображение, Ауэрбаха с его идеей мимезиса, Кроче, Шпенглера, Фуко и др. Их версия гуманизма гласит, что ситуация людей определяется их литературными и лингвистическими возможностями. “Я полагаю, что риторика есть материалистическая философия, и она предполагает единую онтологию”<sup>2</sup>, — считает Уайт. Это значит, что любой человек вообще, и историк в частности, может создать релевантный ему мир, создавая правильный язык. “Хейден Уайт предлагает метаисторический плюрализм лингвистически оформленных интерпретаций мира... Базовый смысл его исследования проистекает от гуманистической риторики, которая исследует каким образом интерпретации мира могут одновременно посредничать в принятии политических и этических решений и облегчать их”<sup>3</sup>. Но вся проблема в том, как подчеркивает Уайт, что историки не любят риторики, так как полагают, что в том, что они делают, риторики нет.

**Содержание формы.** Новая работа Уайта “Содержание формы” означала другой поворот в его исследованиях — к нарративу<sup>4</sup>. Первые четыре эссе посвящены проблеме исследования эпистемологической сущности, культурной функции и общему социаль-

---

<sup>1</sup> White H. *Tropics of Discourse*. P. 20–21.

<sup>2</sup> Domanska E. White H. // *Encounters...* P. 29.

<sup>3</sup> Kosellec R. Introduction to “*Tropics of Discourse*”. P. 42.

<sup>4</sup> White H. *The Content of the Form*. Baltimore, 1987. В книгу вошли такие эссе, как “Ценность нарратива в репрезентации реальности”, “Вопрос нарратива в современной исторической теории”, “Поэтика историчес-

ному значению нарратива, четыре других анализируют в заданном аспекте идеи Дройзена, Фуко, Джеймисона и Рикёра. В “Содержании формы” тропы появляются только один раз, в эссе о Фуко. Уайт обращается к исследованию нарратива и проблеме воплощения в нем сюжета (*emplotment*). Но все-таки нет сомнений в том, что теория нарратива Уайта тесно связана с тропологией, что нарратив является одним из кодов тропологии; поворот к нарративу в 1980-х гг. считался только переименованием продолжающихся исследований риторики в противовес логике.

Тезис о том, что форма имеет содержание, а содержание форму, есть характерный момент риторико-спекулятивного подхода Уайта. Исследование того, как они взаимодействуют и взаимодействуют, несомненно, углубило теорию тропологии и стало ключевым моментом его исследований в области литературного критицизма и исторической теории<sup>1</sup>. Но поворот к нарративу Уайта был инспирирован не только необходимостью вдохнуть больше жизни в теорию тропологии, но и тем фактом, что в конце 1970-х — начале 1980-х гг. многие исследователи проблем исторического познания, и прежде всего Л. Минк, П. Рикёр, У. Дрей, Ф. Данто, сконцентрировали внимание на нарративе и в разных вариациях предложили тезис о том, что нарратив есть сущностная форма человеческой экзистенциальности, что все люди есть просто нарративизирующие животные. Несмотря на ряд расхождений во взглядах на задачи наррации, Уайт, безусловно, принял общую интенцию философии нарратива об исключительной роли повествования в репрезентации и интерпретации событий реальности.

---

кой интерпретации: дисциплина и десублимация”, “Историка” Дройзена: историописание как буржуазная наука”, “Дискурс Фуко: историография антигуманизма”, “История выходит из-под контроля: освобождение нарратива Джеймисоном”, “Метафизика нарративности: время и символ в философии истории Рикёра”, “Контекст в тексте: метод и идеология в интеллектуальной истории”.

<sup>1</sup> Например, в первом прочтении Уайтом Фуко последний выступал только как трополог (*White H. Foucault Decoded: Notes from Underground // Tropics of Discourse. P. 230–260*); в “Содержании формы” Фуко предстает как трополог-нарративист, что позволяет взглянуть на него с новой, еще более интересной точки зрения. См.: *White H. Foucault’s Discourse: The Historiography of Anti-Humanism // The Content of the Form. Baltimore, 1987. P. 104–141*).

Своей главной задачей Уайт полагает исследование проблемы отношения между нарративным дискурсом в той форме, в какой он его разработал в теории тропологии, и исторической репрезентацией. Он подчеркивает, что эти отношения стали важной теоретической задачей для историописания с тех пор, как стало ясно, что нарративный дискурс предполагает выбор определенной онтологии и эпистемологии, имеющей к тому же идеологические и политические импликации. Традиционная историография понимала нарратив как простой пересказ того, что случилось в прошлом. Но реализм исторического нарратива и реализм хроник — это разные вещи.

Анналы и хроники формулируют только необходимые информационные структуры, с помощью которых реальность всегда предстает перед историком. Все хроники имеют окончание, и любые анналы собирают сведения в определенную последовательность серий, отделенных друг от друга во времени и пространстве. Анналы и хроники как простые формы изложения исторических событий весьма условно можно считать нарративами только на основании формальной структуры (начало — середина — конец), которой они репрезентируют жизненно важные события, например, “год был тяжелый, урожай маленький”. В таком виде они представляют собой не историю, а некую безличную форму подсчета исторических событий. При таком подходе к нарративу в традиционной историографии его литературный компонент мыслился как некая стилистическая конструкция, которая делала историческое повествование интересным для читателя. Предполагалось, что в ткань нарратива можно ввести только те элементы, которые способствуют концентрации внимания читателя на излагаемом материале.

На самом деле нарративный дискурс использует совсем другие коды и имеет совсем иное значение: не буквально литературное (он — не литературный жанр) и не буквально объяснительное (он — не вид науки), как полагают многие историки. Исторический нарратив имеет свои истоки в *poesis* (в противоположность *poesis*, *prosaic*) — мечтах, фантазиях, иллюзиях, желаниях, ожиданиях, идеологических подтекстах и прочем историка. Только в том случае, если форма (эпика, романс, трагедия, комедия, фарс) и конфигурация структуры (сюжет, соединяющий части в интегратив-

ное целое) нарратива извлечены его историком из акта *творения*, а не из самих исторических событий, нарратив станет “моделью понимания” и особым “когнитивным инструментом” (Л. Минк). В этом, полагает Уайт, и заключается главное отличие нарративного дискурса от анналов и хроник: в них не принимаются в расчет аспекты, характеризующие автора повествования. Жизнь вообще и жизнь истории, считает Уайт вслед за Минком, не имеют ни начала, ни середины, ни конца. Она, по выражению Р. Барта, есть “свалка последовательностей”.

Значение хроник в том, что они первыми выстраивают эти последовательности в некую цепь осмысленных повествований, их содержание — это реальные события, которые имели место в истории. Нарративы описывают события, которых, возможно, не было, но которые оказываются чрезвычайно жизнеспособными, и описывают их такими, какими они были бы, если бы действительно произошли. Для нарратива реальные события должны просто быть, выступать в качестве референта дискурса, но они не должны позиционироваться как предмет нарратива.

Развивая свою позицию, Уайт выявляет пять направлений анализа нарратива, сформированные в 1970–80-е гг.

1. *Аналитическое* (Уолш, Гардинер, Дрэй, Гэлли, Мортон Уайт, Данто, Минк), анализирующее эпистемический статус нарратива и акцентирующее его объяснительную функцию в истории.

2. *Анналистское*, представленное школой “Анналов” (Бродель, Фюре, Ле Гофф, Леи Рой Ладюри и др.), рассматривающее исторический нарратив как ненаучный.

3. *Семиологическое*. Литературные теоретики и философы (Барт, Фуко, Деррида, Тодоров, Кристева, Бенвенист, Дженетте, Эко) рассмотрели нарратив во многих его проявлениях, но поняли его только как один из множества дискурсивных кодов, который может (или не может) быть применим к репрезентации реальности.

4. *Герменевтическое* понимание нарратива, предложенное Гадамером и в деталях разработанное Рикёром, который понял нарратив как темпоральный дискурс особого рода.

5. *Доксографическое* исследование нарратива как доксы (doxa), мнения, такими историками, как Хекстер (нарратив как совершенный способ делать историю) и Джеффри Элтон (нарратив как практика истории).

Последние обращали мало внимания на теоретические аспекты нарратива, рассматривали его эклектически, именно как доксу, в противовес которой должна быть разработана некоторая истинностная историческая теория. Уайт достаточно подробно рассмотрел каждое из этих направлений исторической нарратологии и обозначил собственное — семиологическое исследование с известными отличиями от постструктуралистов.

Семиологическая концепция исторического нарратива имеет ряд отличий от его лингвистической теории. Лингвистическая теория текста ассоциируется с характером работы, выполненной Расселом, Витгенштейном, Остином или Хомским, а семиологическая модель построена на теории языка как *знака* (а не как слова) Соссюра, Якобсона, Бенвениста. “Семиологическая перспектива производит идентификацию иерархии шифров, которая установлена в процессе разработки текста. Один из них или несколько обнаруживаются как явные, очевидные, естественные пути придания миру смысла... Это дает основание для установления важной методологической дистинкции между лингвистическим и семиологическим исследованием способов концептуализации проблем, характеризующих идеологические аспекты данного текста, дискурса, артефакта”<sup>1</sup>.

Центральная функция нарратива — не эпистемологическая или репрезентационная, а моральная и политическая. *Нарратив есть инструмент для обозначения смысла того мира, в котором мы живем*. Он придает непрерывность и целостность историческому повествованию, он — политическое предприятие, в нем важны не сами события, не то, что происходило непосредственно, а то, что люди *говорят о них*, выявляя *сущность* событий. В таком случае “отрицание нарративной способности или отрицание нарратива равнозначно отсутствию или отрицанию самого смысла”<sup>2</sup>.

Уайт подчеркивает идею, обозначенную им в “Тропиках дискурса”, о том, что нарративизация мира есть его *присваивание* (*domestication*). Прошлое присваивается в том смысле, что начинает существовать в границах матрицы определенных предсуществующих историческому тексту кодов, научных или литературных.

---

<sup>1</sup> White H. The Content of the Form. P. 202, 192.

<sup>2</sup> Ibid. P. 2.



Уайт использовал это понятие *domestication* для исследования указанных способов присвоения прошлого. Он исходит из общей позиции современной философии нарратива, согласно которой в жизни как в реальном процессе жизнедеятельности человека и философском феномене отсутствует единая точка зрения, с которой осуществлялась бы трансформация событий жизни в связное повествование. Поэтому человеку необходима наррация хотя бы для того, чтобы представить события и вещи яснее, четче, дифференцированное, причем наррация не обязательно должна быть вербальной.

Уайт считает, что последовательность реальных событий не имеет окончания, прошлая реальность не исчезает, а меняется только ее значение, транслируясь от одного физического или социального пространства к другому. Это означает, что существует своего рода ничейная земля между реальными событиями и событиями, рассказанными в нарративе<sup>1</sup>. Какое бы реальное историческое событие мы ни взяли, говорит Уайт, разве можно сказать, что оно закончилось? Эмпирически — да, политически и идеологически — нет. Нарратив, который передает *понимание*, должен показать, что конец истории имманентен ее началу. Поэтому нарративная история и нарративная фикция не могут быть противопоставлены как в отношении их содержания, так и формы. *Форма имеет содержание, а содержание имеет форму*.

Социальные конвенции определяют то, какой сюжет наиболее доступен культуре в данный момент. Уайт называет преобладающий сегодня стиль исторического дискурса “диссертационным” (*dissertative*), сформированным в русле хроник и анналов<sup>2</sup>. Форма этого дискурса есть логика, а содержание — размышления историка о событиях прошлого, которые он изъясил из архивов в качестве *истинных* и представил в своем нарративе как *реальные*. Эти размышления могут быть удачными или неудачными, но суть в том, что невозможно законодательно оформить отношение людей к прошлому, так как прошлое есть территория фантазии, оно нигде не существует. События истории не могут быть изучены эмпирически, но могут анализироваться другими, к примеру, тропологическими методами.

---

<sup>1</sup> White H. The Content of the Form. P. 23.

<sup>2</sup> Ibid. P. 28.

Уайт полагает, что в контексте семиологических теорий дискурса нарратив раскрывается как чрезвычайно эффективная система производства смысла, благодаря которой люди имеют возможность получить пусть воображаемое, но истинно-значимое отношение к социальным структурам, в которых они живут. Эта теория дает возможность понять социальную реальность как историю. А история требует репрезентировать сущность прошлого как сложную политическую и социальную реальность. Мифы и основанные на них идеологии предполагают адекватность рассказанных историй определенной репрезентации реальности, чье значение они хотят раскрыть. Когда вера в эту адекватность убывает, все культурное здание общества начинает разрушаться, так как разрушается само условие возможности социально значимой веры. Как культурный факт и как культурная функция нарратив предоставляет возможность выхода из таких кризисов, что, как считает Уайт, совершенно очевидно представителям социально-гуманитарного и естественнонаучного знания, особенно в эпоху постмодерна. Все это позволяет утверждать, что нарратив может наполняться различным содержанием, предшествующим любой их актуализации в речи или письме. “Именно это “содержание формы” нарративного дискурса в историческом мышлении и исследовано в эссе данной работы”,<sup>1</sup> — пишет Уайт.

В двух эссе (“Поэтика исторической репрезентации: дисциплина и десублимация” и “Историка” Дройзена: историописание как буржуазная наука”) Уайт формулирует наиболее радикальную критику исторического дискурса. Он описывает присущий истории консерватизм, а историографию трактует как имеющую одновременно эмпирическую и спекулятивную природу. Историография конституирует свой предмет в специфической моральной и политической парадигме, обязанной предположительно промежуточному положению историографии между областями возможного (наукой) и воображаемого (искусством и литературой). В последней области история имеет дело не с очевидностью, а с вероятностью, которая есть результат, с одной стороны, конфликта между структурами социального напряжения, выраженными в общей символической структуре данного общества, а

---

<sup>1</sup> *White H. The Content of the Form. P. XI.*

с другой — существования воображаемого мира, обретшего бытие благодаря либидо и релевантным инстинктам людей. Поэтому, считает Уайт, для человека вероятность в некотором смысле более реальна, чем правда науки. Вероятность соткана из желаний человека, подкрепленных значимым социальным контекстом, она предлагает разного рода компромиссы, позволяющие спасти ориентацию и позиционирование (*positioning*) человека в мире и обществе. В этих размышлениях можно заметить влияние идей неофрейдизма, ряда программных тезисов об исторической ментальности школы “Анналов”, а также соображений Питера Уинча о значимости и ведущей роли социального контекста в социально- и философско-исторических исследованиях.

В этих же эссе Уайт предлагает довольно запутанную трехуровневую схему исторической эпистемологии. На первый уровень он помещает единичное историческое событие (факт), символизирующее *элемент позитивной стабильности*, на втором уровне находится определенная стратегия концептуализации исторических фактов и на третьем, высшем — рефлексия, вводящая в негативной и иронической формах новые критерии для установления точности историографических исследований. Предложенная Уайтом эпистемология историографии является только наброском, так и не получившим дальнейшего развития.

Исследуя нарратологическую идею в эссе “История выходит из-под контроля: освобождение нарратива Джеймисоном”, Уайт обращает внимание на то, что нарративные историки должны воспринять идею каузальных отношений, но так, чтобы эти каузальные отношения могли заменяться другими во времени. Уайт обращает внимание на предложенную Джеймисоном в ходе его полемики с марксистами о видах исторической причинности идею “нарратологической каузальности” (термин Уайта) как способа каузальности, состоящей в претворении прошлого в сознании, так, чтобы сделать настоящее прежде всего выполнением прошлых обещаний, чем просто следствием прежней (механической, экспрессивной или структурной) причины”<sup>1</sup>. В этом случае настоящее как выполнение, а не следствие есть именно то, что репрезентирова-

---

<sup>1</sup> White H. Jameson’s Redemption of Narrative // The Content of the Form. P. 150.

но в нарративном описании последовательности событий, имеющей целью выявить сущность события еще в его дофигурации, до реализации в тексте.

Понятая таким образом нарративизация, считает Уайт, "...сублимирует необходимость в символ будущей свободы" и превращает "любое настоящее в "прошлое будущее", с одной стороны, и "будущее прошлое", с другой"<sup>1</sup>. В связи с этими рассуждениями очевидны разные понимания причинности в аналитической традиции Уайта, на что обращают внимание многие исследователи. В аналитической философии истории факты и события истории не изменяются в ходе исследования, а у Уайта *идеологическая* природа нарратива выводится одновременно из того, что историки написали, и из природы самой нарративности. Но что же такое тогда эмпирический факт? Этот вопрос задают историки, причисляющие себя к традиционному пониманию своей дисциплины.

Эссе о Рикёре посвящено рассмотрению проблем философии нарратологии и философии истории. Согласно философии нарратива, которую разделял Рикёр, наррация сплетается с действием в общем потоке жизни, а в жизни единый взгляд на нее, а также общий фокус, необходимый для ее репрезентации и интерпретации, отсутствуют. Жизнь есть сложная структура темпоральных конфигураций. Эта структура возникает из актов действия и поведения людей и постоянно дополняется новыми элементами, которые невозможно найти в нарративе. В отличие от Уайта Рикёр считает, что жизнь сама обладает нарративной структурой, то есть имеет начало, середину и конец. Если для Уайта нарратив — это прежде всего рефлексия практики, способ организации чьего-то восприятия мира, чьего-то опыта, и этот способ появился вместе с социальностью, свойственен социальной и групповой идентификации, то для Рикёра наррация есть сама практика, опыт, которые конституируют не только действие, но и самого человека, который осуществляет это действие.

Уайт и Рикёр согласны в том, что наррация есть этическая и практическая проблема самоидентификации и самокоррекции: моя идентификация с самим собой зависит от рассказа, который

---

<sup>1</sup> White H. Jameson's Redemption of Narrative // The Content of the Form. P. 149.

я выберу. Философия нарратива, идеи которой в данном случае разделяют и Уайт, и Рикёр, объединяет в одно целое самого субъекта, его жизнеповествование, рассказчика этого повествования, читателя (слушателя) и создает на этой основе специальную теорию опыта, действия и существования человека. Интересно при этом, что социальный и индивидуальный субъекты обладают, согласно этой теории, одинаковой нарративной структурой, призванной не описывать то, что и так уже существует, но описывать смысл и связность жизни субъекта.

Отношение историков и критиков к идеям Уайта, предложенным им в этой работе, так же как и к предыдущим, неоднозначное. Основное возражение сводится к тому, что Уайт слишком близко поместил друг к другу фикцию и историческую действительность. Любые попытки украсить прошлое лишают историю того вида бессмыслицы, которая помогает живущим людям сделать их жизнь особенной, отличной от прошлого, которая придает их жизни значение и за которую полностью ответственны только они одни<sup>1</sup>. Для Уайта “историчность сама по себе есть и реальность, и тайна”, и эта тайна не может быть раскрыта<sup>2</sup>.

**Фигуративный реализм.** В своей последней книге “Фигуративный реализм” Уайт исходит из ключевой идеи о том, что риторика (тропология) есть все, чем мы располагаем для познания мира и текстов о нем<sup>3</sup>. Он акцентирует внимание на противоположности терминов “фигуральный” и “реализм”, имеющими преимущественное хождение в литературном критицизме. Должны ли мы смотреть на мир и текст символически, аллегорически, то есть искать в мире и тексте фикцию, или мы должны смотреть на мир и текст реалистически, во фрейме их буквального значения? Уайт показывает, что мы можем видеть мир только в необходимой комбинации того и другого: фигуральное и букваль-

---

<sup>1</sup> *White H.* The Content of the Form. P. 58–82, 72.

<sup>2</sup> *Ibid.* P. 26–57, 53.

<sup>3</sup> *White H.* Figural Realism. Studies in the Mimesis Effect. The Johns Hopkins University Press, 1999. В книгу вошли такие эссе, как “Литературная теория и историописание”, “Исторический сюжет и проблема истины в исторической репрезентации”, “Формалистская и контекстуалистская стратегии в историческом объяснении” и др. Всего в книге восемь эссе.

ное, аллегорическое и символическое, реальное и спиритуальное всегда только риторические, а не реальные оппозиции. Именно в этой книге Уайт более или менее ясно очерчивает границы своего риторико-спекулятивного подхода.

В эссе “Исторический сюжет и проблема истины в исторической репрезентации” Уайт обсудил проблему истинности исторических описаний. В своем творчестве Уайт прибегает к двум вариантам решения проблемы исторической истины. В первых разделах “Метаистории” он апеллирует к корреспондентской и когерентной концепциям, одновременно замечая, что классические теории истины иррелевантны его представлениям об исторической работе. Поэтому он обращается к кантианской трактовке истины и предлагает концепцию пределов исторического знания, исторического ноумена. Уайт считает, что достигнутая в ходе исследования самоочевидность не может быть разрушена и все, что не вписывается в объяснительные модели тропологии, остается за границей познанного. С его точки зрения, истинная история нерасторжимо связана с возвышенным, с тем, что слишком ужасно, чтобы быть познанным и воссозданным в нарративе. Например, Уайт, поставив вопрос об адекватности исследований феномена нацизма, обозначил новые теоретические проблемы историографии и философии истории, на которые не обратили до сих пор внимания его критики<sup>1</sup>. В частности, он использовал в репрезентации прошлого средний залог, что должно позволить историку занять определенную этическую позицию по отношению как к прошлому, так и к будущему.

Проблема залога в общем языкознании еще не разрешена. Сложность ее понимали античные грамматиканы, которые описывали грамматическую категорию залога как часть более широкой лексико-грамматической категории — диатезы. Особенность среднего залога древнегреческого языка состоит в том, что его значения имеют грамматические формы, которые выражают также и значения пассивного залога. Ю. С. Степанов полагает: «Залог вообще есть категория предложения, заключающаяся в отношении действия к его субъекту. Кроме диатезы, залог в иностранных языках имеет и другую форму — синтаксическую. Залог, вы-

---

<sup>1</sup> *White H. Figural Realism... P. 38–39.*

ражаемый в синтаксической форме, позволяет соотносить одно и то же действие с разными субъектами. Сравнить: “Лаборант растапливает вещество. Вещество растапливается лаборантом. Вещество растапливается”. Поэтому залог, выраженный синтаксически, является свободно оппозитивной категорией, со всеми вытекающими отсюда последствиями (“субъективностью” выбора субъекта-подлежащего говорящим, возможностью для говорящего по-разному “изобразить” действие в зависимости от разных коммуникативных задач и т. д.). Частица “ся” в русском языке в этих случаях (когда глаголы с “ся” и без “ся” являются полностью и свободно оппозитивными), принадлежит не глаголу, а предложению, составляя в нем “морфему синтаксического построения”. Мена залогов в синтаксической форме — это транспозиция<sup>1</sup>.

Вообще, концепцию среднезалогового письма ввел в обращение современных литературных и философских теорий в 1966 г. Р. Барт. Это было понято и принято далеко не всеми и до сих пор полностью не признано литературоведением и философией. Ж.-П. Вернан полагал, что средний залог вымер в большинстве современных западноевропейских языков потому, что в древней Греции не было ясно выраженной языковой и философской категории воли (желания, самости), а в западном мире эта категория стала доминирующей. Кёллнер полагает, что «средний залог есть то, в чем можно говорить о субъекте до его рождения, после его смерти, после смерти автора и т. д., и все эти “смерти” будут пониматься как фигуральные символы осознания исторического дискурса и обусловленности определенными обстоятельствами любого речевого акта»<sup>2</sup>. Рассмотренный в хайдеггеровском контексте, где “язык говорит”, средний залог концентрирует внимание на бытийствовании субъекта и объекта и на их взаимном вовлечении в “исторический момент письма”.

Уайт отнес средний залог, как это предложил Барт, к тому типу письма, которое не знает разницы между активным автором и пассивным текстом (пассивным прошлым), написанным историком. Риторическая природа среднего залога создает иллюзию ис-

---

<sup>1</sup> Степанов Ю. С. Индоевропейское предложение. М., 1989. С. 134.

<sup>2</sup> Kellner H. ‘Never Again’ is Now // History and Theory. 33 (1994). № 2. P. 134.

чезновения автора или любой точки зрения, существующей вне данного текста, она позволяет прошлому говорить.

Проблема применения средnezалогового письма широко обсуждалась историками и литературоведами. Если применять средний залог в научном исследовании, то поле между исследователем и исследуемым дефокусируется, то есть дефокусируется сам феномен репрезентации. Кёллнер, на наш взгляд, совершенно справедливо полагает, что в этом случае репрезентация холокоста станет репрезентацией “подходов к исследованию” холокоста. В этом опасность грамматической функции средnezалогового письма. Кёллнер подчеркивает, что как профессионал-историк Уайт, предложивший использовать такое письмо, безусловно, понимает необходимость воссоздания прошлого как нарративной цепи многообразных, всегда вариативных исторических вещей и неадекватность исторической меморализации любого вида. Уайт стремится сохранить подлинный образ холокоста и как исторического события, и как исторического товара. Именно это желание продиктовало ему мысль предложить огромные самоограничения средnezалогового письма как наиболее эффективную форму репрезентации событий, подобных холокосту.

Кёллнер, Анкерсмит и многие другие новые философы истории подчеркивают необыкновенную эвристичность идеи средnezалогового письма в исторических исследованиях. Но парадокс в том, что никто из них не знает, а что с этим делать дальше, даже сам Уайт посвятил этому только несколько страниц текста. Этот парадокс весьма характерен: он абсолютно точно подчеркивает главную особенность Уайта как мыслителя — алогичность, незавершенность, неконкретность. Это придает исследованиям Уайта, с одной стороны, притягательность, очарование, свежесть, оригинальность. Начиная читать любое его эссе и последовательно проникая в каждый его тезис, читатель вдруг обнаруживает, что конец этого эссе не соответствует началу и что тезисы не завершены и иногда противоречат друг другу. И тогда процесс чтения начинается снова, и снова читатель видит другой текст и извлекает из него иной смысл, сохраняя при этом исходную посылку — риторику и диалектику. Точнее, риторику и элементы диалектического подхода, где исследователь, выделяя противоположности в исследуемом объекте, не разрешает их, а использует как основу развития



своей точки зрения. Поэтому подход Уайта к исследованию исторических объектов можно назвать *риторико-спекулятивным*. Он сочетает в себе выявление и интерпретацию спекулятивной и временной природы исторического объекта и обнаружение противоречий и существенных черт в историческом объекте, например в “историческом воображении XIX века в Европе”.

Эта особенность заметна и в других очерках, вошедших в сборник “Фигуративный реализм”. В эссе “Литературная история Ауэрбаха: фигуральная каузальность и модернистский историцизм”<sup>1</sup> Уайт исследует концепцию литературной истории, изложенную Ауэрбахом в его “Мимезисе”. Он исходит из утверждения Фредрика Джеймисона о том, что задача литературной истории сегодня заключается “в производстве концепции литературной истории”, и “Мимезис” Ауэрбаха — работа, решающая эту задачу. Уайт следует за развитием мысли Джеймисона, не принимая во внимание, верна ли сформулированная им идея или нет, потому что считает, что идея сама по себе “необычайно эстетична” и эта эстетичность связана с “фигуральностью”<sup>2</sup>. Уайту интересны антитезисы Ауэрбаха — фигуральное и буквальное — не как диалектические противоположности, требующие разрешения, а как предмет размышлений. Уайт предлагает новое, оригинальное прочтение и понимание реализма, новое понимание книги Ауэрбаха, которую он считает аналогом романа “На маяк” Вирджинии Вульф, выполненном в модернистском стиле. Но он не дает фундаментального анализа работы Ауэрбаха, не проникает в ее основание, поскольку сама идея фундаментальности иррелевантна творчеству Уайта.

С еще большей очевидностью это можно обнаружить в другом эссе из того же сборника — “Фрейдова тропология сновидений”, к которой он уже обращался в “Содержании формы”<sup>3</sup>. Уайт опять отвлекается от вопроса о том, истинна ли с точки зрения науки фрейдова теория сновидений или нет. Для него важно то, какой смысл можно извлечь из рассмотрения Фрейдом работы сновидений в этих терминах. Он сопоставляет фрейдovu теорию

---

<sup>1</sup> White H. Figural Realism... P. 87–100.

<sup>2</sup> Ibid. P. 87.

<sup>3</sup> Ibid. P. 101–25. Уайт указывает, что он работал над этим эссе с 1975 г.

сновидений и теорию троп, так как убежден, что “вниманием к конкретным сходствам между конвенциональной теорией троп и механизмами сновидений, как они постулированы Фрейдом... мы не только можем понять, почему он настаивает именно на четырех механизмах... но также... получить более ясное понимание и тропов, и фрейдовой концепции сновидений”<sup>1</sup>.

В еще одном эссе указанного сборника — “Формалистская и контекстуалистская стратегии в историческом объяснении” — Уайт исследует различия между формализмом и контекстуализмом и вновь не предлагает никакого решения, подчеркивая, что “нет никакой такой вещи, как специфический исторический подход к изучению истории, но есть вариация таких подходов”<sup>2</sup>. Уайт предлагает не решение, а *исследование* способа, с помощью которого нарратив был развернут в западной культуре.

Принимая во внимание эти особенности, А. Мегилл, например, полагает, что метод Уайта можно было бы назвать методом *вхождения в дискурс*, причем в любой, поддающийся лингвистическому выражению. С помощью такого метода нельзя проникнуть в истину, ошибки или заблуждения дискурса. Данный метод квазидиалектичен: он всегда подчеркивает напряжение и противоречия внутри дискурса, но никогда их не разрешает. В риторико-спекулятивном подходе Уайта отсутствует неременное движение вперед, к более высокому уровню, где возможно отрицание предыдущего. С его помощью нельзя прийти к дефинитивному заключению, возможен только некий взгляд на особые области рассматриваемого дискурса. Риторический аспект, наиболее спорный и противоречивый, безусловно, является характерной чертой работ Уайта. Он обнаруживается в желании автора оставаться в области “только мнения”, использовать уже существующие термины и понятия, несмотря на то что они могут показаться лишними достаточных для этого оснований. Уайту неважно, истинны или нет рассматриваемые им теории и концепции. Он не ставит своей целью их фундаментальное исследование. Ему интересен сам дискурс, размышления о нем, и только потом его содержание.

---

<sup>1</sup> White H. Figural Realism... P. 103. Четыре этапа сновидений, по мнению Уайта, совпадают с метафорой, метонимией, синекдохой и иронией.

<sup>2</sup> White H. The Content of the Form. P. 1–25.

Уайт все-таки не свободен полностью от социологического подхода к исследованию исторических объектов: тенденция к построению неких универсальных типологических схем так или иначе заметна во всех его трудах. Эти особенности исследований Уайта нередко вызывают резкое раздражение у многих критиков, которые хотят ясного и последовательного изложения базовых тезисов концепции. Читатель же, который не знает, где кончается схема и начинается интерпретация, и чувствует напряжение и противоречие между схематизмом тропологической последовательности и свободой человеческого выбора и человеческой уникальности, далеко не сразу понимает, о чем пойдет речь дальше. Поэтому и лекции Уайта всегда разделяют аудиторию на два лагеря. Одни воодушевлены тем, что лектор проговаривает заявленную тему как импровизацию, у него нет заготовленного текста, презентации; никто, включая самого автора, не знает точно, что станет главным тезисом и как он будет представлен. Другие просто встают и уходят, не желая следить за весьма прихотливыми изломами мысли лектора. Забавно то, что даже в самом имени Уайта есть странность: вместо второго имени у него (официально) стоит только одна буква V — Heyden V. White.

Риторико-спекулятивный подход, который предложил Уайт в качестве метода исторических исследований, не вполне адекватен сегодняшним реалиям исторической науки; возможно, что он не вполне адекватен исторической науке вообще. Однако парадокс в том, что вне этого подхода история как дисциплина уже невозможна.

## **2.5. Перформативный поворот в социально-гуманитарном знании<sup>1</sup>**

Разделы исторической практики (историческая эпистемология, онтология, историческое мышление, способы адресации историков к прошлому) наполняются разными акцентами в зависимости от того, что называть сущностью истории: культурологические, социальные, политические концепции истории, гипотезы

---

<sup>1</sup> *Кукарцева М. А.* История: Wissenschaft и/или Bildung-процесс? // Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы. М., 2011.

тезы нарративов прошлого, воссоздания психологических структур истории и пр. Весь этот массив мнений можно свести к двум версиям древней дисциплины:

1) к теоретическому знанию в форме (историко-нарративного) объяснения того, каким образом разного рода вещи (исторические объекты) становятся тем, что они есть;

2) духовно-практическому знанию (часто излагающемуся в форме литературных нарративов), пробуждающему воображение, инспирирующему рефлексии над экзистенциальными и моральными проблемами. Первая версия — это *Wissenschaft*, научная история, формулирование законов социальной жизни в духе позитивизма. Вторая версия — *Bildung*, акцентирование культурного развития, из которого извлекается знание, возможно, гораздо более важное, чем знание самого исторического объекта, но с точки зрения *Wissenschaft* эпистемологически сомнительное<sup>1</sup>.

Если это две *равноправные* версии одной дисциплины, то почему *Wissenschaft* нередко относят к профессиональной, а *Bildung* — к непрофессиональной историографии (имеются в виду социальная память, искусство, популярная историография и пр.)? Можно ли считать, что *Bildung* выражает *не-* и даже *анти*эпистемологическую тенденцию в исторической дисциплине? Можно ли вообще выбирать между историей как *Wissenschaft* и историей как *Bildung*-процессом? Что же в конечном итоге является целью исторического исследования: дальнейшее развитие самого знания, теория или улучшение жизни, практика? Очевидная невозможность однозначного и прямого ответа на эти вопросы подчеркивает, что отношение между историей как *Bildung*-процессом и историей как *Wissenschaft* всегда будет важной проблемой как для истории, так и для всего корпуса социального-гуманитарного знания.

На мой взгляд, *во-первых*, любой исторический текст может быть рассмотрен и как научное объяснение чего-либо, ведущее к пересмотру нашего понимания мира и человеческих отноше-

---

<sup>1</sup> Под исторической эпистемологией я понимаю определенный ин-структивный репертуар общих и специальных когнитивных методов и правил исторических исследований, следование которым делает возможным систематическое получение историографической истины, снижает риски неверных или некорректных суждений.

ний, и как литературный нарратив, пробуждающий воображение и фантазию<sup>1</sup>. В этом смысле история как *Wissenschaft* и как *Bildung*-процесс предполагают друг друга: *Wissenschaft* — фактографическая основа *Bildung*, а без *Bildung* *Wissenschaft* превращается в схоластический, буквоедский и лишенный всякого смысла “подсчет” исторических событий.

**Во-вторых**, сегодня в движении исторического знания очевидна тенденция к постепенному, но неуклонному сворачиванию *Wissenschaft*. Это связано прежде всего с тем, что теоретические проблемы не осознаются как таковые самими историками, хотя многие из них и думают, что они теоретики. Историческое мышление характерным образом существует в минимуме правил. Историки никогда не вырабатывали свой собственный язык, а также унифицированный критерий оценки своей работы. Самое большое изменение за прошедшие 40 лет заключается в том, что историки стараются менее свободно и непринужденно играть со свидетельствами и доказательствами, быть более сознательными и ответственными в отношении их теоретических заимствований.

Попытки выработать теорию истории (если, конечно, она вообще существует) и вменяемо сформулировать принципы исторической эпистемологии (а главное, принять и следовать им) все время натываются на некие “объективные” препятствия, непонимание и просто нежелание традиционалистски настроенных историков всерьез менять механизмы своей работы<sup>2</sup>. Кроме того, постоянно расширяющееся поле исторических исследований, вбирающее в себя самые разные и на первый взгляд совершенно невообразимые предметы исследования (истории левшей, розги, контрацептивов и пр.), просто не позволяет вовремя вырабатывать искомые эпистемологические принципы, отвечающие специфике предмета.

**В-третьих**, история как *Bildung*-процесс становится сегодня все более отчужденной от *Wissenschaft*. Это выражается в том, что

---

<sup>1</sup> Я не касаюсь здесь известных отличий исторического и литературного нарратива, а говорю об историческом тексте в целом.

<sup>2</sup> Можно вспомнить бурные дебаты о пользе и вреде для исторической дисциплины микроисторий, антропологического, культурного, лингвистического поворотов, постмодернизма, идей Р. Козеллека, Ф. Анкерсмита и многого другого. Радует то, что эти дебаты приводят историков к хотя и весьма осторожным, но все-таки позитивным выводам.

репрезентации истории часто представлены в форме социальной памяти, художественными и развлекательными работами, популярной историей (хотя она и не так четко отделена от профессиональной историографии). Нередко эти формы больше, чем профессиональная историография, востребованы даже представителями других академических дисциплин. Все это, с одной стороны, ведет к эпистемологической некорректности исторического знания, к искажению историографической истины<sup>1</sup>. Например, в культурной истории (доминантном тренде исторических исследований нашего времени) исследование сосредоточено в большей степени на анализе культурного *процесса*, чем на его содержании. С другой стороны, мы рискуем поместить “*Bildung* (в смысле формирования или наставления)... настолько прямо перед своим носом, что станем узколобыми и нравоучительными” занудами, а не беспристрастными исследователями<sup>2</sup>. Так что же в сложившихся обстоятельствах должно стать глубинным основанием истории сегодня: линия *Bildung*, линия *Wissenschaft*, их дихотомия или их сосуществование?

На наш взгляд, концепция истории как *Bildung*-процесса в сегодняшний момент существования исторической дисциплины весьма плодотворна. Современные формы *Bildung* могут выразить сущность наиболее значимых обобщений эмпирического материала и теоретических гипотез в историческом знании, но главное, что *Bildung* имеет своей целью реально изменить некоторые сложившиеся положения вещей и в чем-то сделать нашу жизнь лучше.

Отвлекаясь от рассмотрения эволюции всего спектра значений термина *Bildung* и связанных с этим изменений его концептуального фона, я буду реферировать только к немецкой интеллектуальной традиции, конкретно, к идеям И. Канта<sup>3</sup>. Последний хотя и не предложил целостной и развернутой концепции *Bildung*, но

---

<sup>1</sup> См., например, дискуссию о проблемах исторической истины в журнале “Эпистемология и философия науки”. 2008. № 1.

<sup>2</sup> *Domańska E. Lionel Gossman // Encounters...* P. 209. В этом интервью Л. Госсман рассуждает о взаимоотношениях истории как *Wissenschaft* и истории как *Bildung*.

<sup>3</sup> Обзор возникновения и эволюции концепции *Bildung* дает Гадамер во вступительной статье к книге “Истина и метод”. Гадамер связывает появление интереса к *Bildung* с развитием историзма и называет Гердера

подчеркнул ее сущностный момент: не просто делание человеком самого себя (культивация интеллекта, освобождение от оков традиции, стереотипов мышления и пр.), а делание, *приносящее реальные изменения* и в понимании человеком самого себя, и в преобразовании им окружающей реальности.

*Bildung* в понимании Канта утверждает долженствование процесса образования “в контексте достижения человеком лучшей жизни и установления морального миропорядка”<sup>1</sup>. При этом сам *Bildung* — процесс темпоральный, то есть вписанный в социальное и историческое измерение, он вводит субъекта в историю и показывает ее ему. А история как *Bildung*-процесс во многих отношениях является вживанием человека в культуру через расшифровку исторически запечатленной в ней информации. Безусловно, человек не может и не должен формировать себя согласно или в соответствии с прошлым, но он не может и не учитывать прошлое, поскольку прошлое — это все еще часть того самого мира, в котором он живет. История как *Bildung*-процесс сегодня помогает решать не просто актуальные, а жизненно важные задачи: оптимизировать межкультурную коммуникацию, конструировать и сохранять коллективную и персональную идентичность; осмысливать коллективный и персональный исторический опыт; научиться использовать этот опыт в форс-мажорных культурно-исторических обстоятельствах и пр. При этом очевидно, что роль самого субъекта в данном процессе становится главной.

Формы, которые принимает история как *Bildung*-процесс, могут быть самыми разнообразными: от различных образовательных программ до развлекательных мероприятий. Вопрос в том, можно ли найти такую форму истории как *Bildung*-процесса, которая более или менее ясно включала бы в себя определенные ключевые принципы исторической эпистемологии и тем самым не только не уступала бы *Wissenschaft*, но и могла бы даже оптимизировать его. В поисках новых методологических и теоретических принци-

---

первым философом, сделавшим *Bildung* центральной темой своих исследований. Ф. Анкерсмит много рассуждает о *Bildung* в контексте постмодернистской историографии. См.: Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры. Гл. 6, 7.

<sup>1</sup> Быкова М. Ф. Кант и концепция *Bildung* // Иммануил Кант: наследие и проект. М., 2007. С. 308.

пов истории исходили немало дорог и сломали в бурных дебатах немало копий. Сегодня в качестве предмета острых дискуссий по этому поводу выступает так называемый перформативный поворот в социально-гуманитарном знании и возможности его экстраполяции на историческую дисциплину. На мой взгляд, он может стать (и уже становится) одной из искомых форм истории как *Bildung*-процесса.

В свое время постмодернизм с его очарованностью театрализованным действием предположил, что историописание должно предлагать вместо *репрезентации* прошлого его *презентацию*. В ситуации *post-post-mo* тенденция подводить все под термины метафоры (лингвистический поворот) изменилась на тенденцию рассматривать реальность в терминах перформативности. Почему именно сейчас возник особый интерес к перформативности? И почему историки должны обратить внимание на перформативный поворот?

Интерес к перформативности, несмотря на то что исследования этого феномена в социально-гуманитарном знании вообще и в историческом в частности не новы, приобрел сегодня особую остроту в силу нескольких обстоятельств<sup>1</sup>. Во-первых, изменилась сама окружающая нас реальность. Клонирование животных, растений и людей, процессы физической и интеллектуальной мутации стали действительно возможны; терроризм и квир-движение вообще претендуют на роль героев повседневной жизни, влияют даже на механизм формирования международной политики; генетическая медицина, биотехническая трансплантация, нанотехнологии, психофармакология и прочие сферы глубоко прорываются в нашу жизнь. Все это приводит к последовательной “спектаклизации” жизни, где реальность приобретает черты зрелища. Ги Дебор описал этот процесс еще в 1960-е гг.: “Вся жизнь обществ, в которых господствуют современные условия производства, проявляется как необъятное нагромождение *спектаклей*. Все, что раньше переживалось непосредственно, теперь отстраняется в представление”. Это ведет к тому, что общество и зрелище стали

---

<sup>1</sup> Исследования перформанса берут начало в работах Й. Хейзинги “Человек играющий”, М. Бахтина о феномене карнавала, В. Тёрнера “От ритуала к театру: антропология перформанса”, Ги Дебора “Общество зрелищ” и ряде других.



как близнецы-братья; что СМИ командуют воображением людей, которые перестали разговаривать друг с другом и совершать поступки, поскольку превратились в зрителей; что прошлого не существует, так как благодаря “прогрессу зрелищной технологии” оно ежеминутно переписывается и т. д.<sup>1</sup>

Во-вторых, все эти изменения требуют обновления теоретического аппарата, призванного анализировать реальность. В качестве подхода, способного предложить такого рода инновации, являются (среди многих других) так называемые перформанс-исследования (*performance studies*) — междисциплинарное поле анализа любого рода проявлений перформанса и перформативности, прежде всего в искусстве, постструктуралистском литературоведении (Р. Барт), теории социальной коммуникации (Ю. Хабермас), различных теориях текста, политическом дискурсе, философии науки и т. д.<sup>2</sup>

Напомню, что в узком смысле перформанс означает живое, непосредственное выполнение некоторого действия; в широком смысле — это повседневная практика общественной жизни, проявляющаяся в ритуалах, парадах, фестивалях, религиозных церемониях, народных танцах, спортивных событиях и даже хирургических операциях (обстоятельства которых транслируются по TV на весь мир)<sup>3</sup> и пр. Даже на упаковках товаров повседневного спроса производители помещают такие, например, надписи, как *professional performance*. Это говорит о том, что перформанс понемногу становится одним из ключевых аспектов человеческого существования и формирования процесса коммуникации<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Дебор Г. Общество спектакля / Пер. с фр. С. Офертаса и М. Якубович. М., 1999. Тезис 1.

<sup>2</sup> См., например: *Schechner R. Performance Theory*. N. Y.: Routledge, 1988; *Idem. Performance Studies: An Introduction*. London: Routledge, 2002; *Гниренко Ю. Перформанс как явление современного отечественного искусства*. URL: [http://www.gif.ru/texts/txt-gnirenko-diplom/city\\_266/fah\\_348/](http://www.gif.ru/texts/txt-gnirenko-diplom/city_266/fah_348/)

<sup>3</sup> Например, о разделении сиамских близнецов, пересадке лица и даже эвтаназии.

<sup>4</sup> См., например, шампунь *Syoss* и многие другие линии косметической продукции.

Концепт перформативности был предложен в теории речевых актов Дж. Остина<sup>1</sup>, который выделил констатирующие речевые акты (“солнце светит”) и перформативные акты (“я верю, я клянусь, я обещаю” и т. д.). *Констатирующие акты* есть “нормальные”, “чистые” акты (обыденная устная речь), в которых содержится непосредственное указание на присутствующий здесь и сейчас референт и которые исключают цитатность. *Перформативными высказываниями* являются те, которые не только описывают действие, но и сами являются действиями (сказанное адекватно сделанному).

Перформативность можно определить как веру в то, что язык не только репрезентирует реальность, но также и изменяет ее, что мысль соответствует действию и что определенные явления существуют только тогда, когда они перформативно повторяются и должны всегда повторяться для того, чтобы существовать. Для Остина перформатив есть *аномальная, паразитарная* речь — поэтическая (письменная) или речь актера со сцены. Жак Деррида в работе “Подпись — событие — контекст”, возражая Остину, подчеркнул перформативную силу не только речи, но и письма: для письменной речи необходимое условие — ее вторичность, или “цитатность”<sup>2</sup>.

Акт повторения — это ключевой механизм перформатива. Например, один из основателей перформанс-исследований Ричард Шечнер называет перформативное поведение “дважды оповеденным поведением” (*twice-behaved behavior*)<sup>3</sup>. На этой повторяемости основана, например, известная перформативная теория пола Джудит Батлер, в которой она рассматривает пол как осознанную роль, игруемую человеком. С ее точки зрения, “перформативность не является ни свободной игрой, ни театрализованной самопрезентацией; точно так же она не может быть просто при-

---

<sup>1</sup> Остин Дж. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике: Сб. науч. тр. Вып. 17: Теория речевых актов. М., 1986.

<sup>2</sup> Деррида Ж. Подпись — событие — контекст // Дискурс. 1996. № 1; Он же. Театр жестокости и закрытие представления // Письмо и различие: Пер. с фр. / Под ред. В. Лапицкого. СПб., 2000.

<sup>3</sup> Например, разного рода ритуальные действия (от утреннего кофе и университетских лекций до интернализации патриарха) являются регулярно повторяемыми структурированными практиками.

равнена к некоему представлению на сцене. Перформативность не может быть понята вне процесса репликации, регулируемого и вынужденного повторения норм. И это повторение не проигрывается субъектом, это повторение делает субъекта возможным и конституирует темпоральные условия его жизни. Репликация означает, что перформанс есть не сингулярный акт или единичное событие, а ритуализированный продукт, многократно и вынужденно повторенный под давлением необходимости и через нее, под воздействием силы запрета и табу, под угрозой остракизма и даже смерти, под воздействием управляющей и неодолимой формы, но *не установленной заранее раз и навсегда*<sup>1</sup>.

По сути дела, Батлер доказывает, что в самом перформативном высказывании заложена определенная тенденция к саморазрушению. При этом, как пишет М. Липовецкий, “важно подчеркнуть отличие перформативности от театрализации. Театральность и театрализация строятся на игровом обнажении разрыва между означающим и означаемым, тогда как перформатизм полностью снимает этот разрыв, отождествляя первое со вторым. Перформатизм восходит к ритуалу (в том числе и к карнавалу), магии и фольклорным жанрам, он сохранен и многими риторическими жанрами (клятвой, присягой, заговором и т. п.). Театральность с этой точки зрения может быть как перформативной, так и деконструирующей перформативное тождество означающего и означаемого. Так, театральные системы Станиславского и Мейерхольда представляют собой два типа перформативности: первый стремится превратить актерскую игру (означающее) в саму жизнь (означаемое), тогда как второй наделяет игру самостоятельным значением, уподобляя театр магическому механизму, способному из ничего создавать новую, ничего не отражающую реальность”<sup>2</sup>.

Перформанс и перформативность фокусируют внимание на действии и ролевых играх; это указывает на то, что идея перформативности в современном гуманитарном знании была порождена

---

<sup>1</sup> *Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity.* N. Y.: Routledge, 1990. P. 95.

<sup>2</sup> *Липовецкий М. Н. Перформансы насилия: “новая драма” и границы литературоведения // НЛО. 2008. № 89.*

в рамках “деятельностного подхода”<sup>1</sup>. “В центре внимания оказывается реализм актора и его способы понимания реальности, поскольку, если говорить о науках об обществе, этот актор является неотъемлемой частью ее объекта”<sup>2</sup>, вот только в качестве актора в перформативном повороте выступают не только люди, но и неодушевленные сущности. Сторонники перформативного поворота привлекают наше внимание к тому, что изменения в реальности происходят благодаря кооперации разных акторов и изучение действия должно начинаться с ответа на вопрос: *кто и что* участвует в действии? Известный американский философ науки Эндрю Пикеринг считает, что “с семиотической точки зрения... не существует различия между человеческими и нечеловеческими агентами: человеческая и нечеловеческая деятельность в любой момент могут быть преобразованы одна в другую... Мой анализ научной практики является постчеловекоцентричным не просто в том, что в нем уравниваются человеческие и материальные агенты, но, что более существенно, в утверждении того, что материальная и человеческая деятельность взаимно и эмерджентно продуцируют друг друга”<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Об итогах и перспективах этого подхода см., например, раздел III “Человек как предмет знания: деятельностный подход, компьютерная метафора, историческое знание” коллективной монографии “Наука глазами гуманитариев” (М., 2005).

<sup>2</sup> *Тевено Лоран*. Наука вместе жить в этом мире // Неприкосновенный запас. 2004. № 3 (35).

<sup>3</sup> *Pickering A.* The Mangle of Practice: Agency and Emergence in the Sociology of Science // *American Journal of Sociology*. 1993. Vol. 99. № 3. P. 559–589. URL: [http://www.v-lab.unn.ru/texts/Pickering\\_Mangle.htm](http://www.v-lab.unn.ru/texts/Pickering_Mangle.htm). В вышедшей в 1995 г. книге “Каландр практики” (The Mangle of Practice: Time, Agency, and Science. N.Y., 1995. В русском переводе встречается как “Вальцы практики”) Эндрю Пикеринг предлагает новый подход к пониманию непредсказуемого характера изменений в области науки. Этот подход учитывает ряд факторов — социальных, технологических, концептуальных и природных, которые, взаимодействуя, влияют на создание научного знания. По его мнению, машины, документы, факты, теории, концептуальные и математические структуры, дисциплинарные практики и люди постоянно меняются в отношениях друг с другом — *tangled* вместе непредсказуемыми способами, которые формируются неожиданными поворотами культуры, времени и пространства.

Пикеринг рассматривает проблему действия в контексте двух идиом науки: репрезентационной и перформативной, предлагая симметричный подход к действию<sup>1</sup>. По его мнению, репрезентационная идиома больше не продуктивна, поскольку относится только к человеческим существам. Она существует внутри перформативной, которая реферирует к людям, животным и вещам. Все они агенты, действующие в поле действия вообще. Здесь, в рамках методологии науки как разновидности исторической эпистемологии, создается новый вид эпистемологии — *интерсубъективная, или эмпатическая, эпистемология*, основанная на “перформативно-чувствительном способе познания”. Она призвана выявить субъективные основания и смыслы, которые лежат в основе социальных действий, и соединить людей, живущих в разных верованиях так, чтобы они смогли разделять некие общие идеи, свойственные сообществу в целом<sup>2</sup>.

Работ, в которых более или менее внятно излагались бы черты перформативного поворота, в общем немного. Польская исследовательница Э. Доманска, решая эту задачу, выделяет те основные характеристики перформативного поворота, которые не нуждаются в комментариях:

- *отрицание метафоры мира как текста*, так как она не может объяснить проблемы, раздирающие мир сегодня (геноцид, терроризм, технологический прогресс, глобализацию и пр.);

- *призыв к метафоре мира как множественным перформативным актам или действиям, в которых мы принимаем участие*, что означает сдвиг фокуса анализа мира от созерцания, рефлексии окружающего и человека к исследованию его восстания против существующей реальности. Двумя главными категориями перформативного поворота становятся изменение как ценность и активный, деятельностный (перформативный) субъект, который появляется в изменениях и влечет за собой конкретные изменения реальности, в частности события, хэппенинг и перформанс;

---

<sup>1</sup> См. также: *Hacking I. Representing and Intervening*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1983.

<sup>2</sup> *Spry T. A 'Performative-I' Coopresence: Embodying the Ethnographic Turn in Performace and the Performative Turn in Ethnography // Text and Performance Quarterly*. Vol. 26. № 4. October 2006.

• *призыв к антимеждисциплинарности*. Перформанс выступает как средство противостояния границам академической дисциплины, которая навязывает жесткие конвенции проведения исследований и представления их результатов. Точно так же перформативный синтез антидисциплинарен, он иллюстрирует “деэссенциализацию” академических дисциплин и прокладывает дорогу к мульти-, транс- или междисциплинарности;

• *призыв к постгуманистическим основаниям знания*, осуществляемый в контексте поворота к “нечеловеческому” (*turn to non-human*). Этот поворот приписывает деятельность и человеку, и нечеловеческим сущностям и рассматривает изменения как результат кооперации человеческих и нечеловеческих существ<sup>1</sup>.

На мой взгляд, в исторической науке перформативный поворот указывает на некий возможный сдвиг в понимании сущности и задач исторической дисциплины. Несомненно, на первый план выдвигается понимание истории как *Bildung*-процесса. Субъект этого процесса (и сам историк, и его читатели) ориентирован на осуществление конкретных действий в социальной и политической реальности, способных воздействовать на очертания будущего. Вооруженный принципами эмпатической эпистемологии, он отказывается от традиционных методов работы историка (изучение архивных материалов и конструирование на основе полученных данных исторического нарратива) и обращается к новым, акцентирующим глубокую вписанность человека в культуру и повседневную жизнь, возрождая старые топосы мира как театра и социальной жизни как спектакля. Перформанс отменяет репрезентацию и заменяет ее презентацией (или самопрезентацией).

В исторической литературе второй половины XX в. уже давно появились работы, так или иначе обсуждающие термин “перформанс” и теоретический аппарат перформативного поворота. Например, Стивен Бенн в статье “История как компетенция и перформанс: заметки об ироническом музее” обсудил вопрос о “музеологии” в контексте понятия “живущее прошлое”<sup>2</sup>. Рассматри-

---

<sup>1</sup> Domanska E. Zwrot performatywny we współczesnej humanistyce // Teksty Drugie. 2007. № 5. P. 48–61.

<sup>2</sup> Bann St. History as Competence and Performance: Notes on the Ironic Museum // A New Philosophy of History. Ed. Frank Ankersmit and Hans Kellner.

вая музей де Клуни, он показал, что историческое знание (компетенция) может быть приобретено разными способами. Эпистемологический разрыв в принципах исторической репрезентации возник в западном историописании примерно во второй четверти XIX в., когда свойственное эпохе Ренессанса монокулярное восприятие мира сменилось так называемым двойным, или стереоскопическим, видением, выражающимся, в частности, в антитезе (или относительной взаимозависимости) вербального и визуального. История могла быть представлена как в произвольной и внешней фонетической форме (нарративе), так и материальной средой, которая не просто каким-то образом “напоминает” историю, а реально представляет ее<sup>1</sup>.

В XIX в. функция исторической репрезентации (романы, картины, музеи, спектакли) заключалась в том, чтобы конкретизировать историю прошлого как определенный репертуар специфических исторических различий. Нарратив прошлого был представлен через множество образов, которые имели свою собственную материальную форму и свое собственное местоположение в пространстве (в комнате музея или между страницами иллюстрированной книги). Бенн указывает на *реальное* проявление опыта истории настолько, насколько он может быть репрезентирован. С его точки зрения, “с эпохой начала XIX века люди вдруг стали осознавать, что для того чтобы увидеть то, на что было похоже прошлое, нужно вспомнить о таких домашних вещах, как мебель... Мебель функционирует как своего рода сдвигающее устройство, трансформирующее границы между нашим настоящим и окружающей средой или обстановкой... На каких стульях сидели тогда? И это очень понятная тенденция, которая была сформирована в литературе, к примеру, Проспером Мериме, в музеях (таких, как музей де Клуни), художниками, например Ричардом Парксом Бо-

---

Chicago: Univ. of Chicago Press, 1995. P. 195–211. Бэнн реферирует здесь к дихотомии *competence / performance*, введенной в лингвистике Н. Хомским. “Компетенция” обозначала знание системы языка, а “перформанс” — владение им в реальных ситуациях общения.

<sup>1</sup> Как замечает Липовецкий, “перформанс всегда связан с трангрессией — с пересечением и подрывом символических границ”. См.: *Липовецкий М. Н. Указ соч.*

нингтоном. Все они старались реконструировать место действия как нечто независимое от акторов”<sup>1</sup>.

Эти рассуждения воспроизводят одну из важных характеристик перформативной идиомы исследования истории — роль нечеловеческих сущностей в отправлении действия. Но Бенн все-таки понимает концепт перформанса в исторической науке как вариант *спектаклярного* действия. Он обращает внимание на французского писателя XIX в. Пьера Лоти, который декорировал комнаты в своем доме под определенную историческую эпоху: в стилях Ренессанса, средневековом готическом, ближневосточном, китайском. При открытии, например, комнаты в стиле Средневековья Лоти организовал банкет, на котором гости были “одеты в соответствующие одежды, пели песни менестрелей”. Перформативность здесь создает некое карнавальное пространство, связанное с конкретным историческим контекстом. Восстанавливая определенную историческую среду таким способом, история как дисциплина, призванная изучать прошлое, предстает и как момент познания, и как момент перформанса. Собственно, в этом и воплощается суть эмпатической эпистемологии.

Другой историк, Пол Каннертон, в своей работе о памяти, выполненной в перформативной идиоме, стремится порвать с концепцией памяти как определенного множества интеллектуальных процедур и концентрирует внимание на исследовании *телесных практик памяти* (жестов, улыбок, положения тела в пространстве в ходе отправления культовых обрядов и коммеморативных церемоний) как механизмов сохранения социально-традиционной памяти. С его точки зрения, через действия тела память не только презентует себя, но и реально действует. “Перформансы функционируют как витальные акты переноса, передачи социального знания, памяти и чувства идентичности через многократно повторенное поведение”, — комментируя Каннертона, пишет Дайана Тейлор<sup>2</sup>.

Кроме обращения к перформансу непосредственно (музей, “живущая” память и пр.) и выбора своеобразного угла зрения в историческом исследовании (акцент на анализе телесных прак-

---

<sup>1</sup> Domańska E. Stephen Bann // Encounters... P. 244.

<sup>2</sup> Taylor D. The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in Americas. Durham: Duke University Press, 2003. P. 45.



тик, нечеловеческих сущностей как акторов), историк может писать и перформативный текст, в котором никакого “визуального ряда не нужно — текст устроен так, что замещает собой зрелище, одновременно продуцируя зрелищные эффекты”<sup>1</sup>.

Рассуждая о некоторых теоретических аспектах работы историка, Р. Барт в “Дискурсе истории” писал: «В общем и целом исторический дискурс знает две формы вступления: во-первых, это перформативное введение, где речь представляет собой в полном смысле слова торжественно-основополагающий акт; образец подобного введения дает поэтическая формула “пою...”»<sup>2</sup>. В отличие от нормативных текстов (исторических нарративов, выполненных в позитивистской манере *Wissenschaft*) перформативный текст в *Bildung* рассматривается “не с точки зрения истинности исторического повествования, а с точки зрения аутентичности саморепрезентации” языковой личности историка, и сам является действием<sup>3</sup>. Его композиция, подобно речи древнего мудреца, “заражает” читателя лексическими повторами, риторическими жанрами (клятвой, присягой, заговором) и вовлекает его в действие, произвольно располагая читателя в разных точках своего пространства. Даже “заглавие перформативного текста указывает не на то, о чем этот текст, а на действие, совершаемое этим текстом. Одновременно оно указывает на то, как следует читать и понимать текст. Перформативные тексты основаны на возможности совмещения на одном знаковом материале двух функций: ретроспективной (описание) и проспективной (предписание)”<sup>4</sup>. При

---

<sup>1</sup> Липовецкий М. Н. Указ. соч.

<sup>2</sup> Барт Р. Дискурс истории // Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003. С. 429.

<sup>3</sup> Хабермас Ю. Понятие индивидуальности // Вопросы философии. 1989. № 2. С. 37.

<sup>4</sup> Грязнова Ю. Б. Перформативные тексты в истории науки: Автореф. дисс. ... канд. филос. наук. М., 1998. Грязнова заголовок работы Фейерабенда “Против метода” определяет как перформативный текст, а Гадамера “Истина и метод” — как описательный. В качестве примера исторического текста, обладающего свойством перформатива, можно взять некоторые тексты Ж. Батая, С. Шамы. Они выполнены в жанре своего рода “научной игры”. Историки исследуют также такие перформативные тексты, как инаугурационные речи.

этом перформативность в истории берется, конечно, в ее мейерхольдовском значении, когда историческое исследование рассматривается как особый креативный механизм, способный, в общем-то, из ничего (мебели, стульев, песен, танцев, языка историка плюс телесных практик) создавать новые значения.

В связи с этим, думаю, к перечню характеристик перформативного поворота, перечисленным Доманской, можно добавить понятие *семиофорности*. Согласно теории франко-польского исследователя Кшиштофа Помиана, все предметы делятся на два класса — утилитарные (имеющие пользу) и семиофоры (без пользы, но со значением). Особенность семиофоров заключается в том, что они принципиально исключены из практической деятельности. Все люди условно делятся на два типа: люди-вещи, для которых все предметы наделены только утилитарной полезностью, и люди-семиофоры, для которых вещи наделены нераспознанным значением<sup>1</sup>. Перформативный поворот в истории помогает выявить семиофоры среди других людей и предметов и превращать в семиофоры утилитарные предметы. В этом смысле перформативный поворот можно рассматривать как оборотную сторону антропологического поворота в историографии с его микроисториями и историей снизу. Люди-семиофоры — это, например, Меноккио из работы К. Гинзбурга “Сыр и черви”.

В репрезентационной историографической идиоме в качестве модели или метафоры изучения истории выступают визуальные искусства. В перформативной идиоме эта метафора претерпевает некоторые изменения: визуальность здесь проявляется в новом, *жестовом* прочтении, представленная так называемым спектакулярным искусством с его акциями, перформансами и телесными практиками (*body art*)<sup>2</sup>. Как в эпоху лингвистического поворота история тесно сблизилась с литературой, так в перформативном повороте историки сближаются с искусством, трансформируясь в своего рода перформеров и акционистов. Тело становится текстом. Лингвистический поворот в своем излете обозначил факт

---

<sup>1</sup> Такие люди часто являются героями истории, хотя мы и не считаем их таковыми.

<sup>2</sup> *Абалакова Н. Б.* Языки тела. URL: [http://www.synergia-isa.ru/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/abalakova\\_yazykytela.doc](http://www.synergia-isa.ru/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/abalakova_yazykytela.doc)

непередаваемости только на вербальном или письменном уровне некоего внутреннего ощущения истории (исторического опыта, если реферировать к Ф. Анкерсмигу) и призвал обратиться к презентации<sup>1</sup>. Историк-перформер создает *модель исторического действия* (как в музейном или зрелищном варианте, так и в перформативном тексте), результатом которого является определенное состояние читателя — зрителя — участника, сопереживающего это действие и вовлеченного в него. К таким историческим перформансам можно отнести чтение своих текстов Э. Радзинским, который во многих интервью подчеркивает, что считает себя прежде всего историком, а уж потом писателем. Здесь история как *Bildung*-процесс вводит субъекта в историю и открывает ее для него.

Безусловно, многое из теоретического аппарата перформативного поворота, который к тому же пока не до конца продуман и осмыслен, может показаться историкам не заслуживающим внимания: все-таки старые, проверенные временем методы исторической работы в целом пока не вызывают сомнений<sup>2</sup>. Деррида как-то сказал, что “перформатив не играет той первостепенной роли, которую ему обычно отводят. Событие не может быть перформативным. Перформатив предполагает строгое соблюдение некоей заранее заданной, неподвижной условности” (Дж. Батлер писала об этом как о “неодолимой форме пола”), а события текут и изменяются, иначе они не были бы нарративом, сюжетным текстом<sup>3</sup>. Перформатив, кроме того, возрождает старые дискуссии о проблеме референциальности и истины в истории. Но все те изменения в нашей жизни, о которых шла речь в начале статьи, все те новые методологические приемы и подходы, которые предложены социально-гуманитарным знанием за последние 30 лет в це-

---

<sup>1</sup> См., например: *Шустерман Р.* Мыслить через тело: гуманитарное образование // Вопросы философии. 2006. № 6.

<sup>2</sup> Перформативный поворот по-разному трактуется в исторической дисциплине, например, как изучение поведения людей в непредвиденных ситуациях. См.: *Burke P.* Performing History: the Importance of Occasions // *Rethinking History*. 9. 2005. № 1. P. 35–52.

<sup>3</sup> *Деррида Ж.* Рана истины или противоборство языков // Отечественные записки. Журнал для медленного чтения. 2004. № 5 (19). URL: <http://www.strana-oz.ru/?numid=20&article=962>

лях осмысления этих изменений, не могут обойти историческую дисциплину стороной. Сформированные в эпоху *post-post-mo* новые темы исторических исследований требуют свежих методологических идей.

Можно утверждать, что перформативность как один из концептов исторической эпистемологии сегодня входит в исторические исследования. Другое дело, как с этим быть дальше: относиться как к руководству к действию и применять принципы перформативного поворота в своей работе или как к аналитическим выкладкам, которые ничего не говорят о том, что конкретно надо делать. Я думаю, что в этом или в ином качестве, но в контексте функционирования истории как *Bildung*-процесса, некоторые описанные выше характеристики перформативного аппарата исследований все-таки будут востребованы, потому что перформанс и перформативность пробуждают экзистенциальные аспекты человеческого познания (истории) в противовес нашей любви к научным фактам как неопровержимым аргументам.

## Глава 3. РАКУРСЫ ОБЗОРА НАУКИ ОБ ИСТОРИИ

---

### 3.1. Доминик Ла Капра и исторические исследования XX–XXI вв.<sup>1</sup>

Доминик Ла Капра — известный историк США, работающий в жанре интеллектуальной истории. Его работам всегда свойственны высокий ранг рефлексии и неоднозначность суждений. Книга “История и ее пределы. Человек, животное, жестокость”, вышедшая в 2009 г. в издательстве Корнеллского университета, привлекла внимание профессионалов предложенным в ней переосмыслением отношений между интеллектуальной историей, культурной историей и критической теорией. Это переосмысление Ла Капра осуществил в контексте размышлений о границах исторического исследования. По его мнению, история слишком часто понимается как наука, призванная своими занимательными нарративами и даже анекдотами, поддержанными “надежными” фактами, “мягкими” аналогиями и “воображаемыми” интерполяциями, заполняющими лакуны в документальных источниках, доставлять читателю удовольствие. Однако “благо никогда не дается людям в чистом виде, к нему всегда присоединяется зло; успехам сопутствуют неудачи, удовольствиям — огорчения...”, поэтому к числу вечных тем исторической дисциплины также относят исследования жестокости и насилия<sup>2</sup>. Интерес к злу, как полагала

---

<sup>1</sup> Кукарцева М. А. Край возможного, или Размышления о новой книге Доминика Ла Капры “История и ее пределы. Человек, животное, жестокость (*La Capra Dominic. History and Its Limits. Human, Animal, Violence.* Cornell University press, Ithasa and London, 2009) // Диалог со временем. 2011. № 34.

<sup>2</sup> Диакон Л. История. М., 1988. С. 9.

Х. Аренд, навсегда останется фундаментальным в интеллектуальной жизни, и не только для Европы.

Примерно с начала XX в. историческая наука сосредоточилась на изучении конечности человеческой экзистенции, на анализе феномена смерти в его разных аспектах, дискурса смерти как одного из ключевых вариантов исторического дискурса вообще. Системные сдвиги XX в. (национализм — Первая мировая война, коммунизм — Октябрьская революция, фашизм — Вторая мировая война) породили убеждение в том, что “без смерти не было бы никакой истории. История вскармливает смерть. История начинается в могиле”<sup>1</sup>. Этот тезис вызывает огромный интерес историков к практически бездонному запасу семантических вариантов интерпретации феноменов “ужаса” и “жуткого” при одновременно крайне ограниченном методологическом репертуаре их анализа. Указанный интерес сосредоточен в специальной области исследований — *trauma studies*, во многом возникшей в связи с событиями 11 сентября 2001 г.<sup>2</sup> Вопрос, среди прочего, упирается в следующую дилемму: как репрезентировать ближайшее прошлое, которое — все еще наша собственная жизнь, и одновременно выразить чувство вины, не нарушая баланса между самим историческим событием и любым отношением к нему<sup>3</sup>.

Один из основных источников методологических приемов историки увидели в психоанализе, в частности в работах Фрейда. В одном из своих эссе 1919 г. под названием “Жуткое”

---

<sup>1</sup> Domanska E. Toward the Archaeontology of the Dead Body // Rethinking History. V. 9. 2005. № 4. P. 59. О философских исследованиях “ужасного” см., например: Делломо Ж., Фрезер Дж. Дж. Мистификация ужаса. М., 2009.

<sup>2</sup> См., например: Мир в войне. 11 сентября 2001 г. глазами французских интеллектуалов (М. Сюриса, А. Бадью, Ж. Рансьер, Ж.-Л. Нанси и др.). М., 2003.

<sup>3</sup> Исследования подобного рода инспирировали этические соображения, касающиеся теории и истории историографии. Уайт, например, полагал, что в основном эстетические и этические регулятивы, а не эпистемологические нормы определяют познание истории, а К. Гинзбург утверждал обратное. Развитие указанных идей привело к углублению границы между фактом и вымыслом во многих исторических исследованиях второй половины XX в., особенно в работах постмодернистской направленности. Это оскорбило тех людей, которые считали, что фикцию и вымышленную без-

(*Unheimlichkeit*) Фрейд описал чувства беспокойства, опасения и ужаса, вызываемые при определенных обстоятельствах привычными предметами. “Жуткое — разновидность пугающего, которое имеет начало в давно известном, издавна привычном... Впечатление жуткого возникает, когда стирается грань между фантазией и действительностью, когда перед нами предстает нечто реальное, что до сих пор мы считали фантастическим”<sup>1</sup>.

К идеям Фрейда об *Unheimlichkeit* не раз обращались многие историки и философы истории: М. де Серто, М. Фуко, Ф. Анкерсмит, П. Рикёр и др. В своей книге Ла Капра тоже размышляет об этом; в фокусе его интереса находятся проблемы исторического понимания и репрезентации неоднозначных исторических событий эпохи, *постсекулярного* общества (говоря языком Ю. Хабермаса)<sup>2</sup>. Ла Капра задается вопросом, можно ли (и каким образом) показать в истории феномен травмы одновременно и как реальность, жуткое, и как образец негативного возвышенного? Отсюда лейтмотив его книги: как надо (и как не надо) в исторической науке размышлять о границах познания, которые задаются, во-первых, нормами научного исследования, во-вторых, экстремальностью чрезвычайных событий и переживаний, которые трансgressируют или даже временно приостанавливают действие нормативных ограничений. “В последнем случае мы сталкиваемся с важным моментом: каким образом историография доходит до своего предела, пытаюсь исследовать крайности. Па-

---

нравственность сторонники *эстетического поворота* слишком близко поместили к исторической действительности холокоста. В итоге Д. Ла Капра призвал к *этическому повороту* в исторических исследованиях, что совпало с концом постмодернистского историописания. См.: *La Capra D. History and Memory after Auschwitz*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1998; *Conclusion: Psychoanalysis, Memory, and the Ethical Turn*. P. 180–210. См. также: *The Ethics of History* / L. Carr, T. R. Flynn and R. A. Makkreel ed. Northwestern University press. Evanston, Illinois, 2004.

<sup>1</sup> Фрейд З. Жуткое // Художник и фантазирование. М., 1995. С. 265–266, 277 (О новелле Э. Т. А. Гофмана “Песочный человек”).

<sup>2</sup> См.: Хабермас Ю., Ратцингер Й. (Бенедикт XVI). Диалектика секуляризации. О разуме и религии. М., 2006. Краткий обзор концепций постсекулярного общества см.: Узланер Д. Постсекулярное: ставим проблему // Русский журнал. 2009. Сентябрь.

радикальным случаем такого рода является жестокость, связанная с травматизацией. И тем более интересно то, почему жестокость и насилие очаровывали западное мышление и практику. Это особенно важно тогда, когда жестокость не является необходимым условием достижения некоего результата (свершения революции, принесения жертвы во имя спасения от страшных эпидемий и пр.), а сакрализуется в фундаменталистских понятиях, становится возвышенной и искупительной”<sup>1</sup>.

Каким образом критическая историография может ответить на вызовы деструктивных сил, играющих столь важную роль в так называемых пограничных событиях истории? Следует ли из такого рода попытки то, что исследователь с необходимостью становится соучастником объекта исследования, фиксируясь на жестокости, путая жалость с идентификацией жестокости; что он целиком проецируется на объект своего исследования и критики? Каким вариантам доступа к таким объектам ему нужно следовать: абсолютному отрицанию, идеализированной меланхолии, эстетике возвышенного, предчувствию апокалипсиса, признанию феномена “творения из ничего”, утешению утопической надежды на лучшее? Как вообще понимать недавние, часто жуткие мольбы постсекулярного общества и отношений человек — животное? Что вообще нужно для того, чтобы попытаться “мыслить” историю в контексте сложной проблемы границ и пределов ее исследования? По мнению Ла Капры, ответы на эти вопросы требуют сотрудничества разных жанров истории: интеллектуальной истории, разных форм культурных исследований и критической теории, вместе реализующих трансгрессивные и одновременно захватывающие научные подходы, разрушающие границы академических дисциплин. “Фокус моего внимания в этой книге сосредоточен на интеракции интеллектуальной истории и критической теории, причем критическая теория понимается главным образом в терминах исследования и анализа базовых допущений в практиках и формах мышления. Эти допущения задают границы исследования, которые могут остаться непроанализированными, особенно если они встроены в габитус или в то, что как бы само собой разумеется”<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> *La Capra D. History and Its Limits. Human, Animal, Violence. Cornell University press, Ithasa and London. 2009. P. 7.*

<sup>2</sup> *Ibid. P. 2.*



Книга содержит семь эссе, понимаемых как научный обзор релевантных дискуссий в области интеллектуальной истории, содержащий анализ их ключевых тем и идей. Такой эссеистский подход, по мнению Ла Капры, позволяет выстроить убедительную аргументацию и общую линию размышлений об искомом объекте и в то же время сохранить его как предмет дальнейшего обсуждения. Все эссе выстроены в форме диалога и, в сущности, представляют собой метаκριтику интеллектуальной истории, исследовательские допущения, определяющие основные направления поисков базовых форм ее концептуализации.

В первых двух эссе под названиями “Артикулируя интеллектуальную историю, культурную историю и критическую теорию” и “Перипетии практики и теории” Ла Капра рассматривает возможности кооперации указанных жанров исследования истории, соотношение в них эмпирических и теоретических методов анализа.

Он указывает на то, что кафедра интеллектуальной истории всегда приписана к историческим факультетам, но историки, работающие в ее жанре, ощущают себя маргиналами в исторической дисциплине. Это происходит потому, что интеллектуальная история не предлагает читателю очаровательных и захватывающих нарративов, не открывает новых поразительных архивных фактов, не наполняет ими описания неких интригующих исторических событий и переживаний. “В качестве основной формы своего исследования интеллектуальная история рассматривает тщательный критический анализ сложных текстов и артефактов, фокус ее интереса сосредоточен на способах *концептуализации* и *аргументации* — методах, которыми материал продуман или не продуман до конца, “осужетен”, переработан и изложен”<sup>1</sup>.

Интеллектуальная история анализирует сложные понятия, выработанные в ходе развития познания, а также разнообразные представления о способах мышления. Когда историк обращается к множественным смыслам и импликациям прошлого, настоящего и будущего, сомнению должна подвергаться любая признанная, конечная дата или периодизация той или иной исторической эпохи либо события. По мнению Ла Капры, критико-теоретическая ори-

---

<sup>1</sup> *La Capra D. History and Its Limits. Human, Animal, Violence. P. 3.*

ентация интеллектуальной истории, реализуемая комбинацией вопрошания, самовопрошания, проблематизации избранных тем, делает ее своего рода *метауровнем* исследования. При этом интеллектуальная история также изучает и традиционные методы исследования, сопоставляя их допущения и смыслы с теми, которые привели или пока не привели к результатам. Мышление в интеллектуальной истории приобретает форму диалога, открытого поискам истины, выявлению спорных допущений и аргументов, движению в сторону более интересных альтернатив.

Интеллектуальная история имеет непростые отношения с разными научными подходами к истории (социологическим, экономическим, политическим и пр.) и с *культурной историей*. Ла Капра замечает, что особенность культурной истории заключается в том, что она не связана ни с какими традиционными канонами и широко соотносится с самыми разными социальными и политическими процессами и феноменами, в том числе с такими, как квир-движение и проблема отношения человека и животных. В интеллектуальной истории подобные топики исследования являются маргинальными. Кроме того, культурная история ограничена своей практикой или методологией и сопротивляется теоретическому осмыслению своих допущений. Но “теорию нельзя идентифицировать исключительно с теоретизмом или мышлением, оперирующим на уровне спекулятивных, чисто концептуальных, часто самореференциальных абстракций, основывающихся на них самих и конструирующих историю как источник неких иллюстраций и знаков, как хранилище несоизмеримых уникальностей и единичностей или как трансисторическую абстракцию (травму, например)”<sup>1</sup>. Так, по мнению Ла Капры, видят сущность теории Дж. Агамбен и С. Жижек.

Однако нельзя допустить, чтобы культурная история элиминировала интеллектуальную историю; и наоборот — чтобы интеллектуальная история заменила собой культурную, основываясь на атеоретичности или антитеоретичности последней. Понятие границ и пределов — это, безусловно, спекулятивный элемент в исторической рефлексии. Но он должен быть рассмотрен и до известной степени отрегулирован эмпирическими исследованиями,

---

<sup>1</sup> *La Capra D. History and Its Limits. Human, Animal, Violence. P. 30.*

которые никогда не смогут полностью доказать или подтвердить определенные точки зрения, но могут сделать их более надежными. Эмпирическое исследование, хотя и не самодостаточное, весьма продуктивно тогда, когда кооперируется с критическим исследованием и рассматривается как проверка на реальных данных, когда оно способствует выявлению специфических особенностей объекта исследования и предохраняет свободный полет теоретической мысли историка от избыточно длительного зависания в воздухе. Однако без спекулятивного измерения история ограничивается узкими рамками методов социальных наук, отрезающих доступ к междисциплинарным инициативам, столь необходимым интеллектуальной истории.

Задача совместных усилий интеллектуальной истории и культурной истории, по мнению Ла Капры, заключается в выработке таких подходов к теории, которые были бы провокативны и частично непредсказуемы в решении исторических и социополитических вопросов. Для успеха задуманного к интеллектуальной и культурной истории должна быть добавлена и определенная *критическая теория*. Это может быть, например, психоанализ (к которому Ла Капра всегда испытывал методологическую и эвристическую симпатию), теория травмы, деконструкция (по справедливому мнению Ла Капры, главная заслуга теории деконструкции — трансгрессия бинарных оппозиций или тотальных дихотомий, ведущая к “постсекулярному миру”), критическая теория Франкфуртской школы и др.<sup>1</sup> Ла Капра подчеркивает, что любая критическая теория детально исследует определенный габитус для того, чтобы эксплицировать его и сделать открытым для анализа, причем методами, которые одновременно проверяют достоверность его компонентов и создают возможность их последующих изменений.

Вооружившись некоей критической теорией, история начинает пересекаться с другими дисциплинами самыми нежи-

---

<sup>1</sup> *La Capra D. History and Its Limits. Human, Animal, Violence. P. 34.* При этом симпатии Ла Капры находятся в области критической теории франкфуртцев. В качестве блестящего исследования последней он ссылается на книгу еще одного известного представителя интеллектуальной истории Мартина Джея. См.: *Jay M. The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research (1923–1950). Boston: Little, Brown and Company, 1973.*

данными и временами просто дезорганизирующими способами, грозящими перевести историю через привычные ей границы и одновременно дезавуировать критерии выделения других академических дисциплин. Такие кросс-дисциплинарные темы исследования, как травма, жестокость, смерть, феномен постсекулярного и прочие выходят из предполагаемо-единственной области, где они могут быть исследованы. Ла Капра считает, что интеллектуальная история служит своего рода плацдармом, где критическая теория в ее разных вариантах может развернуться во всем поле исторической дисциплины и, в определенной степени, во всей академической науке вообще. «Интеллектуальные историки постоянно сталкиваются с проблемой того, где они могут “сгодиться” и вправе ли они “перенять обычаи и образ жизни туземцев”, восприняв исследовательские теории (включая психоанализ) достаточно серьезно для того, чтобы преодолеть уже объективированные концептуализации и конвенциональные нарративы и осуществить новый критико-теоретический дискурс»<sup>1</sup>.

Кроме того, в исторической профессии интеллектуальная история сама по себе является источником различных форм критической теории. «Интеллектуальная история, тесно связанная с критической теорией, может быть рассмотрена одновременно как дефляционная вероятность и как вдохновляющая критика в области историографии, которая без этого могла бы и не увидеть необходимости (и норм) определенных форм исследования и концептуализации»<sup>2</sup>. В результате совместных усилий интеллектуальной истории, культурной истории и критической теории может быть создано особое поле конвенциональной истории. Тремя столпами последней с давних пор считаются контекстуализация, архивные исследования и нарративы. Но эти три элемента должны находиться в постоянном переосмыслении. Одним из направлений такого переосмысления и является анализ феноменов насилия, травмы, жесткости, смерти, объединенные в отношении “животное — человек — природа”, полагает Ла Капра.

Интеллектуальная история ограничена *контекстом* объекта своего исследования, что в значительной мере снижает ее ког-

---

<sup>1</sup> *La Capra D. History and Its Limits. Human, Animal, Violence.* P. 11.

<sup>2</sup> *Ibid.* P. 4.

нитивные возможности и сужает репертуар ее методов и предметов анализа. Базовый принцип интеллектуальной истории требует считать важными только те идеи и теории мыслителей прошлого, которые отражают или иллюстрируют *ключевые дискурсы* исследуемого времени, выражающие *Zeitgeist*. Предполагается, что без реконструкции этого дискурса невозможно понять прошлое, поэтому исторического исследования заслуживает только тот мыслитель, который является примером осуществления такого дискурса<sup>1</sup>.

Феномен травмы, по мнению Ла Капры — тот объект, который позволяет радикально деконтекстуализировать интеллектуальную историю и выйти за пределы репрезентации к задачам реконфигурации значений и тем исследования. Травма становится своего рода *всепоглощающим контекстом*, стирающим эмпирическую релевантность других контекстов, поскольку открывает историю для непредсказуемости и жуткого. Связанная с определенной критической теорией, интеллектуальная история формулирует относящиеся к феномену травмы *гипотезы*. Например, как в истории понимался феномен травмы и как он ассоциировался с жестокостью? Это была физическая или психологическая проблема? Как критико-теоретическая конструкция интеллектуальной истории ставит вопрос о *методах* артикуляции проблем, исходя из какой позиции пишется тот или иной нарратив травмы? Насколько адекватны выражающие ее понятия? Может ли кто-нибудь олицетворять собой травму и отделить себя от возникающих в связи с этим проблем трансференции? Интеллектуальная история купно с культурной историей и критической теорией исследуют взаимную вовлеченность наблюдателя и наблюдаемого: может ли чей-то дискурс контролировать травму и ее воздействие, преобразуя ее в исследовательскую проблему? Ответы на эти вопросы инспирирует интенсивный взаимообмен между прошлым и настоящим для очерчивания контуров будущего.

---

<sup>1</sup> В связи с этим примечательна книга А. Мегилла “Карл Маркс: бремя разума (М., 2010) (*Megill A. Karl Marx: The Burden of Reason (Why Marx Rejected Politics and the Market)*). Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2002). В ней Мегилл показал Маркса как ученого, опередившего свое время, мыслителя, не вполне вписывающегося в его ключевые дискурсы. В результате книга Мегилла вызвала неприятие многих представителей самого жанра интеллектуальной истории.

В следующих трех эссе книги — “Травматропизм: от травмы через свидетельство к возвышенному?”, “Об исследовании жестокости” и “Хайдеггер, жестокость и исток художественного творчества” Ла Капра рассматривает проблемы “элитарной” культуры, возникающие в ходе анализа указанной триадой феномена травмы и насилия. В этих эссе он разбирает тексты М. Бахтина, З. Фрейда, М. Хайдеггера, Ж. Батая, С. Жижека, В. Беньямина, Ж. Деррида и других авторов, посвященные искомой теме. В эссе “Травмотропизм...” Ла Капра рассуждает о восприятии жертвами насилия последствий травмы и о возможной квалификации травмы<sup>1</sup>.

Исследуя травматический опыт узников концлагерей, речи вождей Третьего рейха и другие свидетельства проявления жестокости в истории, он соотносит между собой понятия возвышенного и жуткого, рассмотренные в контексте травматропизма. По мнению Ла Капры, они представлены разными способами. Возвышенное тяготеет к трансцендентности, проявляясь через некий радикальный, апокалиптический перелом и относится к надеждам или тревогам всего секулярного просвещения, испытывающего уважение к “сакральному и суеверному”. Жуткое относится к области имманентных форм возвышенного, к сублимации как интимному, внутреннему процессу и ассоциируется со сферой примитивного и анимистического. Возвышенное и жуткое по-разному соотносятся с феноменом травмы.

Травма может быть преобразована в возвышенное в ситуации абсолютного разрыва с прошлым: в ходе попыток реализации какой-нибудь утопической идеи, перехода от “града земного” к “граду божьему”, символизированного убийством Каином Авеля, казни Людовика XVI, краха нацизма и пр. Соотношение жуткого и травмы иное. Жуткое выступает в качестве причины или результата травмы либо проявляется в виде ее симптомов. Возвышенное может быть рассмотрено как жуткое, как репликация репрессированного, подавленного или дезавуированного сакрального. Кроме того, возвышенное само может обладать эффектом жуткого, а жуткое в свою очередь может стимулировать попытки рассматривать трансцендентность с точки зрения маниакаль-

---

<sup>1</sup> Травмотропизм (от греч. *trauma* — рана и *tropos* — поворот) — способность растущих органов растений изгибаться под влиянием поранения.

но повторяющихся ситуаций “ужасной путаницы” (тыква как отрубленная голова и пр.).

Замечу, что о подобной диалектике возвышенного и жуткого в контексте исследования травматического опыта, а также об ее иллюстрации в историческом дискурсе много писал Ф. Анкерсмит. Например, в статье “Травма и страдание. Забытый источник западного исторического сознания” он рассуждает о том, что западный исторический дискурс вообще детерминирован драматическими событиями истории Запада<sup>1</sup>. Коллективный опыт ужаса и страха, пережитый Европой в эпоху гибели Римской империи, во время эпидемии чумы 1348 г., Столетней войны, Французской революции и прочих событий наделили прошлое Запада непреходящей болью. Тень этих страданий отразилась на народах Европы гораздо сильнее, чем периоды счастья и радости. Конечно, незападные цивилизации и незападные локальные миры тоже пережили не одну войну, эпидемию и геноцид, но именно западный человек приобрел *опыт* трагедии, в котором и раскрывается подлинная сущность истории.

“Чем объяснить особую чувствительность к травмам, которой обладает западный человек?” — спрашивает Анкерсмит. Травма присуща западному сознанию из-за его неспособности абсорбировать травматический опыт *внутри* истории. Коллективное страдание стало внешней частью западной культуры, чем-то, что могло быть выражено в идиоме культуры, чем-то, о чем можно говорить и писать. И в этой пустоте между страданием и языком возник новый тип дискурса — историописание, имеющее своей целью связать описание страдания и само страдание. Для западной цивилизации исторический дискурс стал, с одной стороны, медиатором между травмой и страдающими от нее, а с другой — объективацией того и другого.

В своей книге Ла Капра, обращаясь к иному исследовательскому материалу, оппонирует идеям Анкерсмита. В эссе “Об исследовании жестокости” он рассуждает, например, о том, чем яв-

---

<sup>1</sup> *Ankersmit F. Trauma and Suffering: A Forgotten Source of Western Historical Consciousness // Western Historical Thinking. An Intercultural Debate. Edited J. Rüsen. Berghahn Books. New York. Oxford. 2002. См. также его работы: Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2009; Он же. Возвышенный исторический опыт. М., 2007.*

ляется “терроризм... как систематическая травматизация населения правительственными или неправительственными группами” — феноменом возвышенного, феноменом жуткого или “особой” смесью того и другого?<sup>1</sup> В конечном итоге Ла Капра приходит к выводу, что жестокость не есть нечто противоположное Западу и аккумулированное в “других”, в исламском фундаментализме например. Она — “другое” внутри любого: и “восточного”, и “западного”<sup>2</sup>. По мнению Ла Капры, необходимо ясно различать стратегическое и контекстуальное оправдание жестокости, а также ее сакральные, возвышенные или искупительные толкования. Существуют разные формы, модальности и конструкции феномена жестокости, так же как и разные силы, способные ее ограничить или даже нейтрализовать совсем.

В пятом очерке “Хайдеггер, жестокость и исток художественного творения” он размышляет о статье Хайдеггера “Исток художественного творения”, рассуждая, в частности, о причинах симпатии Хайдеггера к нацизму<sup>3</sup>. Эту симпатию он объясняет тем, что Хайдеггер рассматривал идеологию нацизма как носителя неких высших регенеративных сил, которые положат конец неподлинности современной цивилизации и возродят в новом облике величие цивилизации древних греков. В этом контексте, с точки зрения Ла Капры, и надо читать указанную работу Хайдеггера — как попытку преодоления (пусть даже и через жестокость, принесение жертвы) обветшалого языка нашего времени, превратившегося в болтовню, ради Истины, ради того, чтобы она “нашла себя в себе”.

---

<sup>1</sup> *La Capra D. History and Its Limits. Human, Animal, Violence. P. 92.*

<sup>2</sup> Рассуждения Ла Капры о причинах жестокости террористов близки социопсихологической концепции современного терроризма А. Пятигорского и О. Алексева. См.: *Пятигорский А., Алексеев О. Размышляя о политике. М., 2008. С. 133–157.*

<sup>3</sup> В нем Хайдеггер мыслит отношение народа к бытию через уникальность языка. “Исток художественного творения, то есть одновременно творящего и хранящего себя в Истине, а это значит, исторического бытия определенного народа, есть истина. Это так, потому что искусство в своем существовании есть начало и ничто иное: отличительный способ, каким истина становится существующей и тем самым сбывается в истории”. См.: *Heidegger M. Holzwege. Frankfurt a. M., 1963. P. 25, 65. Цит по: Хайдеггер Мартин. Бытие и время. М., 1993.*



В шестом эссе “Пересматривая вопрос о человеке и животном” и седьмом — “Тропизмы интеллектуальной истории” Ла Капра обращается к известным идеям поворота к “нечеловеческому” или постгуманизму (*non-human turn, post-humanities studies*), произошедшего в западном социогуманитарном дискурсе последней трети XX в. и связанного с именами Ж. Батая, позже — Б. Латтура, Д. Харауэй, Э. Пикеринга и др. Здесь *humans* открыты для диалога с *non-humans*, причем последние понимались как техно-субъекты (*homo cyborg*).

В рамках этого поворота имел место еще один, так называемый *биополитический поворот*. Его мотивы были сформулированы благодаря исследованию К. Шмиттом феномена суверенности в период между двумя войнами и введению М. Фуко в научный оборот понятия “биовласть”<sup>1</sup>. Часть этого поворота — исследования отношения человек / животное (*animal studies*). По мнению Ла Капры, указанный *биополитический поворот* может стать той критической теорией, с помощью которой интеллектуальная и культурная история могли бы плодотворно рассмотреть отношения человек / животное. Кроме того, Ла Капра полагает, что интерес к исследованию указанного отношения если и не стал пока альтернативой культурному и лингвистическому поворотам в историческом знании, но уж точно является приоритетной темой многих исторических исследований начала XXI в.

Ла Капра рассматривает отношение человек / животное в философском, политическом и экзистенциальном аспектах. Особенно тщательно он анализирует идеи известной работы Дж. Агамбена “Открытое. Человек и животное” (2002), обращая внимание на нюансы негативной антропологии Агамбена, суть которой в числе прочего заключается в том, что Агамбен вслед за А. Кожевым и Ж. Батаем утверждает, что в постисторическом мире человек вернется в свое исходное, животное состояние, сохраняя человечность как негативность — в виде эротизма, смеха и пр.<sup>2</sup> Агамбен полагает, что в своем чисто физическом существовании (“голой жизни”, *la nuda vita*) человек равен любому животному, здесь человек и животное объединяет греческое понятие “зоэ” (*zoe*). Оно про-

---

<sup>1</sup> См.: Шмитт К. Государство и политическая форма. М., 2010.

<sup>2</sup> *Agamben G. The Open man and Animal. Stanford: St. Univ. Press, 2004.*

тивопоставляется “биосу” (bios) — образу жизни, характеризующему отдельного человека или группу людей. Ла Капра фиксирует внимание на введенном Агамбенем различии между *zoe* и *bios* как различии политики и права. Получается, что различие между животным и человеком есть различие в отношении к правам.

Исходя из этого *правового дискурса*, Ла Капра утверждает, что выделение животных в отдельную от человека группу живых существ редуцирует их анализ к двум взаимосвязанным аспектам. В первом аспекте животные рассматриваются как сырой материал, чисто инструментальные формы бытия, находящиеся на суб- или даже инфраэтическом уровне. Второй аспект возвышает животных до уровня сверхэтического, придавая им статус жертвы, потерпевшего, в конечном итоге чего-то сакрального. Анализируя плюсы и минусы указанных аспектов, Ла Капра подчеркивает, что главное в исторических исследованиях отношения человек / животное — избежать избыточного антропоцентризма, выявить естественные права и человека, и животного в интерактивной сети их взаимодействий, лишить суверенитета и тех и других. Он вводит фигуру “козла отпущения” как некую квазисакральную жертву и призывает проанализировать ее социопсихологический смысл и назначение в отношениях человек / животное. С его точки зрения, главное различие между животным и человеком всегда концептуализировалось в тезисе о присущей человеку бесчеловечности как его трансисторической, структурной травме. Ла Капра полагает, что выяснение того, является ли эта травма имманентной особенностью человека вообще или следствием принятия им неких допущений и традиций культуры, — задача объединенных усилий интеллектуальной, культурной истории и критической теории<sup>1</sup>.

В последнем эссе книги — “Тропизмы интеллектуальной истории” Ла Капра подводит итоги своих размышлений, очерчивает контуры своей “интеллектуальной ориентации” вообще. Воспроизводя указанную выше идею Анкерсмита о травматическом опыте, которым обладает западная цивилизация, Ла Капра утверж-

---

<sup>1</sup> Например, не стал ли постулат тварности, пришедший в Европу вместе с христианством и отказывающий животным в обладании душой, причиной их жестокого истребления во все последующие столетия.

дает, что в “западной культуре существует нечто, что можно назвать трансгисторической или структурной травмой. В работах разных авторов она определяется по-разному: как первородный грех, как результат перехода от природы к культуре, как отделение от матери, как вход в язык и пр.”<sup>1</sup> Ла Капра полагает, что задача теоретически мыслящего историка заключается в тщательном объяснении того, каким образом частицы травматического опыта человечества вписаны в конкретный исторический опыт людей, в такие события, как, например, войны и геноцид. Эта задача экстраполируется и на индивидуальное измерение трансгисторического опыта травмы: историк должен помочь людям понять, что избыточная историзация этого опыта, стремление переложить его на плечи “других” и сделать этих “других” ответственными за этот опыт бессмысленны и опасны.

Книга Доминика Ла Капры, безусловно, неоднозначна. На мой взгляд, для рядового *практикующего* историка, работающего в традиционной парадигме архивных исследований, она избыточно философизирована, утяжелена размышлениями и ссылками на малознакомые и малопонятные этому (а нередко и не только этому) историку тексты Хайдеггера, Батая, Жижека, анализом постнеоклассических, постпостмодернистских интеллектуальных трендов. Для историков, склонных размышлять над теоретическими проблемами своей дисциплины, это книга во многом провокативна, поскольку Ла Капра мыслит метаисторически, взламывая границы между научными дисциплинами и одновременно помещая историю в центр современного академического дискурса. Для философов работа Ла Капры интересна тем, что в ней профессионально, в контексте социальной и исторической эпистемологии, обсуждаются феномены, оказывающие непосредственное влияние на повседневные структуры жизни и на образы науки, на формирование и воспроизведение последних. Так или иначе, но очевидно: в книге Ла Капры предложена тема для размышлений, объединяющих философию, историю, естествознание и даже искусство. Она написана в настолько широком диапазоне тем и проблем современного социально-гуманитарного знания, что ее появление, вне всякого сомнения, является большим событием мировой интеллектуальной жизни.

---

<sup>1</sup> *La Capra D. History and Its Limits. Human, Animal, Violence. P. 192.*

## 3.2. Стивен Бенн и культурная история<sup>1</sup>

Книга Стивена Бенна “Одежды Клио” впервые опубликована в 1984 г. издательством Кембриджского университета. Что же заставило нас перевести ее на русский язык сегодня, спустя 26 лет после ее появления? Ответ прост: значимый теоретический вклад в соображения о природе исторических исследований, а именно о природе и особенностях эволюции методов репрезентации в истории, стоящий в одном ряду с исследованиями возможности создания теории истории, осуществленными в XX в. Р. Козеллеком, Ф. Анкерсмитом, Х. Уайтом. В чем же конкретно состоит вклад Бенна в понимание исторического дискурса? Что он сделал такого в теории истории, что не удалось другим исследователям?

Исторический дискурс вообще имеет две стороны, неконвергентные друг с другом едва ли не с момента их возникновения. Одна касается вопросов свидетельства, метода и истины в истории и разрабатывается преимущественно философами аналитической школы, вторая относится к исследованиям исторической формы и презентации и разрабатывается самими историками, литературоведами и пр. Не рассматривая здесь первую сторону теоретических исследований истории, мы сосредоточимся только на том, что имеет прямое отношение к настоящему изданию<sup>2</sup>.

Интерес к историческому нарративу и особенностям, отличающим его от нарратива литературного, проявился в исследованиях, так или иначе изучающих эпистемологию истории, примерно в середине 1960-х гг. Назовем самые важные и значимые из них. Прежде всего, это знаменитая “Аналитическая философия истории” А. Данто, ставшая классическим исследованием нарратива вообще и исторического нарратива в частности, а также исследование Л. Минка “Нарративная форма как когнитивный

---

<sup>1</sup> *Кукарцева М. А.* Репрезентация в истории. Предисловие к книге С. Бенна “Одежды Клио” (М., 2011).

<sup>2</sup> Об аналитической философии истории см., например: *Кукарцева М. А.* Аналитическая философия истории // Полигнозис. 2009. № 3 (36); *Кукарцева М. А.* Предисловие к книге А. Мегилла «Историческая эпистемология» (М., 2009. С. 31–45).

инструмент”<sup>1</sup>. В 1973 г. историки познакомились с идеями Х. Уайта о сущности тропологии и ее применении к историческому нарративу, которые он изложил в своей знаменитой “Метаистории”<sup>2</sup>. В середине 1970-х гг. американский историк Х. Кёллнер опубликовал серию весьма провокативных очерков о природе исторической теории, включая рецензии на “Метаисторию” Х. Уайта и “Средиземноморье” Ф. Броделя<sup>3</sup>.

В первой половине 1980-х гг. появилось уже множество публикаций, посвященных проблемам репрезентации в истории. К этому времени Уайт скорректировал и уточнил свои взгляды на тропологию и эстетику в исторических исследованиях и опубликовал их в книге “Содержание формы: нарративный дискурс и нарративная интерпретация”<sup>4</sup>. П. Рикёр издал свой трехтомный труд “Время и нарратив”<sup>5</sup>, а в 1980 г. Уайт и Рикёр стали организаторами дискуссии о природе исторического нарратива в журнале *Critical Inquiry*<sup>6</sup>. В Германии в 1982 г. под редакцией Р. Козеллека, Х. Лутца и Й. Рюзена вышла очень интересная коллективная

---

<sup>1</sup> *Danto Arthur C. Analytical Philosophy of History. Cambridge: Cambridge University Press, 1965 (Данто А. Аналитическая философия истории. М., 2002); Mink O. Narrative Form as a Cognitive Instrument // The Writing of History: Literary Form and Historical Understanding. Robert H. Canary and Henry Kozicki, eds. Madison: University of Wisconsin Press, 1978. P. 129–49.*

<sup>2</sup> *White H. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973.*

<sup>3</sup> *Kellner H. A Bedrock of Order: Hayden White’s Linguistic Humanism // History and Theory, Beiheft 19 (1980): 1–29; Idem. Disorderly Conduct: Braudel’s Mediterranean Satire // History and Theory 18 (1979): 197–222; Idem. Time Out: The Discontinuity of Historical Consciousness // History and Theory 14 (1975): 275–96. Эти очерки вошли в: Kellner H. Language and Historical Representation: Getting the Story Crooked. Madison. University of Wisconsin Press, 1989.*

<sup>4</sup> *White H. The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987.*

<sup>5</sup> *Ricoeur P. Temps et récit 3 vols. Paris: Seuil, 1983; Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1–2. М.; СПб., 2000.*

<sup>6</sup> *Critical Inquiry. Vol. 7. № 1 (Autumn 1980); “On Narrative”; the issue was subsequently published, with some additions, as a book: W. J. T. Mitchell, ed., On Narrative. Chicago: University of Chicago Press, 1981.*

монография *Formen der Geschichtsschreibung* (“Формы историописания”), посвященная вопросам и проблемам исторического нарратива и риторике исторического текста<sup>1</sup>.

Особого внимания заслуживают работы Р. Козеллека, в частности его книга “Будущее прошлое: семантика исторического времени”, вышедшая в 1979 г. в Германии и в 1986 г. переведенная на английский язык, которая привлекла к себе внимание множества историков<sup>2</sup>.

Наконец, следует обратить внимание и на важнейшую работу Ф. Анкерсмита “Нарративная логика”, изданную в 1983 г.<sup>3</sup> Кажалось бы, размышления об истории как нарративном, риторическом и эстетическом предприятии стали в то время общим местом. Но было бы ошибкой прийти к такому мнению, потому что только к концу 1980-х гг. историки и интеллектуалы стали не просто замечать, а *признавать существование нарративно-риторической школы в исторической теории*. Рубежным в этом признании можно, пожалуй, считать появление книги Ф. Анкерсмита “История и тропология: взлет и падение метафоры”<sup>4</sup>. Она как бы подвела итог тем интеллектуальным дебатам, которые имели место в рамках так называемого лингвистического поворота в исторических исследованиях и даже обозначила появление нового тренда в исторической дисциплине — новой интеллектуальной истории<sup>5</sup>.

В этом контексте появление в 1984 г. книги С. Бенна “Одежды Клио” стало *sui generis*. В стройном ряду перечисленных выше работ труд Бенна отличается особой оригинальностью. Некоторые

---

<sup>1</sup> Koselleck R., Lutz H., Rüsen J. eds. *Formen der Geschichtsschreibung*. Vol. 4 of *Beiträge zur Historik*. Munich: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1982.

<sup>2</sup> Koselleck R. *Futures Past: On the Semantics of Historical Time*: Trans. Keith Tribe. Cambridge: MIT Press, 1986. Originally published as: *Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*. Frankfurt: Suhrkamp, 1979.

<sup>3</sup> Ankersmit F. R. *Narrative Logic: A Semantic Analysis of the Historian's Language*. The Hague: Nijhoff, 1983 (*Анкерсмит Ф. Нарративная логика*. М., 2003).

<sup>4</sup> Анкерсмит Ф. *История и тропология: взлет и падение метафоры*. 2-е изд., испр. М., 2009.

<sup>5</sup> Toews J. E. *Intellectual History after the Linguistic Turn* // *American Historical Review* 92. № 4 (1987). С. 879–907; *The New Cultural History*. Hunt L., ed. Berkeley: University of California Press, 1989.

обстоятельства его замысла читатель может обнаружить в интервью Бенна польскому культурологу Э. Доманской<sup>1</sup>. Бенн рассуждает о влиянии на его исследования французских структуралистов и, в частности, Р. Барта, к идеям которого он часто обращается на страницах своей книги, а также русской формалистической школы. Что же важного для себя находит Бенн в этих источниках?

На наш взгляд, совсем не способ *упорядочивания* беспорядка, а наоборот — умение *допускать беспорядок и учиться у него*. В этом отношении Бенн резко отличается от Уайта, который не устает повторять о необходимости привнесения в беспорядочный мир симулякра его связности (хотя и признавая частичный и размытый характер такой связности). В своей рецензии 1986 г. на труд Бенна “Одежды Клио” Кёллнер очень близко подошел к выявлению сущности общего настроения этой книги. Признавая Бенна “знатоком и непревзойденным экспертом” в области связи исторической репрезентации с искусством и литературой, Кёллнер выявляет в его труде явный “структуралистский импрессионизм”, который скорее склонен к обнаружению *неожиданных различий, чем к конструированию неких тотальностей*. Кёллнер пишет, что в работе Бенна “нередко громоздкий инструментарий структурализма весьма деликатно применен” к огромному множеству областей исторической репрезентации — “роману, драме, живописи, музею, архитектуре, диораме, искусству изображения силуэта, фотографии”<sup>2</sup>. На наш взгляд, именно поэтому работа Бенна и сегодня не потеряла своей актуальности и значимости, открывая перед историком перформативные аспекты презентации и репрезентации истории.

Конечно, Бенн пишет как историк, рассматривая прошлое в качестве “мертвого и ушедшего” феномена. Но он обнаруживает удивительную восприимчивость к все еще живым аспектам этого прошлого, точнее говоря, к тем его аспектам, которые при некоторых обстоятельствах как бы оживают вновь — обстоятельствах его репрезентации, (например, в перипетиях создания

---

<sup>1</sup> Доманска Э. Философия истории после постмодернизма: Пер. с англ. М. А. Кукарцевой. М., Hunt, 2010.

<sup>2</sup> Kellner H. Review of The Clothing of Clio // Journal of Modern History. 58. № 2. June 1986. 535–36.

научной таксидермии Чарльзом Уотертоном, описанных в первой главе). Книга С. Бенна может быть рассмотрена как *выдающееся исследование* отношения европейцев XIX в. к своей исторической культуре, своему прошлому, к способам его понимания, презентации, использованию в настоящем, к его поэтизации и отрицанию. Поэтому не будет преувеличением, если мы назовем труд Бенна (заимствуя подзаголовок “Метаистории” Уайта) *анализом “исторического воображения в Европе XIX века”*.

Историческая репрезентация имеет собственные законы своего формирования. С одной стороны, она не должна ничего добавлять к реальности или знанию о ней, быть объективно привязанной к определенным слоям реальности, с другой стороны, она добавляет к картине реальности все, в чем нуждается историк для более полного познания прошлого. Особенность исторической репрезентации состоит в том, что, как считает Ф. Анкерсмит, она связана с “пропозициональной установкой” историка, который *верит*, что репрезентация рассматриваемого исторического явления, события, периода разумна и правдоподобна и нет никакой отметки, где он должен остановиться или двинуться дальше. Анализируя историческую репрезентацию, С. Бенн вводит понятие исторической поэтики, в связи с чем обсуждает проблему соотношения истории, литературы и искусства.

Рассматривая произведения Дж. Байрона и В. Скотта, У. Теккерея, Ч. Рида, Р. Браунинга, Г. Джеймса, он подчеркивает, что историка и литератора объединяют процедуры исторической репрезентации и интерпретации: и те и другие соединяют утверждения о прошлом с идеями настоящего. Но главный критерий работы историков — свидетельство — остается для литераторов вторичным. Тем не менее литература обращает внимание историков на риторику, стиль, предлагает те модели художественной репрезентации, которые в принципе могут быть совместимы с репрезентацией исторической. Кроме этого, литература сообщает истории знание определенных экзистенциальных аспектов человеческого бытия, которые историки часто не видят и не принимают во внимание.

Четвертая, пятая и шестая главы работы Бенна посвящены связи истории и визуальных образов. Само по себе визуальное восприятие истории имеет длительную историю. К образу в виде надписей на саркофагах, к декорированным панелям и тарелкам,



пиктограммам, картам, игрушкам и прочему прибегали как первые поколения представителей древней дисциплины, не имевшие возможности работать с архивами и текстами, так и представители современной исторической науки (историки древнего мира, медиевисты). Эти образы могли иметь всего лишь косвенное отношение к эстетическому измерению исторического мышления, но если они содержали историческую информацию, то становились источником или, точнее говоря, следом прошлого<sup>1</sup>. Например, визуальные изображения высунутого языка в средневековой культуре имели как собственно эстетическую, так и чисто информативную ценность<sup>2</sup>. В связи с этим датский историк Густаф Рениер предложил заменить в исторической дисциплине *идею источников* на *идею следов*, где в качестве таковых рассматривались бы манускрипты, печатные книги, здания, мебель, ландшафт, статуи, картины, фото, видео и пр. Но использование образов в истории не может быть сведено только к их утилитарному значению как непреднамеренного свидетельства. На это обратил внимание Й. Хёйзинга в своей инаугурационной лекции “Эстетический элемент в историческом мышлении”, прочитанной в 1905 г. в Грёнигенском университете. Описывая свой прием исследования культурной истории в визуальных терминах как *метод мозаики*, где слово может появляться в форме, которая не отличается по существу от такой же в живописи, Хёйзинга показал, что образы — это прием установления прямого контакта с прошлым, свидетельствующий о бесспорной связи истории и искусства<sup>3</sup>.

Эта идея Хёйзинги в дальнейшем была реализована во многих направлениях новой истории. Например, в известной статье, посвященной роли эстетики в ранней американской интеллектуальной истории, Н. Грабо писал, что историки обязаны учитывать

---

<sup>1</sup> Исторический *след* есть часть обычной жизни прошлого, непреднамеренное свидетельство, “сырье” истории; исторический *источник* является чем-то, что было задумано его создателем как некое исследование событий, намеренное свидетельство.

<sup>2</sup> Махов А. Обнаженный язык дьявола как иконографический мотив // Одиссей. Человек в истории. М., 2003. С. 332–368.

<sup>3</sup> Сходные идеи использования визуального свидетельства в историческом исследовании предложил не менее знаменитый современник Хёйзинги Э. Варбург.

не только социальные процессы в истории, но и их *эмоциональный фон*, который не менее других факторов детерминирует общую интенцию определенного исторического времени<sup>1</sup>. В исследовании этого эмоционального фона особое место занимает анализ искусства и, осуществляя его, история должна излагать полученные результаты в эстетизированной форме, провоцирующей эстетическое восприятие исторических событий. Образы в истории как знак и как феномен восприятия имеют прямое отношение к историческому воображению: они позволяют представить прошлое более живым и эмоциональным. Например, изображение руин в искусстве Средневековья появилось как визуальная форма выражения исторического значения<sup>2</sup>.

В своих элементарных проявлениях эстетическое измерение исторического мышления требует какого-то простого визуального маркирования качественного различия времен. Й. Рюзен полагает, что первым свидетельством такого рода становится архитектура домов, принадлежащих к разным историческим эпохам, стили одежды, с которыми человек соприкасается в ходе всей своей жизни. В этом смысле встретиться лицом к лицу с историей помогает музеология в ее разных вариантах.

С. Бенн уделяет исследованию этого вопроса особое внимание. Рассматривая музеи, основанные А. Ленуаром и А. Дю Соммерером, он показывает, что историческое знание может быть приобретено разными способами. *Эпистемологический разрыв* в принципах исторической репрезентации, по его мнению, возник в западном историописании примерно во второй четверти XIX в., когда свойственное эпохе Ренессанса *монокулярное* восприятие мира была сменено так называемым *двойным*, или *стереоскопическим*, видением, выражающимся, в частности, в антитезе (или относительной взаимозависимости) вербального и визуального<sup>3</sup>. История могла быть представлена:

---

<sup>1</sup> *Grabo N.* The Yield Vision: the Role of Aethetics in Early American Intellectual History // WMQ. 1962. Vol. 19. P. 493–510.

<sup>2</sup> *Barasch M.* Ruins: A Visual Expressions of Historical Meaning // Meaning and Representation in History / J. Rusen ed. (Making Sense of History. V. 7). N. Y., 2006. P. 209–223.

<sup>3</sup> О стереоскопическом эффекте, хотя несколько в другом аспекте, пишет и Ф. Анкерсмит: “Когда мы слушаем оперу или симфонию на CD, для

1) в произвольной и внешней фонетической форме (нарративе);

2) материальной средой, которая не просто каким-то образом напоминает историю, а реально представляет ее.

В XIX в. функция исторической репрезентации (романов, картин, музеев, спектаклей, диорам, искусства силуэта) заключалась в том, чтобы конкретизировать историю прошлого как определенный репертуар специфических исторических различий. Нарратив прошлого был представлен через множество образов, которые имеют свои собственные материальную форму и местоположение в пространстве (в комнате музея или между страницами иллюстрированной книги). Бенн указывает, что музеи производят эффект *реального* проявления опыта истории настолько, насколько он может быть репрезентирован в истории.

Сегодня в связи с этим особый интерес представляют так называемые *folk*-музеи, начало которым положил швед А. Хазелиус, организовавший музей под открытым небом “Скансен”. *Folk*-музеи имитируют определенный лайфстайл, *реальное* историческое время с помощью реконструкции архитектуры, мебели, одежды, ландшафта, этнической среды. Наиболее известные музеи такого рода, служащие моделью для остальных, — это “Колониальный Вильямсбург”, воссоздающий оригинальные поселения колонии, которая была основана в 1620 г. группой религиозных эмигрантов, прибывших в Америку на корабле “Мэйфлауэр”; “Старый Висконсин”, предлагающий посетителям небольшой городок из пяти домов XIX в., фасады которых тщательно отреставрированы.

История обладает собственной последовательностью, и музей призван быть нейтральным сосудом для этого последовательного ряда. *Увидеть* историю, приобрести ее довербальный опыт нередко бывает гораздо важнее, чем прочесть о ней, поскольку визуальное восприятие истории равно человеческому *интересу*. Постепенно образ становится одной из отправных точек исторического

---

достижения стереоскопического эффекта, придающего ощущение “глубины” звука, нам нужны два динамика. Если у нас есть только один динамик, то это ощущение отсутствует”. См.: Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры. С. 16.

исследования, тесня архивы, документы, литературные тексты и устные свидетельства<sup>1</sup>. Но если в XV–XVII вв. образы представляли в виде ксилографий, гравирования на стекле, металле, бумаге, то в XIX–XX вв. появились фотографии, аудио- и видеообразы. Образы эволюционизировали от черно-белых до цветных, от доступных сначала единицам, до открытых для сотен тысяч людей<sup>2</sup>.

Сравнительный анализ эстетической и источниковой значимости портретов и фотографий для истории — предмет отдельного исследования. В. Беньямин, например, указывал на то, что в эпоху фотографии изменился сам характер произведений искусства. Механическая репликация убила ауру искусства, а фотоаппарат подменил уникальное существование произведений искусства плюрализмом копий и сформировал сдвиг от “поклонения ценности” к “выставке ценности”<sup>3</sup>. Произошла трансформация в трактовке исторического знания. Р. Барт связал это с эффектом реальности, В. Флюссер — с глобальным изменением структуры культуры и бытия в целом, Э. Юнгер — с уничтожением индивида вообще<sup>4</sup>. Фотография как документальное искусство дала возможность истории сделать свидетельством то, что сложно выразить в тексте, то, что называется *чувством* или *пониманием* другой исторической эпохи, смысл которой трудно, а иногда и невозможно объяснить. В связи с этим историк кино З. Кракауэр считал, что

---

<sup>1</sup> Буркхард понимал образы как свидетельство развития человеческого духа сквозь века; Ф. Арьес в своих работах по истории детства и истории смерти широко апеллировал к визуальным источникам как “свидетельству чувствительности и жизни”; Ф. Хэскелл указал на исследование историками XVII в. росписей в римских катакомбах в целях изучения ранней истории христианства (*Haskell F. History and its Images*. N. H., 1993); С. Шама рассмотрел эволюцию представлений о ландшафте в истории Запада (*Schama S. Landscape and Memory*. N. Y., 1995).

<sup>2</sup> *Hoffman D. The Material Presence of the Past: Reflections on the Visibility of History // Meaning and Representation in History / J. Rusen ed. (Making Sense of History. V. 7)*. N. Y., 2006. P. 183–209; *Barasch M. Ruins: A Visual Expressions of Historical Meaning // Ibid.* P. 209–223.

<sup>3</sup> *Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Избр. эссе. М., 1996. С. 66–91.*

<sup>4</sup> *Барт Р. Эффект реальности // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994; Юнгер Э. Рабочий. СПб., 2000; Флюссер В. За философию фотографии. СПб., 2008.*

режиссер, как и историк, следуя эстетическому чувству, сам выбирает, какие именно аспекты реальности ему репрезентировать. Исследуя немецкое кино, он подчеркнул, что оно открыло перед историей то “царство пустяков и мелких событий повседневной жизни”, которое иначе осталось бы навсегда скрыто от историков”<sup>1</sup>. Однако до сих пор *American Historical Review* не публикует рецензии на исторические фильмы. В течение многих лет этот вопрос не раз поднимался на ежегодных собраниях Американской исторической ассоциации, но так и не был решен. Догматическое утверждение о том, что *история может быть только написана, а не показана*, преодолеть все-таки не просто.

Но в конечном итоге увлечение историков образами в середине 1960-х гг. сформировало, по выражению американского исследователя В. Митчелла, *изобразительный поворот* в исторической дисциплине, знаменующий собой новый тренд научных поисков. Естественно, это вызвало множество новых вопросов и реанимировало старые. Насколько можно доверять произведениям искусства как источникам, а не следам, ведь произведения искусства — жанр, основанный на особых конвенциях, которые трансформируют реальность, а не только отражают ее, особенно принимая в расчет субъективные устремления художников и пределы их информационного горизонта? Насколько можно доверять техническому образу фотографии? Какова методика соотношения визуального компонента свидетельства с текстовым? Вновь напомнил о себе принципиальный, но нерешенный вопрос синтеза политического, когнитивного и эстетического измерений исторического мышления: подбор и организация любой музейной коллекции, прочтение и интерпретация историком послания образа несвободны от соображений пропаганды, идеологии, от коллективных стереотипов и субъективных предубеждений. Объективна ли вообще бесстрастная камера? Какой образ предпочтительнее: зарисовки с натуры, фотографии или картины, сделанные по памяти в студии художника? Как быть с процедурой монтажа в документальном кинематографе? Возникает важная проблема

---

<sup>1</sup> Кракауэр З. От Калигари до Гитлера: психологическая история немецкого кино. М., 1977; *Kracauer S. History: The Last Things Before the Last*. N.Y., 1969. P. 51–52.

образа как “приемлемого, допустимого свидетельства”, и от умения историка читать между строк, соединять политическое и эстетическое в историческом исследовании в конечном итоге зависит историографическая истина. “Критика визуального свидетельства еще не развита, — пишет П. Бёрк, — хотя свидетельство образов, как и свидетельство текстов, поднимает проблемы контекста, функции, риторики, воспоминаний (зафиксированы ли они сразу после событий или далеко отстоят от них во времени), вторичного свидетельства и пр.”<sup>1</sup>.

*Сформировались как бы две системы исторического свидетельства: визуальная (образная, следовая, зримая, невербальная) и устная (нарративная, текстовая, читаемая, вербальная).* Первая репрезентирует историческое событие прямо, вторая — косвенно, как его внешнюю лингвистическую (фонетическую) форму. Эти системы находятся в относительной взаимозависимости, их роднит своего рода оптическая метафора: в первой системе мы видим просто историю, во второй глагол “видим” соответствует логической связке следования. Присутствие метафоры не только приближает эти системы к области эстетического, но и эстетизирует их.

Сегодня в качестве предмета острых дискуссий по этому поводу выступает так называемый перформативный поворот в социально-гуманитарном знании и возможности его экстраполяции на историческую дисциплину. С. Бенн в статье “История как компетенция и перформанс: заметки об ироническом музее”<sup>2</sup>, вышедшей в 1995 г., поставил этот вопрос в контексте понятия живущего прошлого.

Размышляя об историках как таксидермистах, историках как антикварах, историках как поэтах и романистах, Бенн ставит вопрос о перформансе и перформативности в исторической репре-

---

<sup>1</sup> *Burke P.* Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence. Cornell University press., Inhasa. N.Y., 2001. P. 15.

<sup>2</sup> *Bann St.* History as Competence and Performance: Notes on the Ironic Museum // A New Philosophy of History, ed. Frank Ankersmit and Hans Kellner, 195-211. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1995. Бэнн реферирует здесь к дихотомии competence/performance, введенной в лингвистике Н. Хомским. “Компетенция” обозначала знание системы языка, а перформанс — владение им в реальных ситуациях общения.

зентации как один из ключевых, в котором указанные понятия создают новую методологию изображения прошлого в истории. Суть этой методологии заключается в возможности создания такой исторической репрезентации, которая позволит говорить самому прошлому.

С 1984 г., времени выхода книги Бенна “Одежды Клио”, в мире многое изменилось. Биполярный мир, создававший некую иллюзию мирового порядка, больше не существует. Развеян и миф о фантастической мощи США как супердержавы. Это свидетельствует о том, что пространство истории и наше чувство прошлого в очередной раз изменились, они выражены сегодня в категориях множественных разрывов и неоднородности, а не порядка и завершенности<sup>1</sup>. Изменились и технологии коммуникации, появились интернет, цифровое телевидение, мобильная телефонная связь. Все это создает новый эффект реальности, с легкостью производимый и репроизводимый.

В первой главе своей книги Бенн пишет о “жизнеподобной репрезентации”, рассуждая о ее теоретической и практической применимости, при этом фокус его внимания сосредоточен на исследовании приемов исторической репрезентации XIX — отчасти XVIII вв. Применительно к нашему времени два аспекта исследования Бенна имеют ключевое значение: его глубокая восприимчивость к визуальным аспектам истории и широкое понимание исторического дискурса, о чем сказано ранее. В представлении Бенна исторический дискурс включает в себя все измерения (реальные и воображаемые) отношения общества к своему прошлому, а именно не только работы профессиональных историков, но и историков-любителей, писателей, художников, потому что все они в определенном смысле занимаются одним делом; это свидетельствует о том, что перформативность свойственна вообще всему полю исторической репрезентации. Каким образом наше общество может оформлять свои отношения с прошлым — есть вопрос исторической памяти общества, его исторической культуры, приемов репрезентации своей истории, одним словом, умения интерпретировать эхо своей судьбы.

---

<sup>1</sup> One might view these developments as instantiations on the level of reality of Lyotard's notion of the decline of grand narrative.

В книге Бенна “Одежды Клио” исследуются способы связывания наших воспоминаний о прошлых переживаниях с возможными будущими событиями, рассматриваются возможности использования различных форм исторической репрезентации как средства познания действительности, как инструмента организации нашей жизни в настоящем. Именно это и делает ее столь увлекательной для неискушенного читателя и чрезвычайно полезной для профессионального историка.

### 3.3. Аллан Мегилл и теория истории<sup>1</sup>

Аллан Мегилл — профессор истории университета Вирджинии (США), специалист в области истории идей и исторической теории, крупный представитель интеллектуальной истории. Автор известных работ “Пророки постмодерна: Ницше, Хайдеггер, Фуко и Деррида” (1985); “Карл Маркс: бремя разума” (2002), а также ряда работ по теории истории. Приведем краткий обзор его основных идей, сформулированных в книгах “Историческая эпистемология” и “Карл Маркс: бремя разума”, в разное время изданных в России.

“Историческая эпистемология” в 2007 г. была одновременно издана в США издательством Чикагского университета и в России, а в 2014 г. — в Китае. Примечательно, что автор издал свою рукопись именно в этих “постмарксистских”, как он подчеркивает, странах. По его мнению, интерес к истории, к историческому мышлению и особенно к теории истории одинаково велик как в России, так и в Китае, что во многом объясняется долгим господством известной философско-исторической традиции, приведшей к трудновосполнимым лакунам в историческом знании.

Мегилл обращает внимание на то, что эта работа прежде всего адресована начинающим историкам, студентам и аспирантам, неопитам, а также всем, кому интересны методологические проблемы работы историка. Он рассуждает о том (говоря словами из-

---

<sup>1</sup> Кукарцева М. А. Предисловие переводчика // Мегилл А. Историческая эпистемология. М., 2007; Кукарцева М. А. Историческая эпистемология А. Мегилла // Мегилл А. К. Маркс: бремя разума. М., 2011.



вестного отечественного историка), “как думают историки”<sup>1</sup>. Но, в отличие от своего российского коллеги, он сомневается в возможности дать более менее четкий ответ на этот вопрос. По его мнению, чтобы выяснить, что именно историки действительно думали (или думают) о таких вопросах, нужно проделать научно-исследовательскую работу исключительной сложности и результаты этой работы были бы проблематичными из-за того, что историки не всегда думают ясно или вообще не думают о тех проблемах, на которые теоретически ориентируются.

Рассматривая историческую эпистемологию как историологию, Мегилл подчеркивает, что эпистемологические проблемы всегда являются центральными для серьезной исторической работы. К сожалению, констатирует он, далеко не каждый историк сегодня руководствуется этими соображениями, так же как и ясным пониманием специфики бытия истории, особенностей основных категорий исторического познания и их отличием от категорий и методов познания природы. Он призывает возродить в историческом знании необходимость изучения историологии и определяет ее в самом общем виде как *нерешающую диалектику* или *принцип нерешительности*. Это означает, что историк (в отличие от философа или социолога) в области философии истории или методологических проблем исторического познания всегда должен воздерживаться от окончательных суждений и следовать своего рода “срединным путем”, не говоря по поводу каких-либо исторических событий ни категорическое “да”, ни категорическое “нет”.

Мегилл полагает, что философия, в силу ее способности выйти за круг традиционных методов познавательной рефлексии (формообразования, систематизации, классификации и др.), может предложить истории новые приемы исследования, основанные на изучении нередуцируемых человеческих переживаний, аффектов, желаний как досимволических структур, активно воздействующих на сознание человека, определяющих систему означаемого в языке и весьма иллюстративно эксплицируемых в истории. Методологически ряд направлений новой истории построен на изучении подобных структур (антропологической, психологической школ, истории снизу, устной истории, гендерной и

---

<sup>1</sup> Копосов Н. Е. Как думают историки. М., 2001.

др.). Мегилл мечтает о том, чтобы историки могли трансформировать себя в экономистов, или философов, или литературных критиков, могли бы легко перемещаться взад-вперед между этими конфликтующими областями исследований. Он представляет себе историков-интеллектуалов, со знанием дела рассуждающих как в границах историографической области исследований, так и вне ее. Но, констатирует Мегилл, ведомые корпоративной ограниченностью, историки нередко в той или иной мере отрицают важную роль философии и ряда других наук корпуса социально-гуманитарного знания в развертывании их системы рассуждений. Он подчеркивает, что смена методов, сюжетов, оснований, целей исторического исследования стимулирует историческую эпистемологию на поиск все новых и новых теорий и средств анализа, в связи с чем историческая эпистемология часто обращается к междисциплинарным приемам анализа, что открывает историческому исследованию различные познавательные уровни.

Междисциплинарная методология сочетает разные приемы и средства анализа не в произвольном порядке, как рядоположенные отдельные дисциплины, а строго в соответствии с реальной эпистемологической ситуацией в истории. Поскольку в последней нет ныне согласия по какой-либо из альтернативных эпистемологий, конкурирующим школам оппозиционные методологии, естественно, кажутся неадекватными реальным задачам исторического познания, невыполнимыми или наивными. Реализация междисциплинарного подхода в ней сталкивается с рядом сложностей: угрозой размывания границ предмета истории в связи с вхождением в него таких новообразований, как, например, этнопсихология, историческая поэтика; невыясненностью техники передачи разными науками друг другу своих методик и неустановленностью мер инноваций, имеющих право влиться в историю и вызвать только ее трансформацию, но не деструкцию, и пр. Мегилл подчеркивает, что междисциплинарный синтез в истории нередко приводит к редукции концептуальных обобщений одной науки к другим так, что сущность собственно истории теряется. Следовательно, утверждает он, для реализации междисциплинарного подхода в истории необходимо обеспечить условия для естественного появления в ней знания новых дисциплин, но при строгом соблюдении методологических императивов своей дисциплины.

В разделе “Память” Мегилл рассматривает обширный круг вопросов, связанных с проблемами исторической традиции, памяти, коммеморации. В понимании указанного феномена Мегилл часто обращается к идеям Мориса Хальбвакса, согласно которым “индивидуальная память — это точка зрения на коллективную память, изменяющаяся в зависимости от занимаемого в ней места; а само это место изменяется в зависимости от отношений, которые я поддерживаю с другими”<sup>1</sup>. То есть индивидуальная память, фрагментарно и избирательно воссоздавая прошлое, подчиняется правилам памяти коллективной (исторической и (или) социальной) и часто “лишь выражает потребности данной социальной группы”<sup>2</sup>. Без внимания американского историка не остаются и идеи П. Нора об особенностях связи истории и нации<sup>3</sup>. По мнению Мегилла, функционирование коллективной памяти поднимает вопросы производства, сохранения и передачи исторической и иной информации и манипулирования ею; формирования персональной и групповой идентичности. Американский историк подробно исследует взаимосвязи и взаимодействующие памяти и идентичности. Он подчеркивает, что без идентичностей — специфических конфигураций человеческого существования — не может существовать никакое историописание, поскольку тогда история испытала бы недостаток и в исторических агентах, и в центральных проблемах.

Мегилл в своей работе много рассуждает о возрождении нарратива в исторических исследованиях. Как показывает Мегилл, Франсуа Фюре в работе “От нарративной истории до истории проблемно-ориентированной” утверждал: “Возможно обвальное падение нарративной истории”<sup>4</sup>. Нарратив, полагал он, несостоятелен и логически, и эпистемологически, так как “осо-

---

<sup>1</sup> *Halbwachs M.* La memorie collective. Paris: PUF, 1970. P. 83; цит. по: *Каради В.* Морис Хальбвакс: биографический очерк // Социальные классы и морфология. СПб., 2000. С. 459.

<sup>2</sup> *Ibid.* P. 459.

<sup>3</sup> *Нора П.* Франция — Память. СПб., 1999.

<sup>4</sup> *Furet Francois.* From Narrative History to Problem-oriented History // Furet. In the Workshop of History / Trans. Jonathan Mandelbaum. Chicago, 1982. P. 54–67.

бый тип логики нарратива (*post hoc, ergo propter hoc*) не лучше подходит для нового типа истории, чем такой же традиционный метод обобщения от единичного”<sup>1</sup>. Это же заметил и Р. Барт<sup>2</sup>. Он предположил, что нарратив следует своей специфической логике, заставляя рассматривать то, что происходит после X как причиненное X.

Указывая на неожиданный для многих взлет нарратива в исторической науке, Мегилл анализирует идеи Ф. Анкерсмита об этом феномене. Анкерсмит в работе “Нарративная логика”<sup>3</sup> предпринял попытку исследования логических механизмов исторического нарратива. Это теоретически чрезвычайно плотная, насыщенная оригинальными идеями, большая и сложная работа, в ней Анкерсмит объясняет свою теорию исторической интерпретации как *теорию бельведера* (*belvedere theory*).

Центральная категория Анкерсмита — *narration* (нарративность) и ее логика. Перечислим три темы нарративной логики:

1) нет никаких правил для трансляции реальности;

2) *narratio* существует скорее как целое, чем как сумма его нарративных предложений, *narratio* является нарративной субстанцией и дает нам интерпретацию прошлого;

3) существует подобие между историческими и метафорическими утверждениями... Дано не *прошлое*, но *наше понимание* нарративных субстанций, которое имеет нарративную структуру.

Далее Мегилл предлагает свою модель нарратива. По его мнению, нарратив имеет четырехчленную матрицу:

- *описание* некоторого аспекта исторической реальности;
- *объяснение* некоторого аспекта исторической реальности;
- *аргументированность* или *обоснованность* предложенного вывода;
- *интерпретацию* фрагмента прошлого.

---

<sup>1</sup> *Furet Francois*. From Narrative History to Problem-oriented History. P. 57.

<sup>2</sup> *Барт Р.* Введение в структурный анализ повествовательных текстов // От структурализма к постструктурализму. М., 2000. С. 207. Утверждения Барта есть интенсификация идей Аристотеля, высказанных в «Поэтике», о том, что есть большая разница между вещами, случившимися *propter hoc* и *post hoc*.

<sup>3</sup> *Анкерсмит Ф.* Нарративная логика. М., 2003.

В зависимости от целей исторической работы на первый план выдвигается какая-то из частей нарратива.

Ключевой вывод Аллана Мегилла заключается в том, что историческая наука сегодня вернулась, по сути, к тем же содержаниям, из которых и исходила, накопив, однако, по ходу дела весьма солидный теоретический и культурный капитал.

С этих позиций он подходит и к исследованию интеллектуального наследия К. Маркса в своей книге “Карл Маркс: время разума”. В ней он поднимает сразу несколько вопросов: сущности и актуальности самого теоретического проекта Маркса, философии политики и философии экономики, эпистемологии научных исследований. Это объясняется тем, что автор, взявшийся за исследование такой сложной и неоднозначной проблемы — анализ идей Маркса — выступает не столько как марксовед, сколько как историк (работающий в рамках школы *интеллектуальной истории*) и как социальный философ.

Как методолог Мегилл реализует подходы к анализу объектов, разрабатываемые в исторической эпистемологии. Он рассматривает ее в двух аспектах:

- 1) как общую теорию принципов исторических исследований;
- 2) как часть социальной эпистемологии.

В ходе всего исследования Мегилл не устает повторять, что каждый вывод своей книги он сделал на основании изучения “лучших из имеющихся сегодня свидетельств”; “подкреплял результаты своих исследований обязательной ссылкой на свидетельства”; “отклонял любой намек на любую зависимость... исследований от чего бы то ни было, кроме зависимости от беспристрастного исторического поиска”<sup>1</sup>. В самом деле, автор основывался на изучении аутентичных материалов, представленных в MEGA2 — *Karl Marx Friedrich Engels Gesamtausgabe*, международном издании Полного собрания сочинений Маркса и Энгельса на языках оригиналов, которое начало печататься в 1972 г. в Германской Демократической Республике и продолжает выходить в Германии до сих пор. Он полагает, что “предыдущие издания работ Маркса и Энгельса, подготовленные под сильным влиянием пропагандистских соображений, были слишком бессистемными в своей подборке тек-

---

<sup>1</sup> Мегилл А. Карл Маркс: время разума. М., 2013. С. 277.

стов, которые могли бы быть пригодными для их анализа историком в целях выявления особенностей развития идей Маркса и Энгельса. В противоположность этому *MEGA2*, хотя тоже не является полностью свободным от пропагандистского контекста, тем не менее позволяет адекватно реконструировать процесс движения мысли Маркса”<sup>1</sup>.

Мегилл убежден в том, что бесстрастное *понимание* того, чем именно было учение Маркса, и того, что было в нем продуктивного или неудачного, в целях извлечения из него уроков для жизни в настоящем и будущем, являются двумя ключевыми задачами проводимого им исследования. Это утверждение в принципе можно экстраполировать на любое историческое исследование вообще. На первый взгляд, такой подход является не чем иным, как еще одной вариацией методологических идей немецкой исторической школы Л. фон Ранке, который считал, что история — это объективная реальность (*Geschehene*), а историческое исследование (*Historie*) — наука, знание об этой реальности. Задача историка заключается в достижении соответствия его представлений об исторической действительности самой этой действительности так, чтобы показать историю такой, *какой она была на самом деле (wie es eigentlich gewesen ist)*. При этом “важнейшее требование к историческому труду заключается в том, чтобы он соответствовал истине; каким был ход событий, таким и должно быть их изображение”<sup>2</sup>. “Историческая перспектива, развернутая в моем исследовании, требует выявления того, что же *именно* содержалось в работах Маркса, полезно ли оно было или нет”, — пишет Мегилл в заключении своей книги<sup>3</sup>. В определенном смысле указанные два положения действительно схожи, и в этом нет ничего удивительного.

Поиски объективной истины всегда составляли важное направление деятельности историков, а доверие к источникам, характерное для историографического стиля Вико и Гердера, Ранке и Гиббона, до сих пор позволяет историкам благополучно преодолевать различные эпистемологические кризисы, свойственные

---

<sup>1</sup> Мегилл А. Карл Маркс: время разума. С. 21.

<sup>2</sup> Ranke L. V. *Sammtliche Werke* (S.W.). In 54 Bd. Bd.12. Lpz., 1870. S. 5.

<sup>3</sup> Мегилл А. Карл Маркс: время разума. С. 330.

их дисциплине. С этим сегодня согласны ведущие теоретики истории (Х. Уайт, Х. Кёллнер, Р. Козеллек, Ф. Анкерсмит, Д. Ла Капра, Р. Беркховер) и историки — литературные гуманисты (Л. Госсман, С. Бенн). Однако, следуя этому правилу, автор представленной книги не просто воспроизводит в духе Ранке исходный материал историографии, а рассматривает его как основание для *исторической критики*, то есть как основание для современного осмысления данного материала. При этом он подчеркивает, что историческое исследование должно быть “отлично от попытки представить мыслителей прошлого безоговорочно соответствующим нашему времени”<sup>1</sup>.

С его точки зрения, *суть исторического мышления* заключается в способности историка, обладающего отрефлексированным и систематизированным знанием исторических фактов, занять позицию их внешнего наблюдателя, *синхронного* своему времени. Тогда историк помещает себя не в прошлое, что неизбежно ведет к идеализации или обесцениванию последнего, и не в будущее, что телеологизирует настоящее, а в настоящее, что дает историку возможность настоящее не объяснить, а *понять*<sup>2</sup>. Это непростая задача, наталкивающаяся на необходимость решения по крайней мере двух вопросов. Во-первых, как избежать опасности постепенного превращения историка, говоря словами Данто, в Идеального Хрониста, только регистрирующего события настоящего, но не осмысляющего их<sup>3</sup>. Такая опасность возникает потому, что когда настоящее начинает мыслиться в настоящем же, историческое событие и мышление о нем синхронизируются и история как бы исчезает. Может ли здесь помочь историку его знание фактов прошлого, на которое он в первую очередь имел бы возможность опереться, вопрос открытый. Во-вторых, неясно, что такое само историческое понимание.

Теоретических работ, посвященных разработке феномена понимания как исторического метода, крайне мало. К ним можно отнести ставшую уже классической книгу Луиса Минка “Исто-

---

<sup>1</sup> Мегилл А. Карл Маркс: время разума. С. 225–226.

<sup>2</sup> См. интересные соображения об этом: Пятигорский М. А., Алексеев О. Б. Размышляя о политике. М., 2008. С. 56–63.

<sup>3</sup> Данто А. Аналитическая философия истории. М., 2001. С. 139 и далее.

рическое понимание”<sup>1</sup>, а также некоторые исследования Р. Козеллека и Ф. Анкерсмита. Суммируя полученные этими учеными результаты, можно сделать следующий вывод: какие бы свидетельства о чужой исторической эпохе ни были доступны историку, они всегда недостаточны для ее объяснения. Но именно с процедуры объяснения, чья цель — достижение понимания, и начинается любой исторический поиск.

Мегилл тоже следует по этому пути. Исходя из того, что цель всех общественных наук заключается в предоставлении обоснованных объяснений социальных феноменов, он объявляет своей задачей достижение *беспристрастного понимания* сущности марксовской штудии экономики и политики. При этом он не старается разрешить указанные трудности исторического понимания, а производит своего рода *анализ последствий*, результатов, полученных Марксом в ходе построения своей теории. Для этого Мегилл выстраивает собственную объяснительную схему, которая дает ему возможность исследовать причинно-следственные связи, по его мнению, приведшие Маркса к теории отрицания будущим социалистическим обществом рынка и политического государства. Прежде чем обрисовать логику этой объяснительной схемы, напомним в общих чертах суть марксова подхода к истории.

Маркс полагал, что ход истории детерминирован объективными социально-экономическими закономерностями. Фундаментом общества выступает *способ материального производства* как совокупность *производительных сил* (люди и средства производства) и *производственных отношений* (форма собственности на средства производства и специфическая система разделения труда, распределения, обмена и потребления материальных благ). В ходе производственной деятельности люди вступают друг с другом в производственные отношения (не зависящие от их воли), образующие экономическую структуру общества (*базис*), которая формирует определенный тип политических, идеологических, правовых, религиозных отношений (*надстройка*, или так называемая *суперструктура*). Производственная деятельность людей ведет к формированию классов (рабы и рабовладельцы, кре-

---

<sup>1</sup> Mink L. O. Historical Understanding / Eds. Brian Fay, O. Eugene. Golob and Richard T. Vann. Ithaca, 1987.



постные и феодалы, пролетарии и буржуазия), причем критерий классового разделения — это отношение к средствам производства, которое и определяет степень доступа к общественным благам. Причину исторических изменений Маркс видел в классовой борьбе — столкновении интересов различных социальных групп. Очевидно, что такой подход фокусирует внимание не на активности отдельных личностей, а на деятельности значительных *масс* населения.

Обозначив экономические отношения как ключевую детерминанту развития всемирной истории человечества, Маркс строит теорию истории, основанную на объективных, с его точки зрения, законах. Социальные организмы, наделенные определенными типологическими чертами и находящиеся на определенной стадии экономического развития, получили в его теории название *общественно-экономических формаций*. Всего Маркс выделил пять таких формаций: первобытно-общинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и, наконец, последнюю, коммунистическую, которую он рассматривал как неизбежную историческую перспективу. При этом последовательная смена формаций происходит в виде скачка (социальной революции), который радикально перестраивает структуру общества. Революция обуславливается накопившимися противоречиями между старыми производственными отношениями и новыми производительными силами.

Концепция Маркса представляет собой абстрактную схему всемирной истории, в которой развитие человечества представлено как единый поступательный и прогрессивный процесс с имманентно присущей ему целью: достижением *царства свободы* — коммунизма. Безусловно, для своего времени исторические идеи К. Маркса стали значительным достижением, так как предложили систематизированный и хорошо аргументированный взгляд на всемирную историю. Однако эмпирической базой этой теории служила прежде всего социально-политическая история Западной Европы, поэтому попытки придать марксовской концепции универсальный статус (распространять ее на все страны и эпохи) выглядят неправомерными. Кроме того, абсолютизация экономического фактора в истории часто мешает объективной интерпретации исторического материала (поскольку возможно об-

ратное влияние элементов суперструктуры на базис: например, религии или идеологии на экономику и т. д.).

Сам Маркс неоднократно подчеркивал необходимость критического отношения к своим идеям. Однако в нашей стране был искусственно создан культ марксизма-ленинизма, постулаты которого (многие из них у самого Маркса существовали только в виде гипотез) стали рассматриваться как конечная истина. Исторический материализм, критика которого была табуирована, стал одной из ключевых составляющих советской идеологии.

В западной философии XX в. было немало сторонников и критиков Маркса как внутри неомарксизма, так и вне его. Среди последних одним из наиболее последовательных критиков Маркса был, например, К. Поппер, который обосновывал невозможность объяснения исторического процесса через призму классовой борьбы (такой взгляд он назвал *историцизмом*). Поппер вообще отрицал наличие объективных законов в истории и саму возможность социального прогнозирования. Более того, идея построения теоретической истории была им и вовсе отвергнута, поскольку важным фактором человеческого развития является, с его точки зрения, рост научного знания, предсказать направление и масштабы которого невозможно.

Аллан Мегилл предлагает свой вариант объяснения некорректности марксовской теории истории. Логика этого объяснения заключается в следующем. Маркс унаследовал от духа предшествующей эпохи и от свойственной ей философской традиции (прежде всего в ее гегелевском выражении) глобальную *идею разумности всего существующего*. Далее он везде в своих исследованиях общества и человека по отношению именно к этой идее выстраивал контуры своего прочтения сущности мироустройства. Эту разумность он трактовал как “встроенную разумность самого мира, она *внутри мира* и отлична от норм и стандартов, расположенных вокруг него”<sup>1</sup>. На основании этого постулата Маркс выявил и сформулировал *четыре критерия разумности мирового порядка*:

- 1) всеобщность;
- 2) необходимость;

---

<sup>1</sup> Мегилл А. Карл Маркс: время разума. С. 27, 58.

3) диалектика, понимаемая как прогресс через единство и борьбу противоположностей;

4) прогнозируемость.

Будучи по своей сути ученым-естественником, Маркс абсолютизировал эти критерии, превратил их в своего рода догматы и сначала применил к анализу политики. В ходе этого анализа Маркс понял, что принятые им критерии разумности, как говорит Мегилл, слишком строги для царства политики. В последнем нет ничего научного, диалектического, предсказуемого и всеобщего, поэтому создать разумную историю и теорию политики нельзя. Для того чтобы *понять* смысл политики, надо найти уровень реальности, более разумный, чем политика. Мегилл полагает, что с точки зрения Маркса таким уровнем могла стать экономика, и переход к ее исследованию, который Маркс осуществил в начале 1844 г., был первым шагом к формулированию им идеи исторического материализма.

Однако и в своих исследованиях экономики Маркс столкнулся с той же проблемой несоответствия критериев разумности мира реальностям этого самого мира, а именно существующим в нем рыночным отношениям. Поэтому для того, чтобы выстроить социальную теорию, соизмеримую с указанными критериями, Маркс интерпретировал экономику чрезвычайно широко как производительную деятельность человека вообще и свел к ней всю политику. Далее он предположил, что в будущем социалистическом обществе политическая деятельность и политическое государство существовать не будут, потому что мир будет настолько разумно преобразован, что нужда в политических решениях отпадет сама собой. Общество и государство будут руководствоваться разумом, знаниями и наукой, и задача законодателя станет тождественной задаче ученого. На этом основании экономическое устройство государства тоже станет разумным, то есть плановым, заранее рассчитываемым и прогнозируемым, а не стихийно-рыночным, как при капитализме. *Ключевая ошибка Маркса*, как считает Мегилл, заключается в том, что главным в анализе политики и экономики он сделал принцип разумности и это *бремя разума*, которое он добровольно взвалил на себя, в конечном итоге сыграло с ним злую шутку.

Мегилл обращает внимание на структуры объяснения в методе Маркса и утверждает, что как раз их там и нет: “В общей картине истории и общества, написанной Марксом, очень трудно найти именно *объяснения*. Маркс предлагает всего лишь несколько описаний и интерпретаций того, как развиваются общество и история”. А отсюда концепция материалистического понимания истории, предложенная Марксом, является “не объяснительной теорией, а дедуктивно выведенной интерпретативной схемой”<sup>1</sup>, каких в истории и обществознании было уже немало. Мегилл выявляет одну из ключевых, как он полагает, черт мышления Маркса: неравномерное сочетание анализа и синтеза. С одной стороны, рефлексия Маркса со всем правом можно отнести к дискурсивному типу, предлагающему аналитическое, имплицативное знание, в котором исследованы многие эмпирические данные. С другой стороны, Маркс часто сбивается на описательный стиль, в котором фундаментальную роль играют синтетические операции, отсюда теряется главное — операция анализа.

Правда, в оправдание Маркса Мегилл считает нужным подчеркнуть, что «на уровне “пропозициональных обобщений” исторического материализма / материалистической концепции истории трудно найти что-либо, на самом деле напоминающее объяснение того, что в этих обобщениях провозглашается»<sup>2</sup>. Но, спрашивает Мегилл, только ли из-за ошибок в методе Маркс вместо объяснения действительного хода истории смог предложить свою в общем-то антиисторическую философскую версию? Почему “*теория* истории вытеснила саму *историю*”, а сам Маркс, несмотря на все бремя разума, устранился от бремени исторического знания? По мнению автора книги, вступающего здесь в область исторической эпистемологии как части эпистемологии социальной, это обусловлено особенностями исторического и социального контекста того времени, в котором жил Маркс. Обращаясь к исторической критике идей Маркса, Мегилл показывает, как в связи с изменениями форм социальной организации и деятельности меняются способы познания мира. Анализируя эволюцию марксовых социоэкономических представлений с 1840 по

---

<sup>1</sup> Мегилл А. Карл Маркс: время разума. С. 232–233, 235.

<sup>2</sup> Там же. С. 232–233.

1845 г., Мегилл прослеживает особенности *внутренней репрезентации* (термин М. Вартофски), или рефлексивной деятельности, Маркса. Он полагает, что Маркс был одержим идеей уничтожения наличного социально-экономического порядка — капитализма — и подверстывал под эту задачу все свои представления об истории, политике и экономике. Эта марксова одержимость, считает Мегилл, может быть объяснена как широким в то время революционным движением в Европе, прямо повлиявшим на всю интеллигенцию той эпохи, так и личностными психологическими особенностями Маркса, как, например, “злого гения” или как человека, “тяготящегося своим еврейским происхождением”. Мегилл приходит к выводу, что Маркса, по всей вероятности, раздирали противоположные стремления: к порядку и социальной целостности, с одной стороны, и стремление к полной свободе от любого подавления и отчуждения, с другой, что и нашло свое выражение в его подходе к философии экономики и политики.

На протяжении многих лет Мегилл с большим успехом читает в университете Вирджинии спецкурс по философии Маркса, его книга о Марксе готовится к переводу на несколько языков мира. Знакомство с этим произведением даст возможность читателям еще раз погрузиться в сложный и неоднозначный мир марксовых представлений о социальном мире и о его возможном будущем устройстве. Однако главное заключается в том, что читатели смогут познакомиться с одной из признанных в американской философии и истории интерпретаций наследия Маркса, поразмышлять о ней и еще раз убедиться в том, что борьба идей в XXI веке так же актуальна, как и во времена самого Маркса<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Критический разбор идей Мегилла о Марксе см.: *Коряковцев А. А., Любутин К. Н.* Американское марксоловедение в контексте современной истории: о книге А. Мегилла “Карл Маркс: бремя разума” // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2011. № 11.

## Библиография

---

1. Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры. 2-изд., испр. М., 2009.
2. Арон Р. Введение в философию истории. М., 2000.
3. Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму. М., 2000. С. 196–238.
4. Барт Р. Дискурс истории // Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003. С. 427–441.
5. Барт Р. Эффект реальности // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 392–400.
6. Бернгейм Э. Философия истории, ее история и задачи. М., 1910.
7. Вен П. Как пишут истории: Опыт эпистемологии. М., 2003.
8. Гайденко П. П. Категория времени в буржуазной европейской философии истории XX века // Философские проблемы исторической науки. М., 1969. С. 225–262.
9. Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991.
10. Гемпель К. Г. Функция общих законов в истории // Логика объяснения. М., 1998. С. 16–31.
11. Губин В. Д., Стрелков В. И. Власть истории: Очерки по истории философии истории: Курс лекций. М., 2007.
12. Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М., 2011.
13. Дройзен И. Г. Очерк историки // Историка: лекции об энциклопедии и методологии истории. СПб., 2004.
14. Зверева Г. И. Понятие “исторический опыт” в новой философии истории // Теоретические проблемы исторических исследований. 1999. Вып. 2. С. 104–117.

15. Знание о прошлом в современной культуре: Материалы круглого стола / В. А. Лекторский [и др.] // Вопросы философии. 2011. № 8. С. 3–45.
16. *Каган М. С.* Взаимоотношение наук, искусств и философии как историко-культурная проблема // Гуманитарий. Ежегодник № 1. СПб., 1995. С. 14–28.
17. *Карнап Р.* Значение и необходимость: исследование по семантике и модальной логике. М., 2007.
18. *Касавин И. Т.* Миграция. Креативность: Проблемы неклассической теории познания. СПб., 1999.
19. *Касавин И. Т.* Социальная эпистемология: понятие и проблемы // Эпистемология и философия науки. 2006. Т. VII. № 1. С. 5–16.
20. *Касавин И. Т.* Традиции и интерпретации: Фрагменты исторической эпистемологии. СПб., 2000.
21. *Кезин А. В.* “Натуралистический поворот” в современной эпистемологии // Философия в XX веке: Сборник обзоров и рефератов. Ч. 1. М., 2001. С. 45–67.
22. *Коллингвуд Р. Дж.* Идея истории: Автобиография. М., 1980.
23. *Копосов Н. Е.* Как думают историки. М., 2001.
24. *Кроче Б.* Теория и история историографии. М., 1998.
25. *Кукарцева М. А., Мегилл А.* Философия истории и историология: гранит совпадения? // История и современность. 2006. № 2. С. 24–46.
26. *Кукарцева М. А.* Междисциплинарность и историческая дисциплина: особенности отношений // Проблемы исторического познания. 2013. № 1. С. 23–35.
27. *Кукарцева М. А.* Понимание как проблема исторической эпистемологии // Историческая наука сегодня. Теории, методы, перспективы. М., 2012. С. 126–139.
28. *Кукарцева М. А.* Эпистемологические проблемы лингвистического поворота в историографии // Эпистемология и философия науки. 2006. № 1 (7). С. 110–130.
29. *Кукарцева М. А.* Лингвистический поворот в историописании: эволюция, сущность и основные принципы // Вопросы философии. 2006. № 4. С. 44–55.
30. *Кукарцева М. А., Коломоец Е. Н.* Западное и не-западное историческое мышление: сходства и отличия. Аналитический об-

зор // Способы постижения прошлого. Методология и теория исторической науки / Отв. ред. М. А. Кукарцева. М., 2011. С. 323–348.

31. *Кукарцева М. А., Коломоец Е. Н.* Опыт метафилософии истории // Вестник Московского университета. Сер. 7: Философия. 2000. № 6. С. 48–59.

32. *Лотман Ю. М.* Асимметрия и диалог // Труды по знакомым системам. Вып. 16: Текст и культура / Отв. ред. З. Г. Минц. Тарту, 1983. С. 15–30.

33. *Меркулов И. П.* Эпистемология (когнитивно-эволюционный подход). Т. 1. СПб., 2006.

34. Междисциплинарные подходы к изучению прошлого / Отв. ред. Л. П. Репина. М., 2003.

35. *Микешина Л. А.* Философия познания. М., 2002.

36. *Мирский Э. М.* Междисциплинарные исследования // Новая философская энциклопедия. Т. 2. М., 2001. С. 518.

37. *Ницше Ф.* О пользе и вреде истории для жизни // Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 158–230.

38. Франция — Память / П. Нора [и др.]. СПб., 1999.

39. *Оукшот М.* Деятельность историка // Рационализм в политике. М., 2002. С. 128–153.

40. *Ракитов А. И.* Историческое познание: системно-гносеологический подход. М., 1982.

41. *Раппопорт Х.* Философия истории. СПб., 1898.

42. *Репина Л. П.* Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М., 2011.

43. *Рикёр П.* Время и рассказ. Т. 1, 2. СПб., 1999.

44. *Рикёр П.* История и истина. СПб., 2002.

45. *Рикёр П.* Память, история, забвение. М., 2004.

46. *Розов М. А.* Понимающий и объясняющий подходы в гуманитарных исследованиях // Познание. Понимание. Конструирование: Сборник статей. М., 2007. С. 48–67.

47. *Рыков А. В.* Постмодернизм как радикальный консерватизм. СПб., 2007.

48. *Смоленский Н. И.* Возможна ли общеисторическая теория // Новая и новейшая история. 1996. № 1. С. 3–17.

49. *Соколова Л. Ю.* Историческая эпистемология во Франции. СПб., 1995.



50. *Сунягин Г. Ф.* Социальная философия как философия истории. СПб., 2008.
51. *Филатов В. П.* История, историософия и методология истории // Наука глазами гуманитария: Сборник статей. М., 2005. С. 483–500.
52. *Фуко М.* Воля к истине. М., 1996.
53. *Хаттон П.* История как искусство памяти. СПб., 2003.
54. *Шустерман Р.* Ниже уровня интерпретации // Вопросы философии. 2008. № 7. С. 141–158.
55. *Abelove H., Blackmar B., Dimock P., Schneer J., eds.* Visions of History. New York: Pantheon Books, 1984.
56. *Ankersmit F.* In Praise of Subjectivity // Historical Representation. Stanfords Univ. Press., 2004.
57. *Ankersmit F.* Sublime Historical Experience. Stanford, 2005.
58. *Ankersmit F.* The Reality Effect in the Writing of History: The Dynamics of Historiographical Topology. Amsterdam, 1989.
59. Approach to the French Enlightenment. Princeton: Princeton University Press, 1984.
60. *Barret W.* Time of Need: Forms of Imagination in the XX-th Century. N.Y., 1972.
61. *Barrett W.* Irrational Man: A Study of Existential Philosophy. N.Y., 1958.
62. *Berding H.* Aufklaren derch Geschichte Gottingen, 1990.
63. *Blanke H. W., Fleischer D., Rüsen J.* Theory of History. In: Historical Lectures: The German Tradition of Historic, 1750–1900. History and Theory 23 (October 1984), 331–356.
64. *Bloom M.* Continuity, Quantum, Continuum and Dialectic. The Foundational Logic of Western Historical Thinking. N.Y., 2006.
65. *Bradley F. H.* The Presuppositions of the Critical History // Collected Essays by F. H. Bradley. Vol. 1. Oxford University press, 1935.
66. *Carnap R.* The Methodological Character of Theoretical Concepts. Minnesota Studies in the Philosophy of Science. Minneapolis, 1956. Vol. I. P. 38–76.
67. *Carrard F.* Poetics of the New History: French Historical Discourse from Broudel to Chartier. Baltimore: John Hopkins University press, 1992.

68. *Clark E.* History, Theory, Text: Historians and the Linguistic Turn. Cambridge, MA and London, Harvard University Press, 2004.
69. *Danto A.* The Analytical Philosophy of History. Cambridge (Mass.), 1965.
70. *De Certeau M.* Histoire et structure: Recherches et débats. Paris, 1970.
71. *De Certeau M.* Entretien avec J. Revel // Politique-aujourd'hui. Paris, 1975.
72. *De Certeau M.* L'écriture de l'Histoire. Paris, 1975.
73. *Domanska E.* Encounters: Philosophy of History after Postmodernism. Univ. Press of Virginia, 1998.
74. *Dray W. H.* Philosophical Analysis and History. New York: Harper And Row Publishers, 1966.
75. *Droysen J. G.* Die Erhebung der Geschichte zum Rang einer Wissenschaft // Historik. Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte / Hg. v. P. Leyh. Stuttgart, 1977. Bd. 1. S. 451–69.
76. *Droysen G.* Grundriss der Historik. Berlin, 1925.
77. *Droysen G.* Historik: Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte. Tübingen, 1868.
78. *Droysen G.* Texte zur Geschichtstheorie. Göttingen, 1972.
79. Form and Historical Understanding. Madison: University of Wisconsin Press, 1978.
80. *Frank P.* Comments on realistic versus phenomenahstic interpretations // Philosophy of Science. 1950. Vol. 17. № 2.
81. *Gallie W. B.* Philosophy and the Historical Understanding. 2nd ed. New York: Schocken, 1968.
82. Theories of History / P. Gardiner, ed. New York: Free Press, 1959.
83. *Gaunt D.* Memoir on History and Anthropology. Stockholm: Swedish Research Councils Publishing House, 1982.
84. *Gearhart S.* The Open Boundary of History and Fiction: A Critical Approach to the French Enlightenment. Princeton University Press, 1984.
85. *Gilbert F., Stephen R.* Graubard, eds. Historical Studies Today. New York: Norton, 1972.
86. *Ginzburg C.* Beweise und Möglichkeiten: Afterword to Die wahrhaftige Geschichte von der Wiederkehr des Martin Guerre by

Natalie Zemon Davis, translated by Ute and Wolf Heinrich Leube. Munich: Piper, 1984. P. 185–217.

87. *Goldstein L. J.* Historical Knowing. Austin: University of Texas Press, 1976.

88. *Gooch G. P.* History and Historians in the Nineteenth Century. London: Longmans, Green, 1913.

89. *Gossman L.* History and Literature: Reproduction or Signification // The Writing of History: Literary Form and Historical Understanding, ed. by Robert H. Canary and Henry Kozicki, Madison: University of Wisconsin Press, 1978. P. 3–39.

90. *Hall J.* Powers and Liberties: The Causes and Consequences of the Arise of the West Oxford, 1985.

91. *Hamerow T.* Reflections on History and Historians. Univ. of Wisc. Press, 1987.

92. *Hempel C. G.* The Function of General Laws in History // Journal of Philosophy 39 (1942): 35–48. Reprinted in Theories of History, edited by Patrick Gardiner, 344–55. New York: Free Press, 1959.

93. *Hernadi P.* Re-Presenting the Past: A Note on Narrative Historiography and Historical Drama. History and Theory 15 (1976): 45–51.

94. *Hexter J. H.* Fernand Braudel and the monde braudellien // Journal of Modern History 44 (1972): 480–539.

95. *Himmelfarb G.* The New History and the Old. Cambridge: Harvard University Press, 1987.

96. *Hobsbawm E. J.* The Revival of Narrative: Some Comments. Past and Present 86 (1980): 3–8.

97. *Hook S.* Philosophy and History: A Symposium. New York: New York University Press, 1963.

98. *Ignatov A.* Antropologische Geschichtsphilosophie: Fur eine Philosophie der Geschichte in der Zeit der Postmoderne. Sankt Austin, 1993.

99. *Jay M.* Songs of Experience: Modern American and European Variation on a Universal Theme. University of California Press, 2004.

100. *Kaufmann E.* Geschitspilosophie der Gegenwart // Philosophische Forschungsbeichte Heft G. Berlin, 1931.

101. *Kellner H.* Describing Redescriptions // A New Philosophy of History Edited by Frank Ankersmit and Hans Kellner. Univ. of Chicago Press, 1995.

102. *Kellner H.* A Bedrock of Order: Hayden White's Linguistic Humanism. *History and Theory*, Beiheft 19 (1980): 1–29.
103. *Kellner H.* Disorderly Conduct: Braudel's Mediterranean Satire [A Review of Reviews]. *History and Theory* 18 (1979): 197–222.
104. *Koselleck R., Heinrich L., Rüsen J.*, eds. *Formen der Geschichtsschreibung*. Vol. 4 of *Beiträge zur Historik*. Munich: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1982.
105. *Koselleck R.* Ereignis und Struktur: In *Geschichte-Ereignis und Erzählung* / Ed. by R. Koselleck and W.-D. Stempel. Munich: Fink, 1973.
106. *Koselleck R.* *Futures Past: On the Semantics of Historical Time*: Translated by Keith Tribe. Cambridge: MIT Press, 1986.
107. *Kracauer S.* *History: The Last Things before the Last*. New York: Oxford University Press, 1969.
108. *Krieger L.* Elements of Early Historicism: Experience Theory and History in Ranke. *History and Theory*, Beiheft 14 (1975): 1–14.
109. *La Capra D.* *History, Language and Reading: Waiting for Crillon* // *History and Theory: Contemporary Readings* ed. B. Fay, P. Pomper, R. Vann. Oxford, 1998.
110. *La Capra D.* *History and Its Limits: Human, Animal, Violence*. Cornell University press, Ithaca and London, 2009.
111. *La Capra D.* *Rethinking Intellectual History and Reading Texts* // *Modern European Intellectual History: Reappraisals and New Perspectives*, ed. by D. La Capra and S. L. Kaplan, 47–85. Ithaca: Cornell University Press, 1982.
112. *Lipps H.* *Du Menschliche Natur*. Frankfurt am Main, 1941.
113. *Litt Th.* *Wege und Jrrwege geschichtlichen denkens*. Munchen, 1948.
114. *Litt Th.* *Mesh und Welt* Munchen, 1948.
115. *Mandelbaum M.* *Historical Explanation: The Problem of Covering Laws* // *History and Theory* 1 (1961): 229–42.
116. *Mann M.* *The Sources of Social Power*. Vol. 1. Cambridge, 1986.
117. *Marrou H.-Ir.* *De la connaissance historique*. Paris: Seuil, 1954.
118. *Martin R.* On “Telling the Truth about History” by Applby, Hunt and Jakob // *History and Theory*. 1995. Vol. 34. № 3.

119. *Wallace M.* Recent Theories of Narrative. Ithaca: Cornell University Press, 1986.
120. *McCullagh C. B.* The Logic of History: Putting Postmodernism in Perspective. L., Routledge, 2004.
121. *McCullagh C. B.* Justifying Historical Description. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
122. *McCullagh C. B.* Review of F. R. Ankersmit: Narrative Logic // History and Theory. 1984. Vol. 23.
123. *Mink L. O.* Historical Understanding / Eds. B. Fay, E. O. Golob and R. T. Vann. Ithaca, 1987. P. 56–57.
124. *Mink L. O.* Narrative Form as a Cognitive Instrument // The Writing of History: Literary Form and Historical Understanding / Ed. by R. H. Canary and H. Kozicki, 129–49. Madison: University of Wisconsin Press, 1978.
125. *Mink L. O.* Historical Understanding / Ed. by B. Fay, E. O. Golob and Richard T. Vann. Ithaca: Cornell University Press, 1987.
126. *Neurath O.* Empiricism and Sociology. Dordrecht — Boston, 1973.
127. *Partner N.* Narrative Persistence // Re-Figuring Hayden White. Cultural Memory in the Present Stanford University Press, 2009. P. 81–104.
128. *Partner N.* Making Up Lost Time: Writing on the Writing of History. *Speculum* 61 (1986): 90–117.
129. *Passmore J.* Law and Explanation in History // Australian Journal of Politics and History 4 (1958): 269–75.
130. Philosophy of Paul Ricoeur: An Anthology of His Work / Ed. C. E. Reagan and D. Stewart. Boston: Beacon, 1978. P. 149–66.
131. *Rothaker E.* Geschichtsphilosophie. München, 1971.
132. *Rüsen J.* Historische Objektivität; Aufsätze zur Geschichtstheorie. Vier Beiträge, 1975.
133. *Rüsen J.* Geschichtsschreibung als Theorieproblem der Geschichtswissenschaft: Skizze zum historischen Hintergrund der gegenwärtigen Diskussion: In Formen der Geschichtsschreibung / Ed. by R. Koselleck, H. Lutz, J. Rüsen, 14–35. Vol. 4 of Beiträge zur Historik. Munich: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1982.
134. *Rüsen J.* Historical Narration: Foundation, Types, Reason // History and Theory. Vol. 26. № 4. Beiheft 26: The Representation of Historical Events (Dec., 1987). P. 87–97.

135. *Sharpe J.* History from Below // New Perspectives on Historical Writing / P. Burke ed. Cambridge, Polity Press, 1991. P. 24–41.
136. *Skinner Q.* Meaning and Understanding in the History of Ideas // History and Theory 8 (1969): 1–53.
137. *Sombart W.* Vom Menschen. Versuch einer geistwissenschaftlichen Anthropologie. Berlin, 1938.
138. *Srtrawson G.* A Fallacy of Our Age // Times Literary Supplement. 2004. October 15.
139. *Stone L.* The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History // Past and Present 85 (November 1979): 3–24.
140. *Strauss L.* Natural Right and History. University of Chicago Press, 1999.
141. *Strauss L.* The Rebirth of Classical Political Rationalism. University of Chicago Press, 1989.
142. *Struever N.* Historical Discourse // Disciplines of Discourse, 249–271. Vol. 1 of Handbook of Discourse Analysis. London: Academic Press, 1985.
143. *Struever N.* Topics in History // History and Theory, Beiheft 19 (1980): 66–79.
144. *Thomas N.* What is it Like to be a Bat? // Mortal Questions. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1979. P. 165–180.
145. *Tomashevsky B.* Thématique. In Théorie de la littérature / Ed. and translated by Tzveton Todorov. Paris: Seuil, 1965. P. 263–307.
146. *Tucker A.* Our Knowledge of the Past: A Philosophy of Historiography. N.Y., Cambridge University Press, 2004.
147. *Walsh W. H.* An Introduction to Philosophy of History. 2nd ed. London: Hutchinson, 1967.
148. *White H.* Historicism, History, and the Figurative Imagination // History and Theory, Beiheft 14 (1975): 48–67.
149. *White H.* Interpretation in History // New Literary History 4 (1973): 281–314.
150. *White H.* The Historian at the Bridge of Sighs // Reviews in European History 1, 4 (1975): 437–45.
151. *White H.* The Politics of Historical Interpretation: Discipline and De-Sublimation. Critical Inquiry 9 (1982): 113–37.
152. *White H.* The Structure of Historical Narrative. Clio 1, 3. June, 1972: 5–20.

153. *White H.* The Value of Narrativity in the Representation of Reality. *Critical Inquiry* 7 (1980): 5–27.

154. *White H.* *Metahistory. The Historical Imagination in the Nineteenth-Century Europe*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973.

155. *White H.* The Narration of Real Events // *On Narrativ*, ed. by W. J. T. Mitchell, 249–54. Chicago: University of Chicago Press, 1981.

156. *White H.* *The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987.

Главный редактор — *Т. А. Смирнова*  
Редактор, корректор — *О. Л. Грозовская*  
Художник — *Т. И. Такташов*  
Верстка — *Н. А. Кирьянова*  
Ответственный за выпуск — *Л. В. Антонова*

*Научное издание*

**Гласер (Кукарцева) Марина Алексеевна**

Исследования по философии истории,  
политики, безопасности

В трех томах

Том первый

Философия истории и историческая наука

Сертификат соответствия № РОСС RU.AB51.НО5316

Подписано в печать 08.10.2020. Формат 60×90 1/16.

Бумага офсетная № 1. Усл. печ. л. 16.

Тираж 500 экз. Заказ №

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»

129347, Москва, Ярославское шоссе, д. 142, к. 732

Тел.: 8 (495) 668-12-30, 8 (499) 182-01-58

E-mail: sales@dashkov.ru — отдел продаж;  
office@dashkov.ru — офис; <http://www.dashkov.ru>

Отпечатано: Акционерное общество

«Т8 Издательские Технологии»

109316, Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5

Тел.: 8 (499) 322-38-30



9 785394 042218 >

